ИНКВИЗИТОР

СТАЛИНСКИЙ ПРОКУРОР ВЫШИНСКИЙ

ИНКВИЗИТОР

СТАЛИНСКИЙ ПРОКУРОР ВЫШИНСКИЙ

Москва
Издательство
«Республика»
1992

ББК 67.99(2)91
И65

Составление и общая редакция
доктора юридических наук
профессора
О. Е. Кутафина

И65 **Инквизитор:** Сталинский прокурор Вышинский/Сост. и общ. ред. О. Е. Кутафина.— М.: Республика, 1992.— 383 с.
ISBN 5-250-02060-7

В сборник включены очерки, воспоминания и статьи советских и зарубежных писателей, публицистов, юристов, дипломатов о зловещей деятельности одного из основных организаторов репрессий и произвола в 20—30-х гг. в СССР А. Я. Вышинского, его работе на дипломатических постах в годы «холодной войны». Помимо материалов, написанных специально для этой книги, в нее вошел ряд статей, ранее публиковавшихся в печати.
Рассчитана на широкий круг читателей.

И $\frac{0503020500-138}{079(02)-92}$ 107-93 ББК 67.99(2)91

ISBN 5-250-02060-7

ПОРТРЕТ БЕЗ РЕТУШИ

А. ВАКСБЕРГ

СТРАНИЦЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ

При удивительной цельности биографии поражает полифоничность его натуры. Нам удастся представить, причем очень пунктирно и фрагментарно, лишь несколько его ипостасей. Здесь опущено почти все, что касается самой главной страницы богатой событиями жизни Андрея Януарьевича Вышинского. Той, где наш герой предстает в качестве грозного обвинителя на так называемых «Больших московских процессах» [1]. Эта страница является самой (а может быть, и единственно) известной. Именно она принесла ему страшную, однако всемирную славу. Но все, что ей предшествовало и следовало за ней, ничуть не менее интересно.

Предваряя публикацию этих фрагментов, скажу лишь, что такой человек, как Вышинский, появился на политической сцене отнюдь не случайно. Он был необходим своему времени. Сталину, если точнее. На много голов выше, чем другие «соратники» и «ученики», умный и образованный, находчивый и решительный, властный и дальновидный, необычайно чуткий к политической реальности. Лишенный при этом такой обузы, как совесть и сострадание.

Ревностных исполнителей, орудовавших за плотно закрытыми дверьми, в подвалах, камерах и кабинетах, хватало с избытком. Но мало кто мог столь успешно

[1] См. раздел III «Прокурор времен большого террора».

витийствовать на сцене — пред очами всего человечества, доводя до публики потаенные замыслы «отца народов», беря на себя и хулу, и хвалу, не стыдясь, а гордясь своей палаческой ролью. Во всяком случае, второго Вышинского — пусть даже слабой его копии — мы не имели. И это говорит само за себя.

Предлагаемая работа — лишь первый опыт приближения к неразгаданным тайнам. Многие вопросы так и остались вопросами без ответов — поставить их я счел своим долгом.

Приношу сердечную благодарность советским и зарубежным архивам, книгохранилищам, ученым, юристам, дипломатам, помогавшим мне по крупицам собирать материал для этого повествования, щедро делившимся своими воспоминаниями и всем, чем они располагали.

1

В Одессе, давшей миру столько блестящих писателей, актеров и музыкантов, в неприметной и пришлой семье 10 декабря 1883 года родился рыжеголовый мальчик, имени которого суждено будет прогреметь на весь мир. Почти сто лет спустя именно этот день — 10 декабря — Организация Объединенных Наций объявит Международным Днем прав человека: случайное совпадение, в котором, право же, есть историческая закономерность.

Есть версия, что Андрей (Анджей, если быть более точным) Вышинский происходит из древнего польского рода и даже — в каком-то боковом ответвлении — приходится будто бы дальним родственником знаменитому польскому кардиналу. Утверждают даже, что по крайней мере до конца тридцатых годов некоторые не очень дальние его родственники занимали весьма высокое положение в политической иерархии Польского государства. Впрочем, фамилия «Вышинский» относится в Польше к числу самых распространенных, и, вполне возможно, речь идет лишь об однофамильцах, а вовсе не родственниках.

Ему еще не было пяти лет, когда семья отправилась из Одессы искать счастья в Баку. Этот город отличался большой терпимостью к языкам и верованиям, к происхождению и биографическим данным. И еще высоким накалом революционной борьбы, политическими страстями, которыми была пронизана общественная и духовная жизнь.

Опытный провизор, Януарий Вышинский сначала по-

ступил на службу в Кавказское товарищество торговли аптекарскими товарами (управляющим бакинским отделением), а потом открыл и свое дело — аптеку (на нынешнем бульваре Губанова), приносившую немалый доход. Все шло хорошо, семья не знала материальных забот, но, видимо, произошли какие-то нелады в супружеских отношениях, потому что мать, пианистка, забрав детей, переехала в Харьков, жила уроками музыки да еще содержанием домашней столовой, где за умеренную плату питались малоимущие студенты и служилый люд.

Лишь через три или четыре года семья снова собралась в Баку, и Андрей, которому уже исполнилось восемь лет, стал учиться в классической гимназии, давшей ему блестящее образование, тем более что учился он превосходно — без понуждений и понуканий. Многие годы спустя бакинский адвокат Григорий Мелик-Шахназаров вспоминал в письме к «дорогому Андрею» их совместную учебу в третьем, четвертом и пятом классах, где будущий прокурор «особенно отличался своими бицепсами, так что небезопасно было вступать в единоборство с их обладателем».

«Обладатель» бицепсов был еще и большим поклонником муз: в доме Вышинских устраивались литературно-музыкально-вокальные вечеринки с танцами, на которые собирались дети «своего круга».

На гимназическом балу познакомился Андрей Вышинский с юной красавицей Капой Михайловой, за которой увивались десятки поклонников. Но пробиться к сердцу Капы удалось лишь ему — несколько лет спустя он женился на ней и безоблачно прожил с нею всю жизнь. Капитолина Исидоровна Вышинская умерла в глубокой старости, пережив своего мужа на 19 лет.

Революционный дух города оказался сильнее консервативного духа благоденствующей семьи. Когда отец послал своего сына учиться на юридический факультет Киевского университета, за плечами Андрея было уже бунтарское прошлое. Ни одна гимназическая сходка противников самодержавия не проходила без его участия.

Киев тоже был городом с революционными традициями — студент-новичок сразу же включился в работу нелегальных марксистских кружков. Уже через несколько месяцев участников студенческих «беспорядков» изгнали из университета и даже из города. Андрей вернулся под родительский кров, где его ждала отцовская лю-

бовь, но отнюдь не отцовское одобрение. Впрочем, идейно расколотых семей было тогда в России великое множество.

Изгнанный студент не сделал для себя желанных властям (и родителям) выводов, а еще активнее включился в запрещенную деятельность, вступив в партию социал-демократов. Но не большевиков — меньшевиков! Его имя стало известно «всему Баку», если учесть, что по ту или по эту стороны революционной баррикады был тогда действительно весь Баку. Крутая волна рабочих и студенческих волнений вознесла его наверх благодаря темпераменту и ораторскому дару. Осенью-зимой 1905 года он принял участие в массовой железнодорожной стачке, к которой присоединились и другие рабочие.

Сорок с лишним лет спустя один из участников этой стачки, рабочий консервного завода из грузинского города Гурджаани Василий Одзелашвили, в письме к Вышинскому красочно описал роль своего адресата в этой акции. Правда, целью письма было желание увеличить пенсию «за боевое революционное прошлое», и автор явно стремился польстить другу юности, но скорее всего он не особенно грешил против истины, поскольку те же или очень похожие детали содержатся и в иных письмах от людей, не знавших друг друга.

«...Товарищ Вышинский, помните, Вами была организована боевая дружина, которая состояла из рабочих (Вышинскому был тогда 21 год.— **А. В.**). Все мы были вооружены... Вы жили тогда угол Армянской и Гимназической, вход со двора, как входим — направо. Я к Вам в дом очень часто ходил за прокламациями... Помните, в 1905 г. была большая забастовка, которой Вы руководили. Тогда боевая дружина сыграла большую роль... Товарищ Вышинский, Вы работали в полотняном магазине Дорожнова бухгалтером. Вы там укрывались... Черносотенцы охотились на Вас, Ваш дом обыскали охранники и все перевернули, но ничего не нашли, мы за 3—4 дня до этого забрали от Вас оружие, прокламации, шрифты...

Помните Александровский собор, напротив была хулиганская типография, печатала прокламации. Вы послали нас туда отобрать их, я взвалил мешок на плечи и принес Вам, но Вас дома не было, а была только Ваша супруга, и я ей сказал: «Вот, передайте товарищу Андрюше». (Автор письма явно был рядовым исполнителем.

Для доверенных лиц у Вышинского было нелегальное имя Юрий.— **А. В.**)

Помните, когда черносотенцы убили Петра Монтина и под Вашим личным руководством были организованы крупные похороны, вся наша боевая дружина была там... Вы шли впереди, шагов на 10 от нас, в студенческой шапке и летнем пальто. Когда дошли до крепости, там что-то рухнуло, народ шарахнулся, мы думали, что на нас напала черносотня. Вы обернулись и сурово сказали нам: «Дружина, не разбегайтесь, будьте готовы». Мы ответили: «Умрем, товарищ Вышинский, вместе»... Вы поднялись на ступеньку вагона и произнесли речь. Долго Вы говорили, там было море народу, а мы, дружинники, все время были около Вас. Последнее Ваше слово помню, как будто это было вчера. Вы сказали: «Придет время, отомстим врагу за все». И действительно, это сбылось».

По неосведомленности или из желания не напоминать адресату о других сторонах его деятельности, Васо Одзелашвили не написал о том, чем главным образом занималась руководимая Вышинским боевая дружина.

Сначала послушаем самого Вышинского. В начале тридцатых годов им написана автобиография для личного дела в связи с намечавшимися поворотами его бурной служебной карьеры. Этот период своей жизни он описывал так: «Под влиянием ужасов февральской армяно-татарской резни, этой чудовищной полицейской бойни, устроенной бакинской полицией и татарскими беками под прикрытием казаков Лабинской сотни и солдат Сальянского полка, в течение трех дней расстреливавших на бакинских улицах армянское беззащитное население и сжигавших женщин и детей в пылающих домах армянских кварталов, я решил приложить все силы на организацию боевых сил партии. Я занялся в эти дни организацией боевой дружины, в которую вошло несколько сот бакинских рабочих — меньшевиков и большевиков». (В середине тридцатых годов Вышинский отредактировал этот текст. Конец последней фразы зазвучал так: «главным образом большевиков».)

И опять об основном назначении той боевой дружины Вышинский умолчал. Занималась она преимущественно убийствами тех, на кого пало подозрение в связях с полицией. Он сам организовал и осуществил — наряду, конечно, с другими — убийство провокаторов Александра Григорьева, Мовсумова и Плакиды. За это (или за все «по совокупности») в 1907 г. Вышинский вместе с женой

подвергся — есть такая версия, вошедшая даже в старые справочники,— нападению черносотенца из «Союза русского народа». Правда, нет нигде и намека на то, как, когда, с каким результатом нападение это было осуществлено, хотя социал-демократическая печать освещала такие события очень подробно, требовала наказания виновных, добивалась суда. Да и сами жертвы потом, после революции, рассказывали об этом детально. Комментировать эту странность пока не берусь...

24 мая 1950 года — такая дата стоит на письме доцента Азербайджанского университета Алиовсата Гулиева, отправленном А. Я. Вышинскому.

«Глубокоуважаемый Андрей Януарьевич!

При архивном исследовании в гор. Тбилиси мною были обнаружены некоторые документы, касающиеся Вашей революционной деятельности в Баку в 1905 г., с которых мною сняты копии.

Если эти документы вызовут у Вас интерес, то я мог бы представить их Вам **при личной** (подчеркнуто автором письма.— **А. В.**) встрече».

Такая встреча, видимо, состоялась, потому что копии некоторых архивных документов из Центрального государственного исторического архива и архива Музея Революции оказались в личных бумагах Вышинского.

Из представления прокурора Бакинского окружного суда прокурору Тифлисской судебной палаты от 30 января 1906 г. явствует, что по делу о железнодорожной стачке 1905 года привлечены к уголовной ответственности 15 человек, причем Андрей Вышинский значится третьим в этом списке. Там же имеется указание, что мерой пресечения избрано содержание под стражей и что Вышинский арестован 21 января.

Чем же закончилось следствие? Достоверно известно, что в 1906 и в 1907 годах Вышинский благополучно пребывал на свободе, занимаясь куда более опасной, с точки зрения властей и закона, деятельностью, чем участие в забастовке, и даже, если верить приведенной выше версии, был ранен черносотенцем. Значит, Вышинский вскоре после ареста был освобожден. Почему? Ответа на этот вопрос я не имею.

К этому же периоду относится сохранившееся в архиве донесение (от 20 января 1906 г.) секретного полицейского сотрудника под псевдонимом Южный, где сооб-

щается, что в ходе забастовки «выдвинулись люди, которым суждено играть весьма важную роль в местном движении рабочих». Эти люди названы полицейским агентом поименно: братья Шендриковы — Лев, Илья и Глеб — и Андрей Вышинский, чья речь «против доктора Сорокина, сыгравшего некрасивую роль во время октябрьской резни, приобрела огромное значение и вызвала весьма сильный революционный подъем». (Среди прочих акций Вышинского, сведения о которых проникли в газеты того времени: публичная лекция «1848 год в Европе» и сбор средств на организацию кухни в пользу бастующих рабочих.)

Между тем вскоре стало известно, что братья Шендриковы — это, в сущности, полицейские пособники, местные зубатовцы, создавшие «Союз бакинских рабочих», действовавший с молчаливого одобрения властей для отвлечения членов союза от политической борьбы. На различных собраниях, где Шендриковым предъявлялось обвинение в действиях, направленных против рабочих, с громовыми речами в их защиту выступал Вышинский. Он играл видную роль в Бакинском совете (был его секретарем), куда полиции тоже удалось забросить незримых своих контролеров. Большевики в этом совете находились в меньшинстве, но формального деления на большевиков и меньшевиков в совете не было — существовала единая группа социал-демократов.

Однако в конце 1907 года, когда с Шендриковыми как политическими фигурами было покончено, террористическая деятельность боевой дружины прекратилась, а революционная волна пошла на убыль. Вышинский неожиданно снова оказался в тюрьме — все по тому же старому (более чем двухлетней давности) делу о железнодорожной забастовке, причем теперь в вину ему был поставлен лишь один, даже не второстепенный, а третьестепенный эпизод: «В декабре 1905 г. в г. Баку в одном из собраний в железнодорожном театре произносил речь, в коей возбуждал железнодорожных служащих примкнуть ко всеобщей политической забастовке...». В феврале 1908 года Особое присутствие Тифлисской судебной палаты только за это и приговорило Вышинского к одному году крепости.

Обращают на себя внимание по крайней мере два загадочных факта.

Первый: если имеется документ о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения (1906 год),

то должен быть и документ о прекращении дела. Или хотя бы о том, что мера пресечения отменена (изменена?). Нельзя же выпустить арестованного из тюрьмы вообще без всякого документа, этот акт обосновывающего. Но где он, этот документ? То, что он был, в этом нет никакого сомнения...

Доцент А. Гулиев сделал подборку имеющихся в архивах полицейских и судебных материалов и передал их Вышинскому. В подборке документа, объясняющего, что произошло после ареста Вышинского в январе 1906 г., не оказалось. Потому ли, что такого документа в архивах не было (это более чем странно)? Или потому, что Вышинский именно его из подборки изъял (это было бы еще более странно)?

Второй: в личном деле Вышинского хранятся три автобиографии, собственноручно написанные им в двадцатые — тридцатые годы. История с его судимостью и пребыванием в крепости изложена весьма скупо — в нескольких строках,— причем об аресте в 1906 г. и освобождении вскоре же из тюрьмы нет ни слова. Как ни слова о том, почему, привлеченный сначала (в 1906 г.) по статьям 102 («Насильственное посягательство на изменение образа правления», да притом «с наличием оружия»,— грозит бессрочная каторга) и 126 («Участие в сообществе, поставившем целью ниспровержение существующего строя»,— грозит каторга на определенный срок) Уголовного Уложения, он был осужден в 1908 г. лишь по 129-й («произнесение публично противоправительственной речи»)! Разница в тяжести содеянного и в санкциях, предусмотренных этими статьями, огромна.

Обе загадки ждут своего разрешения.

После проволочек, связанных с утверждением приговора в высших инстанциях, он наконец вступил в силу и был «обращен к исполнению». Вышинского отправили отбывать наказание в Баиловскую тюрьму.

Сохранившаяся и до наших дней Баиловская тюрьма была переполнена тогда арестантами. Ее вместимость — по плану и санитарным нормам — составляла 400 человек, набили же туда более полутора тысяч. Режим был достаточно свободным, двери камер не закрывались, арестанты ходили «в гости» из камеры в камеру, многие спали в коридорах.

Камера, куда попал Вышинский, как и все остальные,

вместила много больше обитателей, чем полагалось. Одно из мест на нарах занимал осужденный, доставленный сюда еще в марте. В полицейских документах он значился как Гайоз Нижарадзе, арестанты звали его «Коба», настоящее же имя его было Иосиф Виссарионович Джугашвили, или, проще говоря, Сталин. Забившись в угол и поджав под себя ноги, повернувшись ко всем спиной, в синей косоворотке без пояса, с перекинутым через плечо башлыком, он часами изучал «язык будущего» — эсперанто. (Ни эсперанто, ни немецкий, которым он увлекался раньше, в Батумской тюрьме, Сталин так и не выучил.)

Отрываясь время от времени от учебника, Сталин вступал в жаркие споры с меньшевиками и эсерами, составлявшими основную часть «политических». Уголовники относились к нему с почтением и в споры никогда не вступали. Вышинский, как и другие меньшевики, был среди основных оппонентов. Трудно сказать, кто оказывался победителем,— ведь ни «судей», ни жюри на тех поединках не существовало,— но Коба, вспоминают его сокамерники, участвовал в спорах, доводил своих противников до исступления: на тюремном языке это называлось «загнать в пузырь». Одним из тех, кто всегда его поддерживал — зачастую не словами, а «действием»,— был Серго Орджоникидзе.

Страсти подчас накалялись до предела, спорили до хрипоты — ведь спешить было некуда,— но, пожалуй, лишь двух человек никогда не удавалось вывести из равновесия: «Кобу» и «Юрия». Как ни отличались они друг от друга по темпераменту, знаниям и манерам, у обоих были железные нервы. А железные нервы Коба чтил еще и тогда.

«Политические» жили коммуной, деля по-братски продукты, приходившие с воли. Когда было из чего, Коба с удовольствием готовил харчо и острый грузинский соус. Впрочем, мало кому шли продуктовые передачи: в большинстве своем заключенные происходили из беднейших семейств, родственники чаще всего жили далеко от Баку. Среди очень и очень немногих, кого не забывали и кто снабжался «по высшему уровню», был Вышинский. Никаких ограничений не существовало, и любящая молодая жена регулярно приносила вкусную домашнюю еду. Она шла в общий котел, но в знак примирения — и с общего одобрения — Вышинский нередко отдавал свою долю угрюмому Кобе. И Коба ел с удовольствием. А поев,

вместо спасибо начинал новый спор, браня на чем стоит свет речистого меньшевика.

Так продолжалось четыре месяца. 23 октября 1908 г. Вышинский отбыл определенный ему тюремный срок и в тот же день был освобожден. Через 17 дней Сталин отправился в сибирскую ссылку. Теперь они встретятся почти через десять лет.

Освобожденный из тюрьмы и отдохнувший в семейном кругу от нервных перегрузок (этот отдых даст ему и большую личную радость: в 1909 году на свет появилась дочь Зинаида, любовь к которой он пронесет через всю жизнь), Вышинский вскоре оказался в Киеве; здесь его сразу же зачислили в университет, на юридический, разумеется, факультет; посреди года восстановили в студенческих правах — через семь лет после изгнания по причинам политической неблагонадежности. Эти семь лет вместили столько фактов бурной биографии бакинского меньшевика, которые вряд ли могли его сделать более благонадежным: организатор политических забастовок, руководитель боевой дружины, террорист, секретарь президиума выборного совета, претендовавшего на реальную власть в городе, наконец, только что отбывший наказание государственный преступник — полицейская аттестация хоть куда!.. И все-таки университет безропотно принял Вышинского в свое лоно и более уже не ставил ему никаких палок в колеса.

Может быть, и не следует этому удивляться: ведь учился Вышинский прекрасно, сразу же обнаружил и способности, и трудолюбие. Он активно участвовал в работе студенческих кружков, испытывая в равной мере влечение к разным областям науки. Особенное внимание оказывал ему известный специалист по истории русского права профессор Владимирский-Буданов, под руководством которого он подготовил доклад «О происхождении права», открывший зрелому студенту (ему ведь уже почти тридцать) путь в науку: ученый совет единодушно проголосовал за оставление выпускника Вышинского на кафедре уголовного судопроизводства для подготовки к профессорскому званию.

Но тут вдруг университетская администрация снова вспомнила о том, что он бунтовщик, хотя за последние пять лет он никак себя на этом поприще не проявил. Чем он так их прогневал, этот вполне лояльный сту-

дент, ставший юристом? В чем неожиданно провинился?..

Опять Вышинского приютил Баку. Найти работу по специальности не удавалось, а на нем уже висела семья — вполне житейские заботы не погасили амбиций, но заставили подумать прежде всего о хлебе насущном. Давно известно: у кого есть руки,— не пропадет. У кого голова,— тем более. Молодой интеллигент с университетским дипломом производил хорошее впечатление на богатых родителей нерадивых учеников: его охотно приглашали за вполне приличную плату давать частные уроки. Слух о способном учителе дошел до директора частной гимназии Анания Павловича Емельянова —он пригласил Вышинского преподавать русскую литературу, географию и латинский язык: поистине этот одаренный специалист был мастером на все руки.

Однако влекла профессия — все-таки он был юрист не только по диплому, но по призванию. Все попытки заполучить адвокатскую практику в Баку окончились неудачей. Вышинский отправился за счастьем в Москву. Но у каждого практикующего адвоката вполне хватало расторопных помощников. А иного пути пробиться к самостоятельной практике не было: предварительный стаж работы в кабинете какого-либо присяжного поверенного являлся обязательным условием допуска к судебной трибуне.

После долгих мытарств (Вышинский и в Москве перебивался частными уроками) ему улыбнулось счастье: безработного юриста 32 лет от роду приветил один из самых выдающихся адвокатов того времени, Павел Николаевич Малянтович, участник множества политических процессов: защитник Льва Троцкого, защитник по делу о декабрьском вооруженном восстании в Москве (1905 год), по делу восставших моряков крейсера «Азов» и других, других, других... Это был человек с ярко выраженными либерально-демократическими убеждениями, которого политическое прошлое Вышинского не шокировало, а, напротив, привлекало. Он взял его в помощники, и лишь благодаря этому Вышинский смог официально быть зачисленным в состав адвокатского сословия Московской судебной палаты. Его скромная, но дававшая надежды на перспективы юридическая практика длилась около полутора лет.

Свержение монархии вновь призвало его под революционные знамена. Мало где было — в процентном, разумеется, отношении — такого количества активных деятелей, поставивших себя на службу Февральской ре-

волюции, как в адвокатуре. Сотни присяжных поверенных и их помощников заняли те или иные должности в новых органах местного самоуправления. Вышинский сначала пристроился в «Земгор» (объединенный комитет Земского и Городского союзов, созданный для организации снабжения воюющей армии), точнее, в редакцию издававшегося им бюллетеня, а затем почти сразу же был назначен комиссаром 1-го участка милиции Якиманского района Москвы. Тем временем стали складываться новые органы власти, в Якиманском районе образовалась своя управа (мэрия), и Вышинского выбрали председателем опять же 1-го ее участка.

Уже начавшего полнеть рыжеватого джентльмена в лоснящихся брюках и потертом пиджаке (тогда это считалось признаком хорошего тона) часто видели на партийных собраниях меньшевиков, реже — на митингах «для народа», где в его обязанность входило распределение предвыборной литературы: приближались выборы в районную и городскую думы. В районную (Калужскую) он был избран по списку меньшевиков, в городскую — был кооптирован: его зажигательные речи производили впечатление. Впрочем, самым заметным его делом была организация бесплатных кухонь для нуждающихся рабочих. Еду раздавали под лозунгами меньшевиков, и Вышинский острил, вкладывая в шутку отнюдь не шуточный смысл: «С каждой ложкой супа в наших едоков вливаются идеи меньшевизма».

Эти идеи он вливал в своих слушателей и с думских трибун — районной, городской. Принимая установившуюся власть как свою, отвечающую его идеалу, он с увлечением пропагандировал ее практические шаги. К примеру, в спешно изданной брошюре «Какие нам нужны городские думы?» он утверждал, что муниципальная реформа Временного правительства «превзошла самые смелые ожидания».

Но, конечно, главным событием недолгой карьеры районного мэра был подписанный им приказ, которому сам он, ставя подпись, не придавал особого значения. И, однако же, именно этот приказ наложил печать на всю его дальнейшую жизнь и определил выбор линии поведения, которой он следовал до конца дней.

В сентябре 1917 года, когда под влиянием угрожающе менявшейся политической ситуации Временное правительство готовилось к очередной реорганизации, его глава

Александр Керенский, в совсем недавнем прошлом один из самых громких политических защитников (в частности, защитник большевиков — членов Государственной Думы, обвинявшихся в измене), вспомнил о своем московском коллеге Павле Малянтовиче и попросил министра финансов Терещенко передать ему приглашение войти в состав кабинета. Малянтович согласился, но он не состоял ни в какой партии, а кабинет был межпартийным. По зову сердца и совету министра внутренних дел меньшевика Никитина Малянтович вступил в меньшевистскую партию и приступил к исполнению обязанностей министра юстиции и одновременно Верховного прокурора. Исполнение это длилось ровно один месяц — день в день: с 25 сентября по 25 октября, когда вместе с другими министрами Временного правительства Малянтович был арестован и препровожден в Петропавловскую крепость, где пробыл два дня.

Но месяц его министерского служения ознаменовался судьбоносным решением — и для него самого, и для Вышинского тоже. С диаметрально различными последствиями и, однако же, для обоих в полном смысле слова поистине судьбоносным.

Вот какое распоряжение получил, как и все другие районные мэры, председатель Якиманской управы Вышинский в октябре 1917 года: «...постановлением Петроградской следственной власти Ульянова-Ленина Владимира Ильича надлежит арестовать в качестве обвиняемого по делу о вооруженном выступлении третьего — пятого июля в Петрограде (это лишь повод, причина — в стремлении предотвратить переворот, о подготовке которого Временному правительству стало известно.— **А. В.**). Ввиду сего поручаю Вам распорядиться о немедленном исполнении этого постановления в случае появления названного лица в пределах вверенного Вам округа. О последующем донести. Министр юстиции П. Н. Малянтович». (Такое же распоряжение дал Верховный прокурор П. Н. Малянтович прокурорам окружных судов).

Что должен был сделать представитель самого низшего звена исполнительной власти, получив указание от представителя самого высшего ее звена? Естественно, он распорядился «о немедленном исполнении»: соответствующие афиши с портретом «названного лица» были расклеены на стенах домов вверенного ему округа. Но донести «о последующем» не удалось: уже через не-

сколько дней не стало — в этом качестве — ни министра, ни мэра. Сам Малянтович впоследствии считал свое распоряжение печальной ошибкой.

Судьба П. Н. Малянтовича — готовая документальная драма с поразительными зигзагами, на которые только была способна наша эпоха.

Сам Ленин не придал распоряжению Малянтовича о своем аресте того значения, которое навязывали историки и юристы сталинской школы. Он знал его не только как выдающегося защитника и общественного деятеля, изгнанного московским генерал-губернатором из университета с воспрещением жительства в Москве и Московской губернии; не только как автора гремевших на всю страну речей против политики царского правительства, в поддержку рабочих и их прав; не только как защитника известного большевика Вацлава Воровского, знаменитого Петра Заломова, ставшего прообразом Павла Власова — героя романа М. Горького «Мать»... Но еще и как юриста, выступавшего по делу о наследстве миллионера Саввы Морозова и отсудившего для партии большевиков 100 тысяч рублей. И как человека, спасавшего известного большевика Виргилия Шанцера (Марата): после его ареста Малянтович взял на воспитание двух детей своего подзащитного.

По личному предложению Ленина Петроградский Совет принял решение о немедленном освобождении Малянтовича из крепости. В дальнейшем, во избежание возможных недоразумений, нарком юстиции Курский и нарком просвещения Луначарский снабдили его соответствующими мандатами, гарантирующими неприкосновенность личности. Три года спустя Ленин распорядился привлечь Малянтовича к работе в Главполитпросвете, а еще год спустя Дзержинский пригласил его возглавить юридическую часть руководимого им Высшего Совета народного хозяйства (ВСНХ). То есть, иначе говоря, приказ об аресте Ленина ни сам Ленин, ни ближайшие сотрудники Ленина никогда не ставили ему в вину.

Но наступили «проклятые тридцатые», и все повернулось. 1 ноября 1937 г. Малянтовича постигла общая судьба миллионов: его бросили на Лубянку, оттуда в камеру пыток Лефортовской тюрьмы, потом в Бутырку. Было намерение объявить его руководителем «заговора» в московской адвокатуре, членом которой он тогда состоял. Судя по их сановным подписям в материалах

следствия, к «делу» Малянтовича приложили руку деятели НКВД высокого уровня: Лев Влодзимирский, Соломон Мильштейн, Всеволод Меркулов. Тяжелобольной, 68-летний арестант героически выдержал все пытки и ни в чем виновным себя не признал. Его истязали более двух лет — и все напрасно. Вот выдержка из протокола от 14 января 1939 г.: **«Следователь Миронович:** намерены ли Вы сегодня дать показания о своей контрреволюционной деятельности? **Малянтович:** я намерен сегодня сказать то же, что скажу завтра и послезавтра,— что никогда контрреволюционной деятельностью не занимался, ни в каких контрреволюционных организациях не состоял и ими не руководил. **Следователь:** Ваши увертки, Малянтович, Вам не помогут... Не дожидайтесь, Малянтович, дальнейшего изобличения».

Малянтович верил в то, что его бывший помощник, человек, которого он вытащил из беды, ставший, как некогда и он, во главе прокуратуры страны, не даст свершиться расправе. Писал Вышинскому он сам — из тюрьмы. Писала жена — ослепшая и прикованная к постели Анжелика Павловна Кранихфельд-Малянтович, которой 20 с небольшим лет назад Андрей Януарьевич целовал ручки, благодаря за душистый чай и булочки с кремом, и которая, будучи известным московским дантистом, бесплатно лечила ему зубы. Писала дочь Галли Павловна Малянтович-Шелковникова... Прокурор СССР А. Я. Вышинский повелел не отвечать на эти письма. Почти год Малянтовича ни разу не вызвали на допрос — он ждал очереди предстать перед Военной коллегией Верховного суда СССР. 22 января 1940 г., после 15-минутного рассмотрения дела, Малянтовича расстреляли. Вместе с ним погибли два его сына, брат и семья брата...

Сразу после смерти Сталина оставшаяся в живых дочь Малянтовича начала борьбу за его посмертную реабилитацию. Вышинский способствовать восстановлению доброго имени своего спасителя и патрона не пожелал. О восстановлении справедливости просили старые большевики А. С. Курская, В. П. Антонов-Саратовский, П. И. Воеводин и многие другие — Екатерина Павловна Пешкова, С. Я. Маршак, известный юрист, член-корреспондент Академии наук СССР А. Н. Трайнин, виднейшие московские адвокаты... Пять лет понадобилось для того, чтобы преодолеть консерватизм тогдашней прокуратуры. В 1959 г. состоялась формальная реабилитация. Имя этого выдаю-

щегося деятеля российской демократии замалчивалось много лет.

Октябрьская революция сокрушила честолюбивые планы начавшего делать политическую карьеру юриста. Меньшевик Вышинский сразу же понял, что при большевиках ему на своем посту долго не задержаться. Надо было срочно искать другую работу: стабильную и перспективную. Опять помогли личные связи.

В Баку семья Вышинских поддерживала соседскую дружбу с семьей Халатовых. Когда у Баграта и Кати родился первенец — Артемий,— участвовал в дружеской вечеринке по этому поводу и гимназист Андрей.

Халатов-младший подрос, стал студентом Московского коммерческого института. Когда дипломированный сосед — бездомный и неприкаянный — приехал искать фортуну в Москве, юный Артемий охотно делил с неюным Андреем свою койку. Вышинский в долгу не остался: став большим человеком в районе, он сделал Артемия членом Замоскворецкой думы и, что гораздо важнее, членом ее продовольственной управы. Сразу же после революции в Петрограде, не дожидаясь исхода боев в Москве, Артемий Багратович, которому только что исполнился 21 год, вступил в партию большевиков.

Прошла неделя-другая, и ситуация в корне изменилась. Уже не Вышинский тянул Халатова, а Халатов — Вышинского: долг платежом красен. Меньшевик Вышинский покинул мэрию и стал рядовым продинспектором, а большевик Халатов занял кресло заместителя московского чрезвычайного комиссара по продовольствию и транспорту.

Вскоре в Москве появился третий бакинец — не по рождению, правда, но по стажу работы. Сталин — некогда тюремный сокамерник, а теперь влиятельный член большевистского руководства, нарком по делам национальностей. Мог ли «товарищ Андрюша» тогда, в Баиловской тюрьме, даже отдаленно предположить, что его неистовый оппонент, бестолку зубривший эсперанто и благосклонно принимавший чужие дары, заберется на такие высоты?! Правительство переехало в Москву, двери гостиницы, где расположились наркомы, были всегда открыты: мания всеобщей секретности и всеобщего страха еще не настала...

Именно в их первую московскую встречу Вышинский совершил самый провидческий и самый мудрый за всю

свою жизнь поступок, а таковых — будем справедливы — окажется на его веку немало: ни единым словом не напомнил он о благодеяниях, некогда оказанных им узнику Баиловской тюрьмы, и с порога обратился к нему на «вы», хотя невозможно себе представить, чтобы в тюрьме товарищи по несчастью и по борьбе общались так между собою. Камера, споры, дележ продуктов — все было напрочь забыто. У Вышинского хватило ума и такта не предпринять ни малейшей попытки реанимировать прошлое, дабы извлекать выгоду из него.

И как раз потому, что он ее не извлекал, она к нему шла: парадокс лишь для тех, кто не слишком разбирается в людях.

Итак, вчера еще мучительно ищущий, где бы приткнуться,— он обрел наконец не просто хлебное место — трамплин для карьеры. Стоит вспомнить, чем стало продовольствие и вообще чем являлась система снабжения уже в конце 1917 года, чтобы понять, какая реальная власть и какие реальные перспективы открылись сразу же перед Вышинским. Какая реальная власть (не над городом или районом — над жизнью и смертью) оказалась в его руках.

Его прямыми начальниками были Артемий Халатов и Алексей Рыков — оба члены коллегии Наркомпрода, ответственные за снабжение продовольствием Москвы. Штаб состоял при Московском Совете, во главе которого находился Лев Каменев. Под началом этой «тройки» Вышинский сделал два главных броска наверх: сначала он стал заведующим реквизиторским (!) отделом Московского железнодорожного узла (этот отдел **отнимал** у крестьян продукты, которые они везли на продажу в Москву), а потом — начальником управления распределения Наркомпрода. То есть, проще сказать, человеком, занявшим ключевой пост: ведь именно в его монопольном распоряжении и находилось распределение продуктов и предметов первой необходимости по всей голодной, раздетой, разутой — по разоренной великой стране.

Дружными усилиями Сталина, Рыкова, Каменева он уверенно поднимался все выше и выше. Добрым гением, который вывел его на широкий простор, был Халатов [1].

---

[1] Этот крупный деятель государства не имел какой-либо узкой специальности, а, как верный солдат, шел туда, куда его посылали. Главную известность получил как заведующий объединением государ-

Он не только осуществлял, но и теоретически обосновывал ту безумную систему «распределения», которая пришла на смену нормальной купле-продаже. (Кстати, именно тогда — уж не с легкой ли руки Вышинского — устаревшее слово «магазин» было заменено в разговорной речи словом «распределитель»? Перестали спрашивать: «Что продают в магазине?» Стали спрашивать: «Что дают в вашем распределителе?») Эта страсть — находить фундаментальное обоснование и вгонять в наукообразные формулы очередной политический поворот, очередную прихоть «высшего руководства» — сохранится за ним на всю жизнь и сделает его незаменимым на любом витке многострадальной нашей истории.

Любопытно и горько читать сегодня его глубокомысленные рассуждения из брошюры, вобравшей в себя две статьи — «Политика Советской власти в области распределения и обмена» и «Кооперация и ее виды», брошюры, изданной в качестве «пособия для участковых школ»: «Буржуазное общество не знало проблемы распределения... Распределение требует единства, обобщающей и руководящей идеи... Установленная уже 27 октября 1917 г. (на третий день после взятия власти! — **А. В.**) государственная монополия на предметы питания и широкого потребления, уничтожившая свободный обмен этими предметами и ограничившая возможность самоснабжения до крайних пределов, возлагала на государство прямую заботу о снабжении трудящегося населения всем, что охватывалось понятием «первой необходимости».

Но, пожалуй, самым беззастенчивым по цинизму, самым обнаженным и откровенным был такой пассаж из выступления Вышинского на Первом Всероссийском совещании распределительных комитетов (ноябрь 1919 г.): «Ныне в деле распределения не приходится руковод-

---

ственных издательств, когда сблизился с Горьким и другими виднейшими писателями.

27 июня 1937 г. Халатов был арестован. Двумя неделями позже та же участь постигла его жену. Сразу же прогнали с работы (она заведовала книжным фондом Библиотеки им. Ленина) и выслали из Москвы его мать, Екатерину Герасимовну. На ее письма, в которых она, конечно, ни словом не обмолвилась ни о встречах в Баку, ни о том, чем обязан прокурор страны ее сыну, Вышинский вообще не ответил. И на письма жены Артемия Халатова — Татьяны Павловны Худяковой — тоже. Мать и жена, проведя в лагерях и ссылке 17 лет, дожили до посмертной реабилитации Халатова, которой активно добивались Екатерина Павловна Пешкова, академик Кржижановский и известный режиссер и актер Николай Охлопков.

ствоваться общечеловеческим принципом справедливости... Мы переходим от принципа уравнительного распределения к принципу классового распределения». И — в подтверждение правильности этого тезиса — упоенно ссылается на «как всегда, афористично меткое высказывание товарища Зиновьева: «Мы даем рабочим селедку и оставляем буржуазии селедочный хвостик». Семнадцать лет спустя он будет требовать для афористично меткого товарища Зиновьева, превратившегося к тому времени в «буржуазную падаль» и «взбесившуюся собаку», смертной казни и вечного проклятия.

Впервые прикоснувшись к реальной власти, Вышинский не мог не почувствовать ее вкуса. Однако его отличала не только проницательность, но еще и осторожность. Ощущения безраздельной победы большевиков пока что не было, и принадлежность к меньшевистской социал-демократии его пока не беспокоила. С одной стороны, эта принадлежность не мешала ему занимать высокое должностное положение и даже взбираться по служебной лестнице, с другой же — «в случае чего» — сохраняла за ним политическое алиби: если бы события вдруг круто повернулись, он легко и убедительно смог бы доказать, что всего лишь лояльно сотрудничал с большевиками.

Его хватало и на работу в Наркомпроде, и на партийную активность. Уже примелькавшееся, уже обратившее на себя внимание имя Вышинского фигурирует и среди организаторов социал-демократического (меньшевистского) клуба «Искра» (все в том же Замоскворечье), и среди членов Московского комитета партии меньшевиков, где он представлял опять-таки родной Замоскворецкий район. Человек феноменальной работоспособности и неутомимого здоровья, он не увиливал от общественных акций, не отрывался от коллектива, был доступным и равным. Один из сотрудников Вышинского, так же, как и он, работавший до революции помощником присяжного поверенного — В. А. Краузе, — вспоминал много позже в письме своему бывшему шефу, как тот вместе со всеми ездил по Савеловской железной дороге на погрузку дров, как он воодушевлял мобилизованных своей «заражающей бодростью, энергией, веселостью и пением песен».

Когда наступили особо тревожные дни, и было уже не до песен, — Деникин стремительно продвигался к Москве, — Вышинский и группа других левых меньшевиков добровольно отправились в Тулу, передав себя в распоряжение местных властей. Явившись к секретарю губкома

и председателю губисполкома, ставшему и начальником Тульского укрепленного района, Григорию Каминскому, Вышинский произнес пылкую речь — о том, что лозунг «Москва в опасности» он и его товарищи воспринимают как призыв «лично включиться в борьбу за спасение Советской власти от смертельной угрозы». Каминский поморщился (как и все ортодоксальные большевики старой закваски, он меньшевиков недолюбливал, относился к ним с подозрением и недоверием), но опасность действительно была велика, так что любое подспорье могло оказаться кстати. Вышинский даже рыл окопы и вообще не чурался никакой работы, заслужив в конце концов похвальный отзыв самого Каминского [1].

Разгром Деникина скорее всего подтолкнул Вышинского как можно скорее определиться. Ждать уже было нечего. Остатки Добровольческой армии бежали на юг — готовилась их эвакуация. Впереди еще был Врангель, впереди Кронштадт и другие антибольшевистские выступления, но сколько-нибудь разумному человеку не могла не открыться очевидная истина: большевики победили.

Очередная встреча со Сталиным решила все: пока что еще не генсек, но уже член Политбюро и член правительства, обладавший большим влиянием и авторитетом у партийных чиновников, Сталин не мог тогда, разумеется, единолично решать вопросы большой государственной важности, но такой пустяковый — мог безусловно. Пустяковым, впрочем, этот вопрос был в масштабах страны, а в масштабах его, Вышинского, личной судьбы — первостатейным. Вопрос о разрыве с меньшевиками и вступлении в партию большевиков.

Слово Сталина оказалось решающим: в феврале двадцатого года Замоскворецкий райком принял Вышинского в ряды Российской коммунистической партии большевиков.

Сначала это радовало открывшейся перспективой. Позже — вселяло ужас. Не вступление, разумеется, а то, что было оно запоздалым: почти два с половиной года он выжидал.

[1] Вряд ли Вышинский забыл этот похвальный отзыв. Нарком здравоохранения СССР и кандидат в члены ЦК Григорий Наумович Каминский был арестован 25 июня 1937 г., через 4 месяца после того, как осмелился на пленуме ЦК открыто, хотя и весьма осторожно, выступить против готовившейся расправы над Бухариным и Рыковым. Его объявили диверсантом, террористом и руководителем контрреволюционной группы. 10 февраля 1938 г. Каминского казнили — на месяц раньше, чем Бухарина, которого он пытался спасти.

Да, конечно, иные из бывших единомышленников сделали это еще позже, чем он. Майский — позже на год. Заславский — на целых четырнадцать [1]. Но это служило слабым утешением: факт оставался фактом — колебался товарищ Андрюша, уже успевший к тому времени в голодной Москве отрастить небольшой животик, слишком уж долго.

Был, однако, человек, которого эта страница его биографии могла только радовать. Сталин понимал преотлично, какой занозой сидит — и будет всегда сидеть — в сознании бывшего меньшевика щекотливейший тот эпизод. Насколько сделает его покорным и преданным.

2

Вышинский действительно любил свою профессию и только здесь себя чувствовал как рыба в воде. Поэтому просьба, с которой он, попав в **номенклатуру** (понятия такого еще не было, а сущность уже была), обратился в Московский городской комитет **своей,** родной большевистской партии, казалась искренней: он просил найти ему место по юридической части.

Место нашлось: его послали в адвокатуру (тогда она называлась коллегией защитников), рекомендовав (уже появилось вошедшее вскоре в политический обиход такое словечко — лукавый эвфемизм необсуждаемого приказа) на пост председателя. «Рекомендацию», конечно,

---

[1] Давид Иосифович Заславский (1880—1965) — меньшевик, член ЦК Бунда. Учился на юридическом факультете Киевского университета в то же время, что и Вышинский. В 1917 г. вел злобную кампанию против Ленина, печатая о нем статьи как о немецком шпионе. Мало кого Ленин клеймил с такой яростью, как Заславского. Он называл его негодяем, заведомым клеветником, сплетником, подлецом, осуждая тех, кто подает Заславскому руку. Впоследствии Заславский стал официальным советским журналистом, главным фельетонистом «Правды», получив неограниченное право шельмовать честных людей. Сталин открыл ему двери в партию лишь в 1934 г. После этого Заславский еще усерднее стал травить политических деятелей, всю жизнь верно служивших большевизму. Жертвами его разнузданного пера были многие деятели культуры. Имя этого перевертыша наводило ужас и страх. Я сам видел два приговора: по первому человека осудили на 10 лет за то, что в компании приятелей он назвал Заславского «грязной личностью», по второму 8 лет получил тот, кто показывал сослуживцам статьи Ленина о Заславском. Этот второй приговор был Вышинским опротестован «за мягкостью», а судья изгнан с работы: «товарищ Заславский олицетворяет собой партийную печать, его дискредитация — это гнусный вражеский выпад против Советской власти».

уважили, избрав товарища Вышинского главой столичной адвокатуры открытым голосованием. Осмелившихся голосовать против, разумеется, не нашлось.

С уничтожением старой судебной системы была разгромлена и адвокатура, и теперь на новых началах (самое главное — по классовому признаку) она **рождалась** заново: бессмысленный декоративный довесок к зависимому суду, псевдогарантия прав обвиняемых и подсудимых. Создать и возглавить этот правовой институт — так, чтобы, оставаясь ничем, он выглядел всем,— задача труднейшая и в высшей степени ответственная. По плечу только верным и преданным.

Уже через два или три месяца защитник сменил квалификацию: стал обвинителем. Прокурором уголовно-судебной коллегии только что образованного Верховного суда РСФСР. Итак начавшая отлаживаться бюрократически-чиновничья номенклатурная машина нашла ему более подходящее место, вывела на нужную орбиту. Здесь произнесены им первые речи, часть которых в стенографической записи сохранилась для будущих поколений.

Сюжеты тех — первых — судебных процессов, на которых Вышинский пробовал голос, удивительно напоминают сюжеты, до боли знакомые: следователи и судьи, обложившие данью бакалейщиков-казнокрадов и освобождавшие их за это от наказания; крупные шишки плодившихся ведомств, чинодралы с партбилетами, превратившие в барахолку свои служебные кресла; вельможные хозяйственники из легендарного Помгола, жиревшие на народной беде...

Страшные гримасы времени, достойные гневного пафоса обвинителя, не могли, естественно, не привлечь широчайшего общественного внимания. О прокуроре заговорили. Имя его снискало популярность. Его устами кричала сама справедливость. Он клеймил оборотней и перерожденцев — клеймил за дело: осоловевшие от пьянок, шулерства и поборов нувориши в кожаных куртках вызывали омерзение у любого нормального человека, ни одно даже самое резкое слово в их адрес не казалось чрезмерным.

И однако... Лишь теперь, обогатившись горьким историческим опытом, перечитывая заново эту кровоточащую «устную литературу», замечаешь то, что вряд ли замечалось тогда. А если и замечалось, то считалось, наверно, естественным: стремление придать тошнотворной, но, увы, обыденной уголовщине непременно политическую

окраску. Еще робко, исподволь, между прочим, чужеродно вклинившись в обычный криминалистический анализ, вдруг промелькнут и «агенты», и «лазутчики», и «духовные диверсанты», и «всевозможный буржуазный смрад». Эти словосочетания, лишь входившие в обиход и носившие, скорее, характер ораторского приема, митинговой метафоры, чем реальности, тогда не резали слух.

Вышинский очень старался не только заслужить доверие коллег и товарищей по партии, но и показать, насколько лучше он выполняет роль судебного трибуна. Лучше — чем первый судебный оратор того времени Николай Крыленко. Если уж быть объективным, его речи и в самом деле сочетали в себе страсть, логику, сарказм и убежденность. Они были рассчитаны и на судей, и на слушателей, и на читателей — на разные социальные и культурные слои: каждый находил в них хоть что-нибудь для себя. Тогда как речи Крыленко отличались многословием, натужной риторикой, бедностью языка, злоупотреблением маловразумительной псевдомарксистской фразеологией.

В этом незримом поединке Вышинский с самого начала выглядел профессионалом, а Крыленко дилетантом, однако очевидное превосходство отнюдь не сопровождалось ростом престижа Вышинского в партийных кругах. Там по-прежнему относились к нему с нескрываемой неприязнью, тем более что во всем — в манере одеваться, разговаривать, острить — он решительно отличался от новых своих товарищей по партии. Так что вряд ли можно считать удивительным, что первую же партийную чистку он прошел мучительно...

Свою преданность большевизму Вышинский доказывал не только стоя перед парткомиссией. Он был плодовитым автором, и особое место в печатной продукции, вышедшей под его именем, занимали «Очерки по истории коммунизма» — двухтомный труд, вобравший в себя лекции, которые он читал в Институте народного хозяйства и разных других аудиториях Москвы. (В этом институте, заметим кстати, он как-то незаметно — по совместительству — дослужился до декана, показав, повторю это снова, редчайшую работоспособность.)

Эти очерки лишь недавно рассекречены (мрачная гримаса судьбы: много книг Вышинского было изъято из общего пользования и заточено на годы и годы в спецхран!): в них обильно и более чем почтительно цитиру-

ются тогдашние кумиры — те, кто был у руля — Каменев, Зиновьев, Бухарин. Да, Сталин тоже — разумеется, тоже,— но в компании с теми тремя... Надо представить себе, как хотел Вышинский ее уничтожить, эту двухтомную книгу, и, наверно, где только можно, ее уничтожили. Но не везде. Теперь мы можем воочию убедиться, как старался он приспособить теорию — на сей раз не правовую, а историко-философскую — к практике «текущего момента». Впрочем, не он один, не он один.

Сейчас, когда только-только входит в жизнь совершенно новая для нас практика не назначения, а выборов директоров предприятий, руководителей высших учебных заведений, кому-то, наверно, покажется невероятным, что в 1925 году ученый совет Московского университета, состоявший в немалой части из старой, дореволюционной профессуры, выбирал нового ректора открытым голосованием. Правда, кандидатура была только одна, рекомендованная свыше. Но оформили все честь по чести, весьма пристойно и демократично — профессора дружно подняли руки.

Как читатель, видимо, догадался, ректором стал профессор (уже профессор!) Вышинский. Позади осталась высокоответственная и разнообразная государственная служба. Теперь его бросили не только сеять разумное, доброе, вечное, но и — главное!— руководить всеми сеятелями в самом престижном учебном центре страны.

Сразу же священная колыбель гуманизма под его руководством начала отторгать проникших туда в изобилии классовых врагов. Таковыми были объявлены выходцы из непролетарских семей. Бастион цивилизации и культуры постепенно начал освобождаться и от неугодных профессоров.

Вот весьма красноречивый отрывок из его статьи того времени, она называлась «Актуальные вопросы высшей школы»: «В высшей школе, как и во всем обществе, идет классовая борьба, усиливающаяся и углубляющаяся... Классовые интересы, враждебные пролетариату, пытаются опереться на авторитет университетских кафедр, закрепиться на этих позициях и от обороны перейти иной раз даже в нападение... Проповедь кулацкой, поповской и народнической мелкобуржуазной идеологии должна быть решительно устранена из стен высшей советской школы».

Собственное, не слишком пролетарское, происхождение и политическое прошлое повелевали новому ректору действовать именно так — решительно и непримиримо,— чтобы никто не мог заподозрить его в покровительстве братьям по классу.

Конечно, он не только руководил, но и преподавал. На юридическом... Любимый свой уголовный процесс. Доказывал, как плоха судебная процедура при проклятом царизме (позволившая тем не менее оправдать и Веру Засулич, и Бейлиса, и многих других) и как хороша теперешняя — классово-пролетарская. С невероятной быстротой издал для студентов пухлый «Курс уголовного процесса». Один пассаж в этом курсе привлекает внимание: «Было бы большой ошибкой видеть в обвинительной работе прокуратуры основное ее содержание. Главная задача прокуратуры — быть проводником и стражем законности». Золотые слова! Особенно если помнить, что было потом. Не в «Курсе», а в жизни.

Казалось бы, Вышинский достиг всего, к чему стремился. В своей автобиографии — во всех трех ее, мне известных, редакциях — он утверждает, что главной целью его была преподавательская и научная работа. Ректор Московского университета — есть ли что-либо лучшее для осуществления этой цели? Поистине головокружительная карьера, если началом ее считать вступление в сословие помощников присяжных поверенных: десять лет, всего-навсего десять лет!..

Но, видимо, ему предназначались деяния куда более великие. Ибо выбор, который пал на него в 1928 году, сам по себе говорит о многом. **Такое** назначение, разумеется, утверждалось на самом верху.

Была «раскрыта» некая «вредительская организация» из числа советских и иностранных инженеров, которые, «по указанию из Парижа», решили бороться с большевиками, взрывая и уничтожая шахты Донбасса. На скамье подсудимых оказались 53 человека: такого количества несчастных ни до, ни после не собирал за один раз ни один судебный процесс. Весь смысл его состоял в как можно более широкой публичности, поэтому местом действия определили бывшее Московское Дворянское собрание — беломраморный Колонный зал Дома союзов.

При подготовке к этому — тогда еще беспримерному — политическому шоу проблема номер один состояла не столько в подборе красноречивого обвинителя (трибунов худо-бедно хватало), сколько в подборе послушных и пре-

данных судей. Нужна была фигура, которая совмещала бы в себе множество разнообразных качеств: импозантность и респектабельность, внешнюю культуру и солидность (ожидались иностранные наблюдатели, зарубежные журналисты), находчивость — на случай неожиданных и непредвиденных поворотов процесса, и надежность: с точки зрения устроителей — способность влиять и на подсудимых, и на публику.

Вышинский был счастливой находкой. Другого подходящего кандидата попросту не было. Оставалось единственное препятствие: он не был официальным — формальным — судьей. И, значит, не мог стать во главе состава Верховного суда (а только этому органу пристало судить «преступников» такого масштаба).

Но хозяин — барин! Росчерком пера был реанимирован известный по не самым светлым страницам истории заменитель суда нормального: Специальное Судебное Присутствие. К нему прибегали и раньше, в дореволюционной России, для придания процессу особой престижности, для подчеркивания его чрезвычайности. И, конечно, для особой весомости выносимого им приговора. Вот во главе этого внесудебного, внепроцессуального органа и встал крупнейший теоретик уголовного процесса, ректор МГУ профессор Вышинский.

Великое прошлое Московского университета освящало его на этом посту.

Кем же был избран он для такой ответственной роли? Для выполнения особого поручения... Троцкий к тому времени уже пребывал в ссылке. Зиновьев и Каменев полностью повержены, острием своим процесс был направлен против Бухарина — Рыкова — Томского, лично задевал Куйбышева (глава ВСНХ, так получалось, пригрел под своим крылышком вредителей и диверсантов). Председатель ОГПУ Менжинский (это достоверно известно) был против процесса. Кто же остается? Если идея организации процесса была сталинской, то, конечно же, делом его рук был и выбор решающей, ключевой фигуры процесса — председателя Специального Судебного Присутствия.

Место государственного обвинителя занял заклятый друг и соперник Вышинского. Николай Крыленко. Впервые они оказались в одной команде. Конечно, прирожденному златоусту хотелось играть роль, отданную сопернику: ведь прокурор не только произносит речь, он ведет допрос, он всегда на виду, демонстрируя находчивость,

остроумие, напористость — всю совокупность бойцовских качеств. Роль судьи куда более пассивна и невыразительна. Вышинский страдал. Но и гордился: все же хозяином процесса был он, итоговое — главное — слово оставалось за ним.

Именно здесь, на этом процессе, было брошено то зерно, которое вскоре прорастет и даст обильные всходы: все внимание суд сосредоточил не на анализе доказательств (которых попросту не было), а на том, чтобы добиться от подсудимых подтверждения признаний ими своей вины, содержавшихся в протоколах предварительного следствия. Некоторые из подсудимых на открытом суде, при огромном скоплении публики от прежних своих признаний отказались. Иные меняли их в ходе процесса несколько раз, и любому человеку в зале, если только он не был слепцом или недоумком, открывались тайны минувшей ночи: доведенные до отчаяния шантажом, угрозами, а то и прямым рукоприкладством жертвы вновь «сознавались», потом приходили в себя, отвергали ложь, а наутро опять каялись и вымазывали себя грязью.

Крыленко прилюдно глумился над жертвами, тогда как Вышинский, напротив, дожимал их логикой, облеченной в форму изысканной корректности. Воспоминания очевидцев рисуют нам прелюбопытнейшие психологические портреты двух столпов советской юриспруденции того времени. Тогда как Крыленко предстает под пером мемуаристов в облике бесчувственного грубияна, едва ли не хама, о Вышинском вспоминают если не с теплотой, то, во всяком случае, с уважением, признавая за ним такие качества, как вежливость и отзывчивость.

Пользуясь правом хозяина процесса, Вышинский не раз обрывал слишком уж расходившегося Крыленко, гасил его пыл, осаживал и язвил. Он демонстративно покровительствовал защите и выказывал свое пренебрежение обвинению. Позировал перед иностранными наблюдателями? Искал популярности? Или тешил себя возможностью покуражиться над соперником, нелюбовь к которому не считал нужным скрывать? Скорее, и то, и другое, и третье. Особенно раздражал его политический ригоризм прокурора, отсутствие гибкости, та унылая прямолинейность, с которой тот подходил к обличению подсудимых, его примитивные обобщения. «Интеллигенция,— утверждал Крыленко в обвинительной речи,— никогда не была классом или слоем населения, который имел свою определенную отчетливую политическую фи-

зиономию. По самому существу своему, как обслуживающий, а не производящий социальный слой, интеллигенция всегда была осуждена на то, чтобы расслаиваться...» Наблюдатели отмечали, что эти школярско-«марксистские» откровения вызывали кривую усмешку председателя Специального Судебного Присутствия.

Сталин в ту пору еще не хотел ссориться с интеллигенцией, тогда как Бухарин требовал для посаженных на скамью подсудимых интеллигентов самого сурового наказания. Вышинский лавировал, стремясь показать себя независимым, объективным и демократичным судьей.

Пройдет несколько лет, и они поменяются местами: о Крыленко будут вспоминать как о безвольном и беспомощном человеке, словно ожидающем ежеминутного удара из-за угла, а Вышинский предстанет во всей своей силе и неуязвимости.

3

Одиннадцать раз из уст профессора, читавшего приговор в переполненном зале, прозвучало слово «расстрел». Пятеро — из одиннадцати приговоренных — были расстреляны. «Приговор приведен в исполнение»,— сообщили газеты. Сразу же вослед было сообщено, что товарищ Вышинский выпустил книгу, в которой подвел итоги Шахтинского процесса. Его «мысли» на этот счет, высказанные по горячим следам, очень важны для понимания зреющих процессов (процессов и в социально-политическом, и в юридическом смысле).

Некоторые подсудимые, похоже, искренне делились тревогами и опасениями: я боялся, что Советская «власть способна только разрушать, а не создавать» (инженер Братановский), мне казалось, «что развалившуюся промышленность и хозяйство страны советская система и власть восстановить не смогут» (инженер Горлецкий), «скептицизм к происходившему в экономике, конечно, имел место» (инженер Казаринов).

Какой же вывод из этих признаний делал юрист Вышинский? Они, оказывается, «безусловно свидетельствуют о том, что эти люди сознательно вступили на путь вредительства и диверсий».

Появляются словосочетания, которые через несколько лет обретут права гражданства: «московский вредительский центр», «харьковский антисоветский центр» —

модель сочинена и опробована, пройдет время, и она заработает вовсю.

В сочинении судьи много цитат. Исчезает коллективный разум, на который еще совсем недавно опирался автор «Очерков по истории коммунизма»,— мы не найдем больше на страницах его книги имен Зиновьева, Каменева, Бухарина. Никого — кроме Сталина. Правда, нет еще «мудрого» и «великого», но уже мельтешит в глазах: «как справедливо говорит товарищ Сталин», «как указывает товарищ Сталин»...

Но, пожалуй, самым важным является тезис, сформулированный автором, не предвидевшим еще 37-й год, но чутко уловившим социальный (читай: сталинский.— **А. В.**) заказ: «Советский суд — этот ответственнейший орган пролетарской диктатуры,— должен исходить и всегда исходит исключительно из соображений государственной и хозяйственной целесообразности».

Тогда еще не вошло в моду поспешно награждать орденами. Но награда пришла в ином виде. О ней тоже известили газеты: «Товарищ Вышинский А. Я. назначен членом коллегии Наркомпроса». Никто нам не даст письменных доказательств, насколько ревностное исполнение Вышинским чрезвычайного задания повлияло на решение повысить его должностной статус. Но очевидность причинной связи ясна, мне думается, и без письменных доказательств. Сфера, которой Вышинскому поручено руководить, казалась унылой и неперспективной: профессиональное образование. Трудовые резервы — если следовать более поздней терминологии.

Профессиональная подготовка была слабым звеном, кадров отчаянно не хватало. Попытка сочетать несочетаемое — жесткий классовый подход, идеологическую нетерпимость с планомерной подготовкой достаточного количества высококвалифицированной рабочей силы — терпела неудачу за неудачей. В работу по созданию школы всех ступеней включились так называемые «спецы» — старая профессура, крупные ученые. Рядом с ними Вышинский выглядел политкомиссаром, «спецнадзирателем» в достаточно определенном смысле этого слова. Присланным чужаком, которого все боялись.

В письме ко мне видный музыковед И. Я. Рыжкин — со слов своего коллеги профессора Надежды Яковлевны Брюсовой (сестры поэта Валерия Брюсова), в ту пору заведовавшей отделом музыкальных учебных заведений,— рассказывает о том, как Вышинский организовывал регу-

лярные «проверки» содержимого письменных столов, портфелей и сумок сотрудников Наркомпроса в поисках крамолы и «предметов, не относящихся к прямой служебной деятельности проверяемого лица». По сравнению с теми «проверками», которые начали повально осуществляться несколько позже, эти выглядят невинной забавой, почти шутливым розыгрышем, но характерный почерк автора узнается сразу...

Особенно любил он заседания коллегии, на которых утверждались списки запрещенных книг. В то время эта благородная задача входила в функцию Наркомата просвещения, и списки, подготовленные соответствующей комиссией просветителей в штатском, заранее раздавались членам коллегии для одобрения. В первом же списке числилось около 400 книг: из библиотек и книжных магазинов изымались «Бесы» Достоевского, философско-религиозные труды Льва Толстого, романы Жюля Верна — в них нашли воспевание колониализма. Вышинский с обезоруживающей логикой всегда мог доказать, почему освободить неразумного читателя от знакомства с сомнительной книгой лучше, чем оставить его с этой книгой наедине.

На место Луначарского вскоре пришел А. С. Бубнов: получившая хождение в наркомпросовской среде версия, будто Вышинского «подбросили» Луначарскому, чтобы «съесть» его и занять наркомовское кресло, не подтвердилась. Заместителем наркома сделали Крупскую, поручив ей ведать библиотеками. Работавший заместителем наркома профессор (впоследствии академик) Отто Юльевич Шмидт был другом Крыленко, участником его памирских экспедиций. При всех этих убежденных большевиках комиссаром был вчерашний меньшевик, не просто рядовой член той, поверженной, партии, а весьма энергичный и преуспевающий ее активист. Расклад замечательный!

Вышинского уже боялись. Нет, не как подручного Сталина — тогда это вряд ли еще было кому-нибудь ясно. А как представителя той загадочной системы надзора, которая уже пронизала весь аппарат и все общественные слои. Как обличителя, который все время кого-то ниспровергает, громит.

Вот, к примеру, обсуждается сугубо методологический вопрос: нужно ли вузовскому выпускнику защищать дипломный проект. Для Вышинского этот вопрос был не методологическим, а политическим: никаких дипломных

проектов! Ведь огромное большинство студентов — недоучки и «полуучки», малограмотные молодые люди, но зато с классово чистой анкетой, никакой серьезный проект попросту им не под силу, он сразу же обнаружит их жалкий потенциал. Страна получала идеологически преданных невежд, которых нужно было освободить от всего, что их обременяло. Из уст Вышинского сторонники дипломных проектов узнали, кто они такие: «вражеские лазутчики», «скрытые оппортунисты», «идеологические диверсанты» и даже «проводники кулацких взглядов». Тридцатые годы еще не наступили, еще не в ходу эти клички, терминами «кулак» и «кулацкий подголосок» пока еще клеймили лишь тех, кто был лично причастен к классовой борьбе в деревне. Но Вышинский проявил похвальную инициативу, введя в сферу науки и просвещения ярлыки, применявшиеся пока лишь в сфере политики.

Такие же страсти разгорелись вокруг вопроса о студенческой производственной практике. Ясно, что тем, кто учиться не привык, кто способностями не вышел, теоретические знания даются с трудом. Старая профессура дружно выступила против непрерывной производственной практики: истинные ученые, они хотели воспитывать квалифицированных специалистов, а не бездарностей, кичащихся своим происхождением. И подверглись за это со стороны «пролетария» Вышинского жестокой травле. На ректорском совещании в 1930 году Вышинский произнес речь, в которой назвал имена некоторых профессоров (Сеневич, Родионов, Сиротинский и другие), считавших, что отмена дипломных проектов и перенос обучения из студенческих аудиторий в цеха нанесет урон народному хозяйству (соотношение теоретических и практических занятий уже составило 1 : 11), объявил их позицию «троцкистским вывертом» и «вылазкой классового врага», пообещал «привести в движение все доступные средства», чтобы расправиться со своими оппонентами.

В одном из его выступлений вдруг промелькнула фраза: «Мы сейчас принуждены бросить бригады в районы сплошной коллективизации». Принуждены! Интересно, кто его (их?) принудил? Не иначе как не «кто», а «что»: желание выслужиться на крутом, поистине судьбоносном витке истории. Проводил коллективизацию Сталин, настаивал на ней Сталин... Кто-то еще спорил, еще высказывались доводы против заданных темпов коллективизации, против насаждавшихся форм ее осуществления, а Вышинскому спорить было не о чем: он уже понял с не-

пререкаемой непреложностью, что Сталин всегда прав.

Что делали его посланцы — чиновники из Наркомпроса — в деревне? Создавали общественные бригады для выявления кулаков, подкулачников, середняков. Инструктировали учителей на селе, чтобы те надлежащим образом влияли на своих учеников. И учителя влияли. Собирали детские доносы на родителей, родственников, соседей. Предательство оплачивалось по тем временам достаточно щедро: парой сапог, подпиской на пионерскую или комсомольскую газету. Вместе с бригадами взрослых чиновников Вышинский отправлял на село и детей. Они составили ядро рекламно-показательных детских колхозов: были тогда и такие, сегодня о них не вспоминают.

И нарком Бубнов, и замнаркома Крупская поддерживали грозного своего комиссара, хотя и старались не прибегать к его лексике и терминологии. Они были за политику, им проводимую, хотя и не призывали, подобно Вышинскому, торжествовать «над старой схоластикой и рутиной, над старой академичностью и академической спесью», не сулили «вырвать из рук мертвецов» высшую, среднюю и профессиональную школу. И все-таки были «за»...

Представители поистине «золотого века» русской педагогики — А. П. Пинкевич, М. М. Пистрак, С. Е. Гайсинович, чьи позиции начальнику Главпрофобра Вышинскому были очень хорошо известны, некоторое время спустя стали жертвами прокурора Вышинского. Они были уничтожены. Других виднейших педагогов, изгнав с работы, обрекли на нищенство и бездействие. Такова была судьба Блонского, Венцеля, Иорданского. Конечно, не сам Вышинский был инициатором разгрома русской педагогики. Время, или, если точнее, Система действовали через него. Но исполнителем он оказался отменным.

Затевался новый публичный процесс. Ничуть не менее важный, чем Шахтинский. Он состоялся поздней осенью 1930 года.

Режиссура спектакля была такой же, как и два года назад, основные исполнители — тоже. Опять образовали Специальное Судебное Присутствие, и опять его возглавил Вышинский, а место государственного обвинителя занял прокурор Крыленко. Для Сталина это была мощная репетиция того, что войдет в историю как тридцатые годы, для Вышинского — главный экзамен, от которого зависела будущая карьера.

Скамья подсудимых — в сравнении с Шахтинским процессом и его 53 участниками — была почти пустой: на ней разместились лишь восемь человек. Только восемь — зато не чета безвестным шахтинским инженерам: главным героем был ученый с крупным именем, профессор Московского высшего технического училища, директор Всесоюзного теплотехнического института Рамзин, почти все остальные занимали руководящие должности в Госплане и ВСНХ: обе эти организации возглавлял В. В. Куйбышев. Практически процесс наносил удар по нему. Подсудимым приписали организационную связь с осужденным по Шахтинскому делу инженером Рабиновичем и с так и не появившимся ни на этом суде, ни на каком-либо другом инженером Пальчинским, про которого было глухо сказано, что он «расстрелян за участие в контрреволюционной организации» (по другой, близкой к истине, версии Пальчинский не выдержал пыток и погиб во время следствия). Так называемую «Промпартию» связали также с другой так называемой партией — «трудовой крестьянской», которую в ходе процесса называли «группой Кондратьева — Чаянова» (этих выдающихся ученых и литераторов казнили по приговору закрытого суда). Рамзин и его товарищи были представлены как агенты президента Франции Раймона Пуанкаре (обвинитель издевательски именовал его «гражданином Пуанкаре»), английского разведчика полковника Томаса Лоуренса, нефтяного магната Генри Детердинга и других империалистов. Процесс сопровождался шумной, почти истерической пропагандистской кампанией. Ее апофеозом было выступление в печати сына одного из подсудимых, инженера Всесоюзного текстильного синдиката Ксенофонта Ситнина, требовавшего для своего отца смертной казни.

Отличительной и зловещей особенностью этого процесса было то, что решительным образом отличало его от Шахтинского: все подсудимые сознались в предъявленных им обвинениях. Тут уже не нашлось подобных старику Рабиновичу, который обрезал Крыленко на глазах у всего зала: «Вы можете кричать сколько угодно, все равно никакой клеветы я на себя не возведу». Покорность, с какой Рамзин и его товарищи соглашались признать себя шпионами, вредителями, саботажниками, тогда была новинкой и вызывала полное недоумение. Особое впечатление это производило на западных юристов и вообще на людей, чье правосознание воспитано на классических

представлениях о правосудии: признание обвиняемых как бы исключает возможность спора о вине, ведь тогда еще, да и годы спустя тоже, многим в голову не могло прийти, что признание, заявленное на публичном суде, бывает отнюдь не только свободным и добровольным...

На этот раз Вышинский олицетворял собой карающий меч советского правосудия. Он уверенно входил в образ того обвинителя, который вскоре будет витийствовать на Больших московских процессах. По сути он стал здесь вторым прокурором, активно помогая Крыленко «обличать» подсудимых. Когда ему казалось, что Крыленко не слишком расторопен, не слишком напорист и умел, он сам вторгался в допрос, «помогая» коллеге и давая ему — и всем присутствующим тоже — наглядный урок по тактике ведения политических процессов.

Итог процесса, однако, был неожиданным: все пять смертных приговоров (Крыленко требовал их «из интересов политической целесообразности») были отменены. ЦИК (уж, конечно, не без участия вождя) помиловал осужденных, заменив расстрел десятилетним тюремным заключением. Профессор Рамзин продолжал и под арестом свою научную деятельность. В самый разгар массового террора, зимой 1936 года, он был полностью амнистирован. Много позже открылась страшная тайна: выдающийся ученый просто-напросто согласился сыграть зловещую роль в кровавом спектакле ОГПУ.

Удивительная судьба Рамзина еще раз подтвердила, что целью процесса являлось обеспечение базы для психологической атаки на население. Эта цель была достигнута — решающий свой экзамен Вышинский успешно сдал: 11 мая 1931 года Андрей Януарьевич был назначен прокурором РСФСР. Десятью днями позже к новому назначению прибавилось еще одно: он стал по совместительству заместителем наркома юстиции РСФСР. Взлет огромный, но радость возвращения в лоно юриспруденции, причем на таких высоких ролях, омрачалась одним обстоятельством: наркомом юстиции был назначен Крыленко — как-никак он тоже обеспечил триумф процесса «Промпартии». Недавнему меньшевику указали место. Теперь Вышинскому предстояло снова доказывать, кто из них подлинный большевик и верный ученик товарища Сталина.

4

Ни один громкий судебный процесс того времени, тем более политический, не обходился без его участия: он со всей очевидностью подал заявку на титул первого юриста страны. Впрочем, в 1931 году, когда затеяли суд над бывшими меньшевиками, Вышинскому места на нем не нашлось. Наверно, изощренное коварство вождя могло бы подсказать ему впечатляющую мизансцену: с трибуны обвинителя (он ведь уже был прокурором) вчерашний меньшевик клеймит вчерашних же меньшевиков! Вчерашних, ибо все подсудимые давно отошли от политической деятельности, работая скромными экономистами в разных советских учреждениях.

Правда, пять лет спустя этот несостоявшийся фарс все же был разыгран. На одном из «московских процессов» Вышинский патетически восклицал: «Известно, что меньшевики и эсеры, эти злейшие враги социализма, всегда прикрывались именем социализма. Но ведь это им не мешало валяться в ногах у буржуазии, у помещиков, у белых генералов.

Мы помним, как меньшевики в петлюровской Раде призвали на Украину войска Вильгельма II, как они торговали свободой и честью украинского народа; ...как меньшевистское правительство Ноя Жордания верой и правдой служило иностранным интервентам!.. Всем известно, что не было и нет более последовательных и более жестоких, озверелых врагов социализма, чем меньшевики и эсеры».

Кого же так яростно он обвинял? Уж не себя ли? Или пытался доказать, что сам не был среди жестоких и озверелых, а если и был, то полностью перестроился?

Но все это будет лишь через пять лет. Пока что обязанность громить меньшевиков легла на плечи Крыленко и его помощника Григория Рогинского, который вскоре станет помощником Вышинского, примет участие в «большом терроре», получит за это орден Ленина, сам угодит в лагерь и оттуда будет призывать к еще большей суровости по отношению к «заклятым врагам трудового народа». Привычное место Вышинского за столом председателя Специального Судебного Присутствия занял Н. М. Шверник — в то время глава советских профсоюзов. Ему способствовали два других старых большевика с репутацией порядочных людей, оба — члены Верховного Суда СССР: Антонов-Саратовский (доживет до 1965 года) и Муранов, бывший депутат IV Государственной думы (доживет до 1959-го).

Среди подсудимых окажется несколько известных в прошлом деятелей меньшевистской партии, которые не могли не быть некогда для Вышинского безусловными авторитетами: Владимир Громан, Василий Шер, Михаил Якубович и особенно Николай Суханов, труды которого по истории революции читал Ленин, соиздатель — вместе с Горьким — газеты «Новая жизнь», где Горький опубликовал свои «Несвоевременные мысли». Именно на его квартире, у жены Суханова, большевички Галины Флаксерман, собрался в октябре 1917 г. ленинский штаб, чтобы решить вопрос о вооруженном восстании.

Теперь Суханов и его товарищи отвечали на издевательские вопросы обвинителей и судей, стремившихся убедить мир, что давно отошедшие от политики бывшие меньшевики создали контрреволюционное «Союзное бюро», вошли в связь с внешними и внутренними врагами (включая «Промпартию» и «Трудовую крестьянскую партию»), вредили, шпионили, готовили интервенцию... Суханова допрашивал (и вообще расследовал вмененные ему в вину деяния) следователь по важнейшим делам при Прокуроре республики М. С. Строгович, в недалеком будущем ближайший сподвижник Вышинского, а в более отдаленном — его оппонент и антипод.

Поразительная особенность процесса состояла в том, что подсудимые, признаваясь в деяниях, которые они не только не совершали, но и не могли совершить (алиби их «сообщников» было доказано документально, а некоторые задолго до того, как стать «сообщниками», успели уйти в мир иной), не скрывали вместе с тем своих подлинных взглядов. Так, отвечая на вопрос защиты, Суханов, например, заявил: «Я считал, что огромные, никем не предусмотренные и неожиданные темпы колхозного движения вызывались не чем иным, как бедствиями крестьян-товаропроизводителей от нереальных тягот хлебозаготовок. Я считал, что хлебозаготовительный план 1929 года преувеличен и непосилен, ...что колхозное движение и вся хлебозаготовительная кампания 1929—1930 гг. неизбежно будут иметь катастрофическое значение для всего нашего народного хозяйства. И стало быть, катастрофа на почве разорения деревни, на почве кризиса сельского хозяйства, на почве недоснабжения города — эта катастрофа мне представлялась неизбежной в самом близком будущем». Он утверждал также, что отказ от НЭПа «бьет по социализму и благосостоянию народа».

Когда за судейским столом сидел Вышинский, таких откровений подсудимые себе не позволяли. И когда он займет место государственного обвинителя, не позволят тоже.

Французский писатель Виктор Серж уверял, что во время следствия обвиняемых склоняли оговорить себя в обмен на тайную свободу и даже награды и что именно Суханов эту мошенническую операцию разоблачил. Скорее всего так и было. Крыленко был к нему особенно беспощаден. «Никакой общественной полезности,— заявил он в обвинительной речи,— за гражданином Сухановым я признать не могу,.. а общественная вредность его доказана достаточно... Ни одной минуты я не колеблюсь утверждать, что наша революция, революция мировая, а уж тем паче мировая история ничего не потеряет от того, что с лица земного шара исчезнет один из тех персонажей, представителем которых является гражданин Суханов».

«Прошу вас,— завершил он обращением к судьям свою речь,— проявить максимальную жесткость по отношению к подсудимым».

Максимальную жесткость они, разумеется, проявили, хотя «с лица земного шара» пока еще и не стерли: Суханову и другим главным обвиняемым определили по десять лет тюрьмы.

«После 1934 года следы Суханова теряются»,— пишет Роберт Конквест в книге «Большой террор». Их можно, однако, найти в судебном деле. Суханов провел в заключении 5 лет. 20 марта 1935 г. Президиум ЦИК СССР заменил ему оставшийся срок ссылкой в сибирский город Тобольск, где он работал экономистом «Обьрыбтреста», а затем учителем немецкого языка в татарской школе. 19 сентября 1937 г. по ордеру тобольского прокурора Раппопорта он был вновь арестован — скорее всего по программе ликвидации «социально опасных элементов». Ему вменили в вину «связь с германскими шпионами», а также антисоветскую агитацию при отбывании ссылки. После года пребывания в Тобольской тюрьме его этапировали в Омск, где местный палач Саенко приступил к его истязаниям.

О том, что пришлось ему пережить, рассказал он сам в письме А. И. Микояну, написанном 10 сентября 1939 г., уже после того, как трибунал Сибирского военного округа приговорил его к расстрелу: «Мне было предложено самому изложить мои «преступления» против Советской власти, то есть выдумать их. Это свое требование мои сле-

дователи подкрепляли всем арсеналом мер физического воздействия, постепенно пускаемыми в ход в восходящем порядке... Главную же роль в моем поведении сыграли угрозы поставить в аналогичное с моим положением мою жену, старую и больную женщину. На основании прецедента я знал, что это отнюдь не пустые угрозы. Избавить жену от подобной участи было для меня необходимо любой ценой. Я уступил требованиям омских властей... Протокол от 19 ноября 1938 г., подписанный мной, явился ценой, которую я уплатил за... спасение жены. Однако эта цена не казалась мне чрезмерно высокой, и мой компромисс чересчур большим. Ибо в силу некомпетентности моих следователей протокол явился полным несообразностей, нелепым вообще и в частностях. Никакой осведомленный читатель не мог бы признать его правдоподобным и писанным действительно с моих слов в нормальной обстановке следствия». Далее в письме Микояну (трудно сказать, почему выбран именно этот адресат) говорится: «...И чисто политический акт всегда имеется полная возможность обставить не так грубо и примитивно, и в подобном случае дело должно было бы быть передано в более умелые руки, особенно когда оно касается лица, имеющего некоторое историческое имя. Наконец, что касается меня лично, невозможно понять, в чем могла бы заключаться политическая целесообразность моего расстрела... Несомненно, это правильно оценивается высшим правительством...»

Суханов и «высшее правительство» отнеслись, однако, по-разному к «политической целесообразности» его расстрела. 21 июня 1940 г. Президиум Верховного Совета СССР подтвердил правильность приговора, и Суханов был казнен. Все попытки его жены и сына добиться во время хрущевской оттепели реабилитации Н. Н. Суханова окончились неудачей. Центральный государственный особый архив МВД СССР (теперь, видимо, архив РФ) дал справку, что «по сведениям французской полиции за апрель 1929 г. Суханов... находился на содержании у болгарского посланника в Берлине», что его знакомый Гильгер, «будучи советником германского посольства в Москве, руководил там специальным отделом», а другой знакомый, Шеффер, московский корреспондент газеты «Берлинертагеблатт», служил в «Интеллидженс сервис» и являлся личным агентом Ллойд Джорджа. Вот этой «справки» и было достаточно, чтобы подтвердить обоснованность двух приговоров по делу Суханова и тогда отказать в реабилитации.

Больше никогда уже Крыленко не садился за стол обвинителя, никогда не имел возможности обнаружить свой ораторский дар на судебной трибуне. Зато вовсю развернется Вышинский, о котором он почтительно скажет в предсмертном издании своих обвинительных речей: «Этими господами (то есть «троцкистско-зиновьевской бандой, бухаринцами и рыковцами, действовавшими в наших рядах под подлой личиной двурушников...» — такую он даст им характеристику.— **А. В.**) занимался уже тов. Вышинский, и его речи составляют в свою очередь (не утерпел-таки, поставил себя в один ряд.— **А. В.**) ценнейший исторический материал для будущих историков (так и написано: исторический материал для историков...— **А. В.**), не говоря о их политически актуальном значении для нашего времени».

До того, как «тов. Вышинский» стал заниматься «этими господами», в его блестящей карьере был сделан еще один шаг наверх. Учредили наконец общесоюзную прокуратуру, во главе которой стал недавний 1-й заместитель председателя ОГПУ И. А. Акулов. В чекисты нового типа этот «романтик революции» и «убежденный гуманист», как его характеризуют работавшие с ним люди, явно не годился, но он был старым большевиком с боевой биографией и непоколебимой верностью линии партии — ему нашли высокую должность. А комиссаром к нему определили еще более верного сторонника партийной линии — А. Я. Вышинского: с июня 1933 г. тот стал заместителем Прокурора СССР.

Два юбилея сошлись вместе, один вслед за другим, и оба были торжественно отмечены как в общей, так и главным образом в специальной юридической печати: сначала исполнилось 30 лет пребывания Крыленко в рядах партии, а вскоре ему исполнялось от роду полвека. У него было очень громкое имя в стране, так что не заметить обе эти высокоторжественные даты общественность не могла. Журнал «Советская юстиция», например, орган возглавлявшегося Крыленко наркомата, посвятил первому юбилею несколько страниц. С прочувственным приветствием к юбиляру обратились виднейшие юристы. Список подписавших открывает Вышинский. Особо отметив наиболее дорогую именно Вышинскому мысль — о том, как самоотверженно юбиляр боролся с меньшевиками и эсерами, авторы приветствия заключали: «От всей души желаем ему продолжать борьбу за дело рабочего класса и социализма с той же энергией и тем же

талантом, с тем же большевистским огнем, как он работал до сегодняшнего дня».

Три месяца спустя отмечался второй юбилей, но тщетно мы будем искать в потоке приветствий имя Вышинского. Знал ли он уже, какой пост его самого ожидает? Или высчитал участь Крыленко? Или решил перестать лицемерить? Этот последний вариант решительно надо отвергнуть, но первые два, как и иные, неперечисленные, исключить невозможно. И однако же это было всего лишь началом. Именно на нем, на Крыленко, Вышинский впервые попробовал зубы. Именно эту жертву избрал, чтобы снять с себя маску корректного коллеги, со всеми лояльного, скромно знающего свое место, и перейти в наступление. По известной пословице: «Бей своих, чтобы чужие боялись».

Случай вскоре представился: Сталин произнес очередную историческую речь о кадрах (там прозвучало знаменитое откровение: «кадры решают все»), и Вышинский тут же откликнулся на нее статьей «Речь товарища Сталина и задачи органов юстиции». Имя Сталина в статье было названо 69 раз и набрано всюду жирным типографским шрифтом. К этой редкостной еще аллилуйщине автор механически пристегнул резкую критику проекта нового Уголовного кодекса, разработанного под началом Крыленко. Взбешенный нарком поспешил ответить: «Мы не можем оставить статью тов. Вышинского без ответа, хотя и не видим ни особой необходимости, ни особой логики в том, чтобы увязывать данные вопросы с речью товарища Сталина».

Этого-то Вышинский и ждал, затаившись, словно охотник, выслеживающий дичь. Есть, оказывается, такие вопросы, к которым не имеет отношения речь товарища Сталина?! «Товарищ Крыленко явно написал это в полемическом задоре, и я уверен, что он осознает ошибочность своих взглядов, если подумает». Из его «ответа на ответ» вытекало, что сам он об этом хорошенько подумал и пришел к выводу: вопросов, к которым не имеет отношения любое слово, сорвавшееся с языка или пера товарища Сталина, не существует.

Горькая ирония состояла в том, что как теоретик, как юрист-профессионал Вышинский был прав, а Крыленко с защищаемой им позицией выглядел профаном, дилетантом и демагогом. Он отстаивал и пробовал обосновать опаснейший «принцип», согласно которому судье нужно развязать руки, не сковывая его предусмотренными зако-

ном четкими и конкретными составами преступлений. Вышинскому ничего не стоило доказать, что это открывает путь судейскому произволу и лишает подсудимого каких бы то ни было правовых гарантий. Получалось, что Крыленко выступает за беззаконие и расправу, а Вышинский за строжайшее ограждение прав человека.

Истинная же суть спора состояла в другом. Абсолютно неспособный к двойному мышлению, Крыленко всерьез пытался обосновать реальную практику «революционного правосудия» и сочинить законы, отвечающие этой практике. Вышинский же проницательно понял сталинскую тактику: записывать и рекламировать демократические правовые институты и под их прикрытием все делать наоборот, пудря мозги легковерным. И на Западе, и в своей стране. Ему прекрасно это удавалось. Вспомним, забегая вперед, что именно сталинская конституция включила в себя статью, подробно развитую вождем в его — разумеется, историческом — докладе, о праве свободного выхода любой союзной республики из СССР. В страшном сне не могло присниться товарищу Сталину, что кто-то воспримет это всерьез как руководство для практики: пусть бы кто-то попробовал!.. Но он в порошок бы стер того, кто лишил бы республику на бумаге этого «священного права». Сталинская конституция (на бумаге!) должна быть самой демократической в мире. И между прочим — на бумаге! — она — написанная Бухариным, а вовсе не Сталиным — такой и была.

И так во всем. Умный и хитрый Вышинский распознал коварство вождя, принял его как ведущую установку. Сталин же понял, что он понял, в этом и был залог их союза. До поры до времени, и притом надолго, они были нужны друг другу.

Упрямый Крыленко закусил удила. Он продолжил полемику: «У меня нет охоты дальше спорить с т. Вышинским. Есть спор и спор. Есть спор, из которого, как говорили древние, рождается истина, и есть спор, который только ее затемняет. Это бывает, когда вместо спора по существу уходят от принципиальных вопросов... Методы спора я оставляю... на совести т. Вышинского (нашел где оставить! — **А. В.**)».

Оба диспутанта высказали одну и ту же надежду: «Решение предоставим будущему» (Крыленко), «Дальнейший ход вещей покажет, кто из нас прав» (Вышинский). Дальнейший ход показал...

...1 июня 1939 г. очередная сессия Верховного Совета утвердила А. Я. Вышинского заместителем Председателя Совнаркома, освободив от обязанностей Прокурора СССР. Его место в кабинете на Пушкинской улице занял безликий и неведомый никому человек — Михаил Панкратьев. Стране не было сообщено ничего — буквально ничего!— о том, что представляет собой тот, кто пришел на смену юристу с мировым именем и занял в государстве ключевую позицию такой огромной важности. И дело не в том даже, что эта фигура была крошечной пешкой в игре, временщиком, которого скоро на этом посту не будет. Дело в том, что сам этот пост никакой ключевой позицией не являлся. Даже в бытность Вышинского. Не пост давал Вышинскому силу, он сам, личным своим присутствием, возвышал этот пост, создавая иллюзию власти, будто бы в нем заключенной. Он оставался на этом посту до тех пор, пока такая иллюзия была нужна для высокой политики. С его уходом эта должность и во внешнем своем проявлении обрела те черты, которые отличали ее сущность. Форма и содержание слились в том гармоничном единстве, о котором так любили рассуждать сталинские философы.

Переход на другую работу дал возможность Вышинскому уделить больше внимания творчеству. Как-никак он только что (январь 1939 г.) стал академиком — положение обязывало время от времени подтверждать свою принадлежность науке.

Вышинский сознавал, что вышедшие за его подписью брошюрки «Подрывная работа разведок капиталистических стран и их троцкистско-бухаринской агентуры» и «Некоторые методы вредительско-диверсионной работы троцкистско-фашистских разведчиков» (почему не шпионов?) вряд ли будут признаны современниками, а тем паче потомками, за исследования ученого. А он, как мы помним, тяготел к научным лаврам — научным, а не каким-то другим. Считал себя ученым, волею обстоятельств призванным на государственный пост, а отнюдь не чиновником, «спущенным» еще и в науку...

За высоким забором роскошной дачи допоздна светилось окно в кабинете на втором этаже. Вся Николина Гора знала: Вышинский работает. Создавалась «Теория судебных доказательств в советском уголовном праве» — главный труд академика, который выйдет не одним изданием, удостоен Сталинской премии первой степени и объявлен классикой правоведения. И действительно, этот труд обсто-

ятельный. Даже фундаментальный. Он создан человеком, отлично владеющим материалом, оснащенным железной логикой, сильным своей убежденностью. Книга пересыпана латинскими формулами, крылатыми изречениями, обилием цитат, множеством ссылок на десятки, если не на сотни научных трудов — русских, советских, американских, английских, французских, немецких. Старых, новых, новейших... Слог достаточно легок, не давит тяжеловесным наукообразием, каким отличались и отличаются сочинения иных правоведов. Некоторые главы, мне кажется, и сегодня не устарели — те, где автор далек от политики.

Но не этими главами прославилась книга. Не за них получила награды. А за два основных достоинства, в которых не преуспел ни один коллега Вышинского.

Одно из них особенно трогает: Вышинский страстно и последовательно утверждал в теории именно то, с чем столь же страстно и столь же последовательно боролся на практике. «Подлинно народное правосознание,— сказано в книге,— как и подлинно свободное внутреннее судейское убеждение, возможно лишь в подлинно народной и свободной стране, где самое правосудие осуществляется свободно и независимо, в интересах народа и непосредственно самим народом». Чем же иллюстрировал автор наглядность и точность этих поистине золотых утверждений? Приговорами Военной коллегии под председательством Ульриха.

Или еще один пассаж — он говорит сам за себя. «Оговор,— утверждает Вышинский,— это опаснейшее орудие против правосудия». Лучше не скажешь! Если не вспомнить, как и сколько он сам «орудовал» им.

Второе же достоинство похлестче первого. Оно в теоретическом обосновании того беззастенчивого попрания законности, на ниве которого так преуспел Вышинский-практик. Выше уже упоминалось имя профессора Строговича, вошедшего в Академию на правах члена-корреспондента вместе с действительным членом Вышинским. До какого-то времени он был его близким сотрудником, работал с ним вместе в прокуратуре, поддерживал иные из его «теоретических» догм... Он был против того, чтобы «воспринять в нашем процессе «презумпцию невиновности» как некий абстрактный принцип в том виде, как он сформулирован буржуазной процессуальной теорией... Этот либеральный принцип в его абстрактном виде имел бы демобилизующее, размагничивающее влияние, приводил

бы к ослаблению борьбы с преступностью». В разгар начавшихся массовых репрессий профессор Строгович, повторяя Вышинского, утверждал, что «обострение классовой борьбы на том или ином этапе, в отношении тех или иных категорий конкретных дел может вызвать сжатие, свертывание процессуальной формы и связанных с ней процессуальных гарантий», то есть, иначе сказать, давал «теоретическое» обоснование закону от 1 декабря 1934 г., который положил начало повальному уничтожению людей.

Оттого и провел Вышинский своего союзника и соратника в Академию: его ум и его перо могли пригодиться. Но «союзник» был не так прост и не так послушен, как казалось лидеру правовой науки. Он позволил себе иметь личное мнение. Робкое, но личное. Скромное, но мнение. Под влиянием процессов (в смысле социальном и в смысле юридическом), очевидцем которых он был, профессор Строгович пересмотрел свое отношение к такой «абстракции», как «презумпция невиновности», и стал отстаивать ее жизненную необходимость для самого понятия правосудия хотя бы в качестве принципа, ибо о внедрении его в судебную практику не приходилось даже мечтать. Это была открытая полемика с самим Вышинским, никто даже в самой невинной форме не мог тогда осмелиться на такое кощунство.

«Категорическое утверждение профессора Строговича,— небрежно отмахнулся от своего оппонента первый правовед страны,— что «в советском уголовном процессе бремя доказывания... никогда не переходит на обвиняемого и его защитника», лишено основания». И все! Раз академик сказал «лишено», значит, оно лишено, дискутировать не о чем.

«Если ставить вопрос об уничтожении врага, то мы и без суда можем его уничтожить» — завершим столь редкостным откровением первого теоретика права наш краткий обзор его главного сочинения. Эта формула замечательна тем, что она практически не камуфлирует бойню под видом юстиции, а предопределяет ее и даже делает чуть ли не закономерной. Судебная и внесудебная расправы, освященные столь высоким теоретическим авторством, как бы смыкались друг с другом, становясь различными формами одного и того же — правого, полезного и нужного — дела.

В качестве «вице-премьера» Вышинский прежде всего курировал культуру. И, конечно же, просвещение. Как неотъемлемую часть культуры. И как очень близкую ему сферу: ведь именно в ней, в этой сфере, так впечатляюще преуспевал он совсем недавно. Все возвращается на круги своя...

Одна из важных задач, выпавших на его долю,— довести до конца процесс перевода письменности многих народов, входящих в состав Союза, на русский алфавит: сменить «латиницу» и арабскую вязь на «кириллицу». Только в РСФСР «по инициативе трудящихся масс» этот процесс, внезапно начавшийся и стремительно развивавшийся, затронул к началу 1940 г. тридцать семь народов! Мучительно шел и процесс постепенного, но неуклонного перехода обучения в национальных республиках на русский язык. Хотя в Постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР говорилось, что «родной язык является основой преподавания в школах национальных республик и областей» и что «тенденция к превращению русского языка из предмета изучения в язык преподавания и тем самым к ущемлению родного языка является вредной и неправильной», на практике именно эта тенденция стала проявляться довольно отчетливо, подхлестываемая на местах ретивыми администраторами, жаждавшими как можно скорее отправить «наверх» победный рапорт о достигнутых успехах. Немалые трудности принесли школе и чистки учительства: среди арестованных, сосланных и уничтоженных было много лучших представителей педагогических кадров, этого ядра народной интеллигенции, по давней российской традиции сеявшей разумное, доброе, вечное.

О чем же в этот драматичный, критический момент, переживаемый школой, говорил Вышинский, придя на Всероссийское совещание актива учителей? Ну, конечно, прежде всего о «гениальном учении товарища Сталина», который все на свете «поднял на небывалую высоту», «довел до совершенства», «осветил блеском своего великого ума». А еще?

О том, что «в неразрывной связи обучения и воспитания» очень важным звеном является пение «как средство организации, как средство приручения «зверьков», которые бывают иногда в классе, буйных натур, характеров». Пение, заключал Вышинский,— это «прекрасный инструмент», при помощи которого можно «преодолеть ряд больших трудностей». И зал охотно с ним согласился.

Вслед за 60-летием гения всех времен и народов (декабрь 1939 г.), с великим шумом отпразднованным по всей стране, приближалась дата чуть более скромная, но для нашего героя ничуть не менее важная, 9 марта 1940 г. исполнялось 50 лет Вячеславу Михайловичу Молотову, который теперь оказался на вершине сталинского Олимпа. Голос Вышинского в хоре тех, кто славил вождя, был не слишком заметным — нашлись голоса помощнее. Но тут-то он должен был взять реванш.

Его научная статья «Глава советского правительства», открывающая очередной номер академического журнала «Советское государство и право», которым он сам и руководил, поражает беспримерным даже для тех времен раболепием и угодничеством. Ни одна другая публикация в связи с юбилеем «главы советского правительства» не содержит таких немыслимых славословий, облеченных к тому же в наукообразную форму. Перечислить их все нет никакой возможности. Выдающийся политик, непримиримый борец, глубокий мыслитель, крупнейший теоретик, великий ученый, неутомимый труженик, замечательный человек... Это лишь малая доля тех добродетелей, которые рядовой академик приписал будущему почетному академику. Само собой разумеется, тут еще и любимый соратник Ленина, «сподвижник и друг великого Сталина», «первый помощник в осуществлении всех его предначертаний». И наконец поистине академический финал: «...В. М. Молотов делает с новой силой вывод — перед рабочим классом и всей трудящейся массой стоит на данной стадии задача укрепления советского государства. В устах В. М. Молотова это не просто теоретическое положение, научная формула, научный тезис, это — воплощенная в творческую практику государственного строительства гениальная идея...»

Конечно, тезис об «укреплении государства» является глубоко научным откровением, до которого не дано дойти простым смертным,— это ясно. Но то, что тут скрыта некая «гениальная идея», об этом, мне кажется, не всякий сумеет додуматься. А гением, между прочим, мог считаться в те времена лишь один человек. Двум гениям у руля было, пожалуй, тесновато. В своем восторженном раболепии Вышинский малость перехватил. Он шел на очевидный риск, слишком делал ставку на Молотова, принимая вождя и его «правую руку» за единое целое. Правда, Вышинский состоял в прямом подчинении Молотову и поэтому как бы имел право на повышенный накал чувств

по отношению к шефу. И однако — решусь повторить,— завысив накал, он мог проиграть.

Но не проиграл.

5

...На фронте воевали, на Лубянке допрашивали очередных врагов народа, а московские тюрьмы давно опустели. Впрочем, они начали пустеть еще в преддверии войны. Поразительная вещь: тогда как военное ведомство по указанию вождя ничего не предприняло для отражения отнюдь не внезапной агрессии, ведомство Берии проявило разумную предусмотрительность. Сухановскую и Лефортовскую тюрьмы, где были сосредоточены основные «контингенты» врагов народа, начали эвакуировать еще в мае. Но внутренняя тюрьма НКВД по-прежнему испытывала «жилищный кризис»: сюда доставляли все новых и новых арестованных. Здесь ждал решения своей участи приговоренный к смерти великий генетик академик Николай Вавилов. Все следователи по особо важным делам получили «бронь» от призыва на военную службу: их ратные подвиги были нужны здесь, а отнюдь не на поле брани.

Фронт стремительно приближался к Москве — НКВД был озабочен не обороной, но судьбой арестантов: население архипелага ГУЛАГ по-прежнему составляло не один миллион человек, иные из них оказались в непосредственной близости к фронту. В Орловской тюрьме (бывшем, еще при царизме, Орловском централе) сидели и недавние «клиенты» Вышинского — участники последнего из московских процессов Христиан Раковский, Сергей Бессонов и профессор Дмитрий Плетнев; их свезли сюда еще до войны — кого из Соловков, кого из Владимира...

На Лубянке срочно просматривали имена еще не уничтоженных знаменитостей. Их набралось 154. Все они были обитателями Орловской тюрьмы. Список был передан Ульриху, и с оперативной поспешностью армвоенюрист, ставший теперь генерал-полковником, проштамповал на всех заочные приговоры. Каждый из них был обвинен в контрреволюционной агитации и призывах к тюремному бунту, а посему — с учетом «обстановки военного времени» — подлежал расстрелу. 11 сентября обреченных вывели из камер и казнили — кого в подвалах, кого во дворе. (Кроме названных — Марию Спиридонову, Ольгу Каменеву, жену Л. Б. Каменева и сестру Л. Д. Троцкого,

Варвару Яковлеву и многих других.) На следующий день все остальные погрузились в эшелоны и, спасаясь от немцев, отправились на восток. Орел пал лишь через месяц — 8 октября.

Несмотря даже на эти чрезвычайные меры, Лубянка явно не ожидала крутых поворотов: здесь шла обычная, повседневная жизнь. Еще 15 октября академик (нет, смертник) Вавилов докладывал Берии, какую пользу стране в условиях войны могли бы принести те гигантские по своей всеохватности работы, которые он задумал. Но уже через несколько часов все изменилось.

Передовые части германской армии в нескольких местах прорвали фронт и устремились к Москве. Город охватила паника. Каким-то непостижимым образом информация, подчас сильно преувеличенная, распространилась среди москвичей. Тысячи людей потянулись к вокзалам, а то и просто к дорогам, ведущим на восток. Некоторые грабили кассы и магазины — о расстрелах мародеров (остальным в назидание) сообщали радио и газеты.

Официальная сводка Советского Информбюро была, как всегда, лаконична, но вполне выразительна: она сообщала о боях «на всем фронте, особенно ожесточенных на Западном направлении... Обе стороны,— завершалась сводка,— несут тяжелые потери».

В ночь на 16 октября началась спешная эвакуация внутренней тюрьмы НКВД. С арестантами в Куйбышев выезжали их «референты» — следователи Особого отдела. Туда же днем 16 октября выехали дипломатический корпус и часть аппарата Наркоминдела во главе с Вышинским. Через два дня (даже для правительственных составов скорость в то время невиданная) эшелоны прибыли в Куйбышев. Молотов был уже здесь, но, обеспечив размещение аппарата и дипломатов, вскоре вернулся в Москву. С этого времени и до конца сорок второго года Вышинский станет «запасным» министром в «запасной» столице, напрямую общаясь со всеми послами и фактически представляя там советскую дипломатию. Молотов будет в Москве — вместе с вождем.

В тот самый день — 28 октября,— когда на окраине Куйбышева, в «населенном пункте» Барбыш (там были дачи областного управления НКВД), без приговора, по личному приказу Берии были казнены крупнейшие советские военачальники — Г. Штерн, Я. Смушкевич, П. Рычагов, А. Локтионов, И. Проскуров и другие,— на сцене Куйбышевского оперного театра начал давать спектакли

эвакуированный сюда Большой театр: где правительство, где дипкорпус, там и Большой. Здесь собрались лучшие силы театра — оперные (Барсова, Михайлов, Пирогов, Рейзен), балетные (Лепешинская, Мессерер), дирижеры (Самосуд, Файер, Мелик-Пашаев). Дипломатов пригласили на эту горькую «инаугурацию» — забыться под музыку Верди от тягот провинциального военного лихолетья. С ними был и Вышинский — по долгу службы и зову сердца. В зале — подручные Берии, палачи Шварцман и Родос, неразлучный дуэт.

На следующий день из Москвы прибыли Меркулов и Деканозов: исполнителям-палачам было в чем отчитаться. Свой первый официальный визит вновь прибывшие нанесли Вышинскому. Кроме него, здесь находились еще двое «вице-премьеров»: Николай Вознесенский и Михаил Первухин, но Вышинский был ближе, роднее. Понимал с полуслова. Тут же дал указание местным властям освободить для нужд особого ведомства еще два дома. Но вряд ли узнал он от своих визитеров, что здесь, по соседству, всего лишь вчера были тайно убиты знаменитые генералы — гордость армии и ее надежда. Свой-то свой, но не до такой степени...

Под вечер 6 ноября они снова все собрались в том же театре. Места в президиуме заняли Ворошилов, Калинин, Андреев, Шверник, Вознесенский, Шкирятов, Ярославский, Первухин. С праздничным докладом выступил Вышинский. Впервые за 24 года, сказал он, в Москве не будет торжественного собрания и парада — высокая и горькая честь произнести доклад не в столице, а в славном городе на Волге выпала ему... Зал, значительную часть которого составляли дипломаты, сочувственно аплодировал. После доклада, как водится, был концерт. Но в ложе правительства остался только Вышинский — весь президиум куда-то исчез. Война, работа, не до концертов: кто этого не понимал?..

Между тем президиум в полном составе (лишь Вышинский по протоколу не мог покинуть дипкорпус) направился во Дворец культуры. Там по прямой трансляции передавали из Москвы главный доклад — тот, которого вроде бы не должно было быть. Под землей, на перроне станции метро «Маяковская» (о том, что именно в метро, тогда мало кто знал) выступал Сталин. С ним рядом были те, кто остался в столице: Молотов, Берия, Маленков, Каганович, Микоян, Щербаков, Буденный, Щаденко.

Назавтра, праздничным утром, Вышинский стоял на

трибуне — вместе с членами Политбюро, с Меркуловым, со своим коллегой Лозовским. Здесь, в Куйбышеве, парад принимал Ворошилов — в те минуты, когда Сталин на Красной площади осенял уходившие прямо на фронт колонны именами Александра Невского и Дмитрия Донского, Александра Суворова и Михаила Кутузова.

Вечером Вышинский дал свой первый прием. Потом будет их много — тех, где он станет радушным хозяином. Этот был первым и потому историческим. Присутствовал весь дипкорпус, явились военные миссии Англии, Польши, Чехословакии, специальная миссия США. Коммюнике сообщало, что присутствовал и «ряд советских писателей». Среди них — Илья Эренбург, который впервые имел возможность непринужденно побеседовать со вчерашним прокурором.

Прием удался на славу. Гостей услаждали своим мастерством первоклассные артисты, представлявшие едва ли не все жанры искусства, Вышинский и в лихую годину оставался покровителем муз.

Праздник есть праздник, вслед за ним наступили рабочие будни. Куйбышев стал ареной интенсивной дипломатической деятельности. Одним из первых сюда прибыл глава правительства Польши в изгнании и главнокомандующий рассеянной по миру польской армии генерал Владислав Сикорский. Еще в июле он подписал соглашение о возобновлении дипломатических отношений с Москвой. Предстояло пойти дальше, договориться об участии польских солдат и офицеров в борьбе против общего (теперь уже общего) врага. Но для этого надо было прежде всего их собрать — и солдат, и офицеров. Польский посол профессор Станислав Кот уже несколько раз обращался к Вышинскому. Еще в Москве, в конце сентября и начале октября. Требовал списки попавших к советским войскам польских воинов. Представлял свои списки, желая получить сведения о судьбе тех, кто был там поименован. Диалога не получалось. Вышинский твердил только одно: польские военные освобождены. Для поиска выхода прилетел из Лондона генерал Сикорский.

Накануне посол Кот предупредил Вышинского: «Надеюсь, что генерал Сикорский найдет всех своих офицеров». Вышинский проявил высокие качества дипломата, ответив фразой, которую можно было толковать как угодно: «Мы вам отдадим всех офицеров, которые у нас есть, но мы не можем дать тех, которых у нас нет».

Знал ли он о Катыни? Спросим иначе: мог ли не знать?

На куйбышевском аэродроме Сикорского встречал не только Вышинский — все дипломатические представители стран-союзниц: британский посол Стаффорд Криппс, глава английской военной миссии Макферлан, посол Чехословакии Зденек Фирлингер, поверенный в делах США Торнтон и многие другие. Они были приятно удивлены, когда, приветствуя высокого гостя, Вышинский вдруг заговорил по-польски. Дружеский жест был понят, отмечен — в дипломатии такие ходы дорогого сто́ят. И на новом поприще академик стал набирать очки.

Имя Вышинского снова, как и в тридцатые годы, у всех на слуху. Звучит по радио. Не сходит с газетных страниц. Но уже по другому поводу: встречи, беседы, приемы, проводы. Снова встречи и снова приемы. Внешняя, видимая часть дипломатии, за которой (скажем без всякой иронии) нелегкий труд. Маленький штришок их быта даст нам возможность понять, как протекала в глубоком тылу жизнь узкого круга.

Письмо посла Великобритании Арчибалда Кларка Керра заместителю наркома иностранных дел от 11 мая 1942 г.: «Дорогой господин Вышинский! Ваша посылка была доставлена мне сегодня после обеда. Счастливое бульканье привело в восхищение мое напряжение, мою жажду и мои надежды... Спешу выразить Вам мою искреннюю благодарность. То, что сделали Вы для меня, укрепляет мой организм и дух, но прежде всего оно согрело мое сердце, а за это человек не может не быть слишком благодарным.

Другое вино, присланное Вами, импульс, который вызван тем, что Вы любитель золотого ликера, все это привело меня в восхищение. Я надеюсь, что в ближайшее время буду в состоянии предложить Вам нечто из моей собственной страны, где наши обычаи, я рад заявить это, во многом похожи на обычаи вашего народа».

Бедняга, он принял бульканье золотого ликера за обычай народа... Тем более в те дни: май сорок второго...

Видимо, бесподобная галантность, учтивость и предупредительность заместителя наркома были в достаточно высоких тонах отражены на страницах посольских депеш, и сам сэр Уинстон Черчилль выразил жгучее желание встретиться с легендарным прокурором, оказавшимся (приятная неожиданность!) милым, радушным хозяином. Направляясь в Москву, Черчилль непременно хотел сде-

лать крюк и остановиться в Куйбышеве. Но ему адски не повезло — самолет крюк не сделал. «Я хотел бы выразить Вам мою горячую благодарность за все, что Вы сделали (готовясь к встрече — **А. В.**) и сообщить Вам о том, как я скорблю, что потерял возможность встретиться с Вами» (письмо Черчилля Вышинскому от 15 августа 1942 г.). Он утешил свою скорбь лишь через два с половиной года, встретившись с Вышинским в Ялте.

Странное дело: юрист-трибун, органически чуждый по самой сути своей профессии какой-либо дипломатии, быстро, легко и естественно «вписывается» в новые условия и новые задачи, в работу совершенно иную, вновь находя и открывая неведомые дотоле грани своих способностей. Кто спорит: их увидел и дал им дорогу Сталин. И, кажется, не ошибся.

Ни одним делом Вышинский не занимался формально — для «галочки», для представительства. В любое входил с головой, неизменно оставаясь самим собой. Вернувшись из дальней или ближней поездки, из самых высоких кабинетов или с переговоров, где решались глобальные проблемы мирового масштаба, он тут же, точно с такой же дотошностью, входил в проблемы сравнительно мелкие, которые, однако, мелкими ему не казались, ибо он все дела, большие и малые, принимал близко к сердцу.

Приведу, пожалуй, отрывок из сохранившейся в архиве и никогда не публиковавшейся стенограммы выступления Вышинского на заседании лекционного бюро Комитета по делам высшей школы при Совнаркоме СССР. Оно состоялось 24 августа 1944 г. Думается, этот отрывок даст нам достаточно отчетливый портрет Вышинского на этом витке его карьеры.

«...Илья Эренбург очень перехваливает в своих публичных лекциях Францию, несмотря на наши предупреждения: не захваливайте де Голля, не кадите чересчур... вы франкофил, но умерьте немножко свой пыл, согласуйте это с общегосударственными задачами... Если объявлена лекция о Франции, там уже сидит весь шпи... пардон, весь дипломатический корпус во всех видах...

Второй пример касается Италии. Один наш лектор, несмотря на то, что одну его лекцию мы забраковали, подвергли жестокой критике, исправили ее, он в своей лекции целый ряд исправлений игнорировал. Когда мы сравнили стенограмму, там оказались 5 или 10 мест, прямо противоположных тому, что мы утвердили. Этот лектор тов. Штейн...

(Штейн: «Я по вашему тексту читал...»)

Вы в десяти пунктах отступили от текста... Я двум экспертам поручил изучить стенограмму лекции, прочитанной вами в Колонном зале, и текст...

(Штейн: «Стенограммы не было»)

Нет, она была. Мы не создаем из этого секрета, все лекции стенографируются... Вы отошли от текста, но мы с вами поговорим особо...»

Как, однако, прорезался прокурорский фальцет!.. Легко представить себе, как поговорили с профессором Штейном. Может быть, намекнули, что играет с огнем. На Штейна в НКВД уже имелось пухлое досье и множество показаний о его «шпионской» деятельности. «Компромата» было достаточно, теперь вот добавился ещё один...

Но вернемся к речи Вышинского: есть на чем еще остановить наше внимание. Старейший русский ученый-юрист, на лекции которого еще в начале века сбегалась интеллигентная Москва, профессор Николай Николаевич Полянский, посетовал на то, что из текста подготовленной им лекции цензура выкинула «провидческие строки Гейне». Вышинский немедленно отреагировал:

«...и я бы вычеркнул! Не потому, что я против Гейне, а потому, что считаю неприличным в наших нынешних условиях пропагандировать эти имена. Может быть, и Гейне надо подвергнуть цензурному просмотру... Мы не можем ради красоты слова жертвовать политикой нашего государства».

Наконец, еще одно откровение Вышинского, уже впрямую касающееся актуальной внешнеполитической тактики. Ничего не возражу по сути — здесь интересны **тип** мышления, стиль, фразеология, очень точно отражающие принципы межгосударственных отношений в понимании Сталина — Молотова — Вышинского. Речь идет в данном случае о Болгарии. Не забудем, что советские войска уже стоят на левом берегу Дуная, а до Девятого сентября (день свержения пронацистского режима в Софии) остается чуть больше двух недель.

«...Наши отношения с Болгарией таковы, что мы тоже ведем известную игру... Болгария говорит массу прекрасных слов по отношению к Советскому Союзу: «Это наш освободитель, наш покровитель» и т. д. В действительности они сговариваются (с Германией.— **А. В.**), как нас надуть. Но Болгария думает: неплохо бы нас обоих надуть. Однако с этим вопросом выступать в публичной лекции

нельзя, потому что это означает спугнуть воробья раньше, чем мы собираемся ему насыпать соли на хвост, а что соли мы ему насыпем, в этом мы не сомневаемся».

Талейран говорил о том, что язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли. Эта бессмертная формула стала руководством в жизни многих и многих, кому выпал тяжкий жребий жить «под Сталиным», а уж для дипломатов-то и подавно руководством и правилом поведения. На этот раз, похоже, Вышинский ему не следовал и был предельно откровенен. Стиль отношения к другим народам и государствам нашел точное отражение в лексиконе: не вести переговоры, не отстаивать свои позиции, не проявлять последовательность и принципиальность, ясность и честность, а сыпать соль на хвост.

Именно этот стиль пышно расцвел в послевоенные годы.

Конец войны обострил бурную внешнеполитическую жизнь, придав ей больший динамизм. В последние дни апреля Вышинский деятельно участвует в конструировании многострадальных советско-польских отношений. После загадочной гибели генерала Сикорского, окончательного разрыва с лондонским эмигрантским правительством, трагедии Варшавского восстания и открытых столкновений с Армией Крайовой наконец наступает, кажется, новая эра в отношениях между двумя государствами: создание базы для них потребовало от Вышинского большого напряжения сил, дипломатии сталинской школы — пряника и кнута. Не случайно, покидая Советский Союз, после подписания договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве, премьер-министр Эдвард Осубка-Моравский послал из Бреста телеграмму Вышинскому с выражением «горячей благодарности за сердечный прием» и за его «плодотворные личные усилия», приведшие к конструктивным решениям. «Личные» — слово выбрано не случайно.

Все это кажется обычным дипломатическим протоколом, но только на первый взгляд. За неполных пять лет уже отнюдь не молодой Вышинский не просто освоил новую сложнейшую профессию, но занял в ней ведущее положение, практически осуществляя дипломатию великого государства в критический момент его существования. Конечно, он был не более чем исполнителем верховной воли диктатора, но исполнителем не механическим —

творческим. Сочетавшим в себе послушание и самостоятельность, безропотную покорность и высокие бойцовские качества. Вносившим действительно много личного в споры, без которых немыслима дипломатическая арена, и часто разрубавшим благодаря своему искусству запутанные узлы. Что, впрочем, понятно: ведь после уничтожения — с его же ревностной помощью — крупнейших и высококультурных политиков, пользовавшихся огромным авторитетом на международной арене, после отстранения от активной внешнеполитической деятельности таких дипломатов, как Литвинов и Майский, Вышинский оказался самым образованным (а если точнее, единственным образованным) человеком во всем сталинском руководстве. Даже Жданов, роль которого на международной арене была нулевой (Сталин все-таки знал каждому его реальную цену), вряд ли имел высшее образование. А Вышинского (вспомним об этом) оставляли для подготовки к профессорскому званию еще до революции — факт, от которого никуда не деться.

Кто в уцелевшем сталинском окружении знал хоть один иностранный язык? Боюсь, мало кто знал как следует даже русский. А Вышинский говорил на очень хорошем французском, усвоенном в первоклассной царской гимназии. Он знал хуже, но тоже неплохо, еще и английский, и немецкий. По части **знаний**, необходимых для серьезного государственного деятеля, трудно было найти ему равных в сталинском руководстве тех годов. Правда, знающим в этом руководстве вообще нечего было делать: с фатальной неизбежностью их выталкивала оттуда на живодерню машина уничтожения. Всех — кроме Вышинского. Потому что доверие Сталина к нему было едва ли не безграничным. Очень большим, если сказать осторожнее. Не поняв этой уникальности ситуации, мы не поймем истинного места Вышинского на вершине политической пирамиды.

Место это было высоким. Более высоким фактически, чем юридически. Именно тогда, в сорок пятом. Вряд ли об этом может свидетельствовать что бы то ни было с большей наглядностью, чем миссия, которая была на него возложена в исторический день 9 Мая.

Скоростной самолет особого назначения доставил его в поверженный Берлин, в качестве специального эмиссара Сталина, на это законное торжество победившей России.

Эмиссаром Сталина он был здесь только факти-

чески. Юридически на этой церемонии он был просто никем. Господином Вышинским, и только. Советский Союз официально представлял маршал Жуков. Великобританию — главный маршал авиации Теддер. Соединенные Штаты — генерал Спаатс. Францию — генерал де Тассиньи. Представители союзных армий. Армий-победительниц. Перед ними капитулировали представители разгромленной армии рейха Кейтель, Фридебург, Штумпф.

Но посмотрите на снимок, обошедший первые страницы газет всего мира. Тот исторический стол в Карлсхорсте, где подписан акт о безоговорочной капитуляции. За столом четверо полководцев — по одному (на равных) от каждой союзной армии. И рядом с Теддером — пятый: Вышинский. Никого не представляющий. Сам по себе.

Никого не представляющий? О нет, все знали, кого он здесь представляет. И не требовали от него никаких мандатов, никаких полномочий. Миссия его была, разумеется, многогранной. Он должен был выверить текст акта о капитуляции — каждую букву, каждую запятую, дважды, трижды, четырежды проверяя их на прочность, предвидя последствия — возможные и невозможные. Проследить за Жуковым — мало ли что?.. Удостовериться: все в полном порядке.

И все-таки даже не это было первейшей его задачей. Первейшей было представить — осязаемо, зримо, телесно — того, кто его послал. Главного победителя. Властелина и Триумфатора.

В облике Вышинского и под его именем за победным столом в Карлсхорсте сидел, в сущности, сам Сталин.

6

«Конечно, я не знал Андрея Вышинского, когда он был на юридической работе, но в качестве министра Его Величества и будучи на протяжении длительных периодов британским поверенным в делах в Москве — с февраля 1945 по октябрь 1947 года,— я часто виделся с ним в деловой и неформальной обстановке, поскольку он был заместителем министра иностранных дел Вячеслава Молотова».

Так начинает письмо ко мне известный английский дипломат сэр Фрэнк Робертс, с любезного разрешения которого я привожу его полностью. Оно позволяет увидеть одного из руководителей советской внешней политики в военные и послевоенные годы глазами западного кол-

леги, восстановить по ярким деталям обстановку, в которой Вышинский работал и которую сам создавал, и, наконец, обратить внимание на некоторые черты его характера, без которых постижение этой незаурядной личности было бы неполным, неточным.

«Он хорошо говорил по-французски,— продолжает сэр Фрэнк,— был быстр умом, сообразителен и деловит, всегда хорошо знал существо вопроса. Но если к Молотову я испытывал вопреки своему желанию определенное уважение, то по отношению к Вышинскому я ничего такого не чувствовал. В то время все советские чиновники не могли делать ничего другого, кроме как проводить сталинскую политику, не задавая лишних вопросов, но Вышинский, поступая как все, производил на меня впечатление особо раболепного лизоблюда, рвущегося подчиниться хозяину еще до того, как тот выскажет свое желание. Я не мог обвинять его в тогдашних условиях за стремление не брать на себя — настолько, насколько это было возможно — личной ответственности за то или иное решение, но именно по этой и по другим причинам всегда предпочитал иметь дело либо с самим Молотовым, либо с его подчиненными — Новиковым и Ерофеевым из Второго Европейского отдела, ведавшего Соединенным Королевством и Британским Содружеством. Их «нет» означало именно «нет», а когда время от времени они говорили «да», то это и было «да». С Вышинским же дискуссии всегда затягивались надолго.

Я вспоминаю, в частности, встречу с Вышинским по поводу решения советских военно-морских властей не пускать британского морского атташе и меня в Севастополь для встречи с командующим британским средиземноморским флотом, который должен был прибыть в Севастополь через 48 часов с официальным визитом на крейсере «Ливерпуль». Я просил изменить это решение. Вышинский всячески извивался, чтобы избежать принятия решения, ссылаясь то на отсутствие мест в самолете, то на нехватку мест в севастопольских гостиницах (которые были мне не нужны, так как я жил бы на борту «Ливерпуля»). Но потом неожиданно уступил — когда я сказал, что буду вынужден радировать командующему с просьбой не идти в Севастополь, а повернуть обратно в Средиземное море. Как все наглецы, он знал, когда и как снизить тон.

На дипломатических приемах Вышинский часто хотел показать себя приятным человеком — до такой степени, что однажды у представителя малой соседней страны

вырвалось: «Он к нам подлизывается, прежде чем нас же проглотить».

У меня всегда было ощущение, что меньшевистское прошлое Вышинского и его польское и буржуазное происхождение влияли на холопско-подобострастное поведение по отношению к Сталину и — в меньшей степени — к Молотову. Помню, как однажды я был в Большом театре на собрании, где на сцене сидели Сталин, члены Политбюро и двести — триста других советских номенклатурщиков. В какой-то момент у Сталина, видимо, возник вопрос, и он поманил к себе Вышинского, сидевшего на несколько рядов позади. Вышинский покраснел — от удовольствия, что его выделили на глазах публики, и от опасения, что мог не потрафить Сталину,— и кинулся вперед, словно школьник, вызванный к директору и еще не знающий, ждет его похвала или порка.

Еще одна встреча с Вышинским свидетельствует о его внимании к деталям и его природной склонности ставить других в трудное положение. Это был обмен ратификационными грамотами мирного договора, который СССР и Соединенное Королевство подписали с Болгарией. В те дни послевоенного аскетизма британский документ был вложен в обычную картонную папку, а не в золоченую кожаную; сам я, заступив на московскую должность в годы войны, продолжал носить довоенную дипломатическую форму, без дополнительного золотого шитья, положенного мне как министру Его Величества. Между тем Вышинский был наряжен в сильно расшитый золотом мундир, а советский документ покоился в богато украшенном кожаном бюваре. И Вышинский не преминул отчитать меня за отступления от дипломатических традиций мирного времени, хотя в Москве царил куда более суровый аскетизм, нежели тот, который я посмел проявить.

Наконец, последний красноречивый эпизод — на приеме в Букингемском дворце во время конференции министров иностранных дел четырех держав осенью 1947 года. Незадолго до этого я вернулся в Лондон, где стал Главным личным секретарем министра иностранных дел Эрнста Бевина. Как человек, недавно служивший в Москве, я был представлен к очень молодой тогда принцессе Маргарет, чтобы помогать ей в общении с советскими гостями. Я спросил Ее Королевское Высочество, с кем, в частности, ей хотелось бы побеседовать, ожидая, что в ответ услышу имя Молотова, но она сказала: «С господином Вышинским».

Нет сомнения, он вызывал любопытство принцессы из-за той роли, которую играл на предвоенных московских процессах. Вышинский был удивлен и обрадован, что его таким образом отличили, но был и достаточно умен, чтобы понять истинную причину. Когда я точно по протоколу представил его принцессе как заместителя министра иностранных дел СССР, он немедленно сказал на своем отличном французском: «Но, пожалуйста, добавьте мою прежнюю должность прокурора на знаменитых московских судебных процессах».

Возможно, я всегда скверно чувствовал себя с Вышинским отчасти из-за того, что не мог забыть, как он травил свои жертвы на этих процессах, как извращал закон и свидетельские показания, чтобы выставить их виновными. У меня не было такого резкого ощущения при встречах с Молотовым и даже со Сталиным, хотя на их руках было больше крови. Даже сегодня моя первая реакция на имя Вышинского — отчетливое презрение».

Надеюсь, читатель не будет в претензии за столь длинную цитату — она слишком ярка и значительна, чтобы делать купюры. Нам предстоит еще выслушать, но в гораздо более сокращенном виде, мнения виднейших деятелей зарубежной дипломатии о своем знаменитом московском коллеге. Не впечатления (они бывают порой совершенно необъяснимыми), а именно мнения, основанные на фактах и длительном, тесном общении.

Теперь вся жизнь Вышинского шла на виду — не столько на виду у страны, сколько у заграницы. Он метался по белу свету, исполняя специальные и «обычные» поручения. В том смысле обычные, что они представляют собой деловое дипломатическое повседневье: конгрессы, конференции, совещания, заседания, многосторонние и двусторонние встречи. Но любое **обычное** дело с участием Вышинского превращалось совсем в **не обычное** — форма, в которую облекалось едва ли не каждое слово, тон, в котором это слово произносилось, превращали его в сенсацию, в центр общественного внимания.

...16 декабря 1945 г. в Москве открылось Совещание министров иностранных дел трех великих держав: посовещаться с Молотовым прибыли Государственный секретарь США Бирнс и британский министр Бевин. В центре переговоров была подготовка к заключению мирных договоров с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Фин-

ляндией. «Правда» опубликовала на первой странице огромные портреты гостей: честь, которой, кажется, не удостаивался еще никто, им равный по рангу. Портреты Бирнса и Бевина в «Правде» свидетельствовали о том, какое значение придавал Сталин этой встрече.

За столом переговоров Вышинский сидел рядом с Молотовым — по правую руку. Рядом с Бирнсом — Чарльз Болен, составивший четкое мнение о Вышинском еще в тридцать восьмом и не имевший с тех пор оснований его изменить. Американская и английская делегация были готовы подписать мирные договоры со всеми германскими сателлитами времен второй мировой войны, но внутреннее положение в некоторых из этих стран, особенно в Румынии и Болгарии, вызывало их беспокойство.

Итогом бурных дебатов явились те, говорящие сами за себя строки согласованного коммюнике, где речь идет о Румынии: «Три правительства готовы дать королю Михаю совет по поводу расширения состава Румынского правительства... Включить в правительство одного члена национал-царанистской партии и одного члена либеральной партии...» Далее говорилось о необходимости дать румынскому народу гарантию «свободных и невоспрепятствованных выборов... на основе всеобщего и тайного голосования...». Реорганизованное правительство должно было дать заверения относительно предоставления свободы печати, слова, религий, собраний. «Как только эти задачи будут разрешены и требуемые заверения будут получены, правительство Румынии... будет признано правительствами США и Соединенного Королевства».

Для выполнения указанных задач — так решило совещание — Вышинский вместе с послом США в Москве Гарриманом и послом Великобритании Керром должен был немедленно (так и сказано в совместной декларации: «немедленно»!) выехать в Бухарест, тем более что Вышинский в конце войны там уже побывал, успешно проведя операцию по назначению премьер-министром утвержденного Сталиным доктора Петру Гроза.

Посмотрев в Большом театре балет Прокофьева «Золушка», пообедав с советскими руководителями, чрезвычайно довольные собой, западные министры покинули Москву. А Вышинский, их проводив, тут же сел в поезд. Его салон-вагон, где разместились еще телохранители, был оборудован по всем правилам европейского шика. В двух других ехали Гарриман и Керр — на расходы «дирекция» не скупилась.

Вместе с «тройкой» отправился поездом и посол СССР в Румынии Сергей Иванович Кавтарадзе. Недавнему (как и Вышинский) заместителю наркома иностранных дел, ему было о чем поговорить со своим «собратом», пока поезд неторопливо пересекал разоренные войной территории России и Украины. Вспоминал ли он годы ссылки — кару за солидарность с Рютиным? Тюремные подвалы, допросы и пытки? Лагерный ад? Или раннюю — очень давнюю — общую их работу с Вышинским, когда известный троцкист Кавтарадзе был заместителем прокурора Верхсуда СССР? Или касаться таких «мемориий» у них не было принято?

Обедали и ужинали все вместе. Дружески. По-простому. За вечерним кофе Гарриман вдруг спросил Вышинского, сколько, по его мнению, собрал бы голосов коалиционный «правительственный фронт», если выборы в Румынии были бы совершенно свободными. «Совершенно свободными?» — переспросил Вышинский и, растопырив пальцы, как бы взял в воздухе фортепианный аккорд. «Если совершенно свободные, то примерно процентов сорок пять...» Тут его пальцы раздвинулись до большой октавы. «Но при известном нажиме — все девяносто...»

Поздно вечером 31 декабря прибыли в Бухарест. До полуночи оставались считанные часы. Новый год встретили вместе, собравшись наскоро, без протокола,— получилось гораздо теплее. Вышинский много шутил — он умел быть обаятельным. Привлекать и располагать. В первый день Нового года всех троих принял король. Возникли трения вокруг кандидатур — разногласия устранили быстро. Если бы так было всегда!

Тем временем в Москву прибыла болгарская делегация: премьер-министр Кимон Георгиев, министр иностранных дел Петко Стайнов и внутренних — Антон Югов. Их визит был ответом на соглашение трех министров великих держав в части, которая касалась Болгарии: «Советское правительство берет **на себя** (подчеркнуто мною.— **А. В.**) миссию дать дружественный совет болгарскому правительству в отношении желательности включения в формируемое теперь Болгарское правительство Отечественного фронта дополнительно двух представителей других демократических групп. Как только США и Соединенное Королевство убедятся в том, что этот совет принят, они признают правительство Болгарии».

На следующий день после приезда болгары обедали у Сталина в Кремле. Настроение вождя поднималось не

столько от глотка любимого грузинского вина, сколько оттого, что дела шли исключительно хорошо. Только-только ему доложили: в Румынии все улажено. Вышинский возвращается в Москву. Сталин приказал соединить его с Бухарестом: «Товарищ Вышинский, у вас есть совершенно неотложные дела в советской столице? — Перед его мысленным взором всплыло обескураженное лицо собеседника, пытающегося на другом конце провода разгадать многоходовый юмор своего непредсказуемого собеседника.— Если нет, то, может быть, вы согласитесь исполнить маленькую просьбу товарища Сталина?» Вышинский забормотал о своей готовности всегда и везде, но Сталин, отпив глоток вина, перебил: «Наши болгарские друзья будут рады встретить вас в Софии... Чтобы помочь утрясти некоторые вопросы... В благоприятном духе...»

Гарриман и Керр отправлялись в Москву. «Дорогой господин Вышинский! — писал Гарриман перед тем, как занять место в салон-вагоне.— По окончании работы Комиссии я хочу поблагодарить Вас за Ваше сотрудничество по выполнению задач Комиссии. Я верю, что Румынское правительство в том виде, как оно сейчас реорганизовано, выполнит решения Московской конференции».

Он верил. Но для веры, как известно, не нужны ни факты, ни доказательства. Вера есть вера.

Вышинский ни во что не верил — он исполнял поручения. Вечером 9 января исполняющий обязанности премьера Добри Терпешев, Георгий Димитров (пока еще просто «частное лицо» — без какого-либо поста, но в ореоле героя Лейпцигского процесса), Васил Коларов и другие болгарские деятели встречали Вышинского на софийском вокзале.

Здесь, в Болгарии, как и всюду, имя его окружали легенды. Теперь, простой и доступный — живой, во плоти! — он приехал сюда, чтобы разрубить все запутанные узлы и решить все проблемы. Мессия — не человек... И действительно, то, на что в Бухаресте ушло девять дней, здесь заняло полтора. Днем 11 января, ко всеобщему удовольствию, составили кабинет, вечером срочно прилетевший из Москвы Кимон Георгиев дал Вышинскому в военном клубе роскошный банкет, и прямо оттуда веселой кавалькадой все отправились на вокзал: Андрей Януарьевич спешил в Лондон — с заездом по дороге в поверженную Германию. В город Нюрнберг.

Его путь все время лежал теперь в разные страны. Они мелькали из окна самолета, с трудом отличаясь

в его глазах друг от друга. Он по-прежнему оставался любителем искусств, но наслаждаться сокровищами культуры, в изобилии предлагаемыми столицами мира, которые он посещал, на это у него не было ни времени, ни возможностей. Совсем другое искусство волновало его.

Особенно легко чувствовал себя там, где пересекались, сплетаясь в единый узел, обе его ипостаси: юридическая и дипломатическая. Такую возможность предоставила ему судьба в лице великих держав, принявших решение судить главных военных преступников и учредивших для этого Международный военный трибунал в Нюрнберге. Сюда, в Нюрнберг, где уже осенью сорок пятого началась работа трибунала, Вышинский заезжал несколько раз. И всегда вроде бы «по дороге» — то в Лондон, то в Париж. Зачем? Ведь никакого отношения к работе трибунала он, казалось бы, не имел: никаким правительствам ни судьи, ни прокуроры в этом трибунале не подчинялись, никого инспектировать, никому давать указания заместитель министра ни одной из стран, трибунал учредивших, конечно, не мог. Юридически...

Зато фактически Вышинский мог все! Как в Карлсхорсте невесть какую функцию осуществлявший и однако же спокойно принятый всеми, так и здесь, в Нюрнберге, он был никем и вместе с тем всем. Даже для иностранцев, а уж о советских юристах, работавших здесь, не приходится и говорить. Кстати, работали в Нюрнберге люди, стоявшие очень близко к нему: среди судей — участник «больших московских процессов» Иона Никитченко, среди обвинителей, следователей, экспертов и прочая — Марк Рагинский, Соломон Розенблит, Лев Шейнин...

Он был никем... Нет, он не был «никем» — даже юридически. Под величайшим секретом, в абсолютной тайне для иностранцев, да и для «своих» тоже, Сталин дал ему еще один пост особой государственной важности. Сразу же после окончания войны был создан орган, в разных документах именуемый по-разному: «правительственная комиссия по Нюрнбергскому процессу», «правительственная комиссия по организации Суда в Нюрнберге», «комиссия по руководству (! — **А. В.**) Нюрнбергским процессом». Во главе этой сверхсекретной комиссии с функциями особого назначения Сталин поставил Вышинского. Членами комиссии были назначены прокурор СССР Горшенин, председатель Верховного Суда СССР Голяков, нарком юстиции СССР Рычков и три ближайших сподвижника Берии, его заместители Абаку-

мов, Кобулов, Меркулов. Главная цель комиссии состояла в том, чтобы ни при каких условиях не допустить публичного обсуждения любых аспектов советско-германских отношений в 1939—1941 гг., прежде всего самого факта наличия, а тем более содержания так называемых «секретных протоколов», дополняющих пакт о ненападении (23 августа 1939 г.) и договор о дружбе (28 сентября 1939 г.). Для того, чтобы обеспечить во время следствия действенность указаний тайной комиссии, в Нюрнберг была отправлена и следственная бригада особого назначения во главе с одним из самых свирепых бериевских палачей полковником М. Т. Лихачевым.

26 ноября 1945 г. комиссия Вышинского по его предложению приняла решение «утвердить... перечень вопросов, которые являются недопустимыми для обсуждения на суде». Прибывший в Нюрнберг Вышинский должен был проявить все свое недюжинное искусство, чтобы внедрить это, необязательное для них, решение в сознание членов трибунала от других стран. Но тревожился он напрасно: иностранные члены были настроены вполне по-союзнически и обострять отношения не хотели. Вышинский одержал очередную победу — ведь в глазах Сталина это он, а никто другой, сумел повлиять на зарубежных коллег. (Подробнее см. очень интересную статью В. Абаринова в журнале «Горизонт», 1989, № 9.)

Участники процесса от союзных держав сохранили воспоминания о редких, но впечатляющих встречах с Вышинским в Нюрнберге. Вот что рассказал мне в Лондоне (декабрь 1988 г.) лорд Хартли Шоукросс — дважды коллега Вышинского: юрист и дипломат. Впоследствии он был Генеральным прокурором Соединенного Королевства и постоянным представителем Англии в ООН, где не раз «скрещивал шпаги» с Вышинским. Лорд Шоукросс любезно разрешил мне печатно использовать запись его рассказа.

«С Вышинским мне пришлось встречаться множество раз в Нюрнберге, а потом в Нью-Йорке. Еще после первой встречи он произвел на меня впечатление человека умного, находчивого, начитанного, обладавшего той эрудицией, которая позволяла ему чувствовать себя совершенно свободно и в публичной полемике, и в приватном разговоре. Во всяком случае, он был на голову выше во всех отношениях других советских юристов, с которыми мне довелось встречаться,— все они в сравнении с ним выглядели весьма бледно. Его выгодно от них отличало и то,

что он, это видно было сразу, уполномочен принимать решения сам, тогда как другие (и юристы, и дипломаты) по любому вопросу должны были получать указания из Москвы и сами этого не скрывали.

Мы — я имею в виду англичан, французов и американцев — никак не могли взять в толк, зачем он ездит в Нюрнберг. В конце концов мы решили, не слишком разбираясь в особенностях советской государственной структуры, что он все еще генеральный прокурор и поэтому, скорее всего, дает указания по ходу процесса обвинителям, представляющим советскую сторону. Строго говоря, ему в этом качестве здесь нечего было делать, дать указания из Москвы можно и другим способом, однако — странное дело — его визитам мы почему-то не удивлялись.

Но вот один раз, это я помню точно, изумлению нашему не было границ. Рассказываю это со слов английских членов трибунала. Судьи из четырех стран как-то устроили общий ужин, и вдруг входит Вышинский, пододвигает стул и, никем не приглашенный, садится к столу. Поскольку его считали прокурором и, повторяю, только в этом качестве его приезд в Нюрнберг мог быть как-то оправдан, появление Вышинского за судейским столом было шокирующим. Судьи не могут, не вправе обедать с прокурорами и адвокатами, это нарушает юридическую этику. Но прогнать Вышинского, конечно, никто не решился.

Настроение у всех за столом сразу как-то скисло, Вышинский это почувствовал и попробовал внести оживление. Берет слово для тоста: «Предлагаю выпить за здоровье подсудимых, которых скоро ждет веревка». Это был не просто чудовищно черный юмор, абсолютно неприемлемый для морали цивилизованных людей, сколь бы ни была велика вина подсудимых. Это было еще и нечто немыслимое для правосознания английского юриста. Ведь приговора еще нет и презумпция невиновности действует в трибунале международном точно так же, как и в обычном, национальном суде. Но для Вышинского — с его опытом проведения московских процессов — наш трибунал был не более, чем спектакль, где исход предрешен заранее, так что нечего церемониться. И сдерживать свой черный юмор тоже нечего.

Его вообще все боялись. И тут, в Нюрнберге, и потом — в ООН. Знали, что он сверхдоверенное лицо Сталина, и этим, пожалуй, было сказано все. Наблюдая за ним, я обратил внимание на то, что в разговорах он обычно спо-

коен, не раздражителен, уверен в себе — по крайней мере при общении с иностранцами. Но, взойдя на трибуну, он почему-то становился громилой и грубияном. Словно отпускалась какая-то невидимая, туго натянутая пружина...

Как всякий человек, отказавшийся от своих идей и перевернувшийся на 180 градусов, он был правовернее Римского папы, но впечатления человека, у которого вообще были какие-то идеи, он не производил. Похоже, он боялся за свою судьбу и поэтому гораздо больше думал о том, что скажут про него в Москве, чем про то, что скажут в Лондоне и Нью-Йорке. Его уверенность в себе поразительно сочеталась со страхом и ожиданием неприятностей. Расправы, если точнее...»

Это его ожидание было вполне обоснованным: палачи уходили вслед за жертвами. Волна арестов, приутихшая было во время войны (аресты, конечно же, продолжались, сейфы ломились от новых и новых папок, но «волн» все же не было — руки не доходили), снова замаячила на горизонте.

Письменные и устные просьбы о помощи шли к Вышинскому непрерывно. Имя его по-прежнему было магическим. Вот парадокс: оно не наводило ужас, а вселяло надежду. Словно связаны были с ним не проклятья, не кары, не казни, а триумф законности, милосердие, справедливость. Такой был создан вокруг ореол...

Он проявлял внимание к обращениям сотрудников МИДа. То у одного, то у другого что-то случалось (да был ли тогда вообще хоть кто-нибудь, у кого ничего не случалось?!): то посадили брата, то прогнали с работы жену, то вышвырнули на улицу из квартиры племянника. Все они шли к Вышинскому — и он немедленно откликался. То есть, проще сказать, давал поручение секретарям переправить жалобу по назначению с его, Вышинского, резолюцией: «Прошу проверить». Иногда такая проверка приводила к положительным результатам. Вот уж об этом узнавали повсюду. Порой с такими подробностями, которых не было и быть не могло. Слава заступника, милостивца, ходатая за униженных все росла и росла.

Не только с этим шли к нему, и не только об этом высказывал он свои суждения. Вот, к примеру, письмо, с которым он обратился к заместителю генерального секретаря правления СП СССР К. Симонову: «Разбирая свой архив, я натолкнулся на стихи тов. Никритина, ...с которыми ввиду занятости я не смог в свое время озна-

комиться. На мой взгляд, автор, несомненно, обладает некоторыми способностями, тематика его стихов актуальна». Тут же письмо самого Никритина («Прошу Вас их прочитать и решить возможность их опубликования») и стихи: свидетельство «некоторых способностей» автора, позволяющие нам мысленно (сорок лет спустя) разделить с Симоновым те чувства, которые он испытал, «знакомясь» с рекомендованной Вышинским поэзией.

Товарищу Вышинскому

К тебе, трибун родной страны Советов,
Чья мысль остра,
Чей зорок глаз,
Чье сердце горячо,
Чье слово, как алмаз,
        Туда, за океан,—
        В страну другого света,
        К тебе летит
        Моя строка привета.
...Сказал ты им, что миру не страшны
Все эти пушки,
Атомные бомбы,
        Что не сломать
        Советской им страны,
        С каким бы ни грозилися
        Апломбом.
...Вот почему, когда ты говорил,
То тут, у нас,
И там, за океаном,
        Огромный мир сердец
        Твои слова ловил,
        Эфир звучал
        Наперекор туманам.

По наведенным мной справкам, эти стихи напечатаны не были, что означает одно из двух: или Симонов нашел в себе смелость не согласиться с литературным вкусом Вышинского, или у них обоих не хватило реальных сил понудить какое-либо издание открыть зарифмованной «актуальной тематике» путь к читателю. «Наперекор туманам» эфир все же не зазвучал...

Эстетические критерии, вкусы и пристрастия Сталина и сталинского окружения — очень любопытная и совершенно не разработанная тема, ждущая своего исследователя. Но Вышинский (напомню еще раз) выделялся из этого круга и происхождением, и образованием, и элементарной культурой. Его потолок в этом смысле был ничуть не ниже уровня среднего дореволюционного интеллигента. Ничуть не ниже это — в сравнении с потолком

других членов властвующей элиты — означает весьма высокий. В таком случае решим загадку: полная слепота и глухота или какие-то особые соображения повелевали ему становиться посмешищем, рекомендуя графоманские опусы своих почитателей профессиональным прозаикам и поэтам? Что побудило его, к примеру, послать Фадееву сочинение врача мидовской поликлиники Павлушина, вознамерившегося стать «лауреатом международной сталинской стипендии борьбы за мир», и отметить при этом «важную тему, так образно и сжато изложенную в прилагаемых стихах»: «Иосиф Мудрый — не библейский, Советский наш, живой, реальный, Рожденный в Гори сын плебейский. Как Царь воспетый, Сталин...»?

Что побудило? Думаю, ясно... Даже на собрании сотрудников МИДа по случаю Международного женского дня он поздравил женщин-сотрудниц такими словами: «Каждый раз, когда мы собираемся на наши собрания, будут ли они торжественные или деловые, наши мысли, наш ум, наше сердце всегда обращаются к Великому Сталину».

Животный страх был сильнее здравого смысла.

Прочтем еще один текст, пока не опубликованный,— отрывок из речи Вышинского перед дипсоставом МИД СССР в день 70-летия вождя и учителя — 21 декабря 1949 г.:

«Не только военный гений Сталина, но и хозяйственный, организаторский гений Сталина был источником и гарантией... великой победы...

Нельзя здесь же не отметить и ту исключительную черту сталинского характера, выражающую старые, боевые традиции и дух русского народа, русской военной истории. Я говорю о сталинском юморе, о его крылатых и вдохновляющих словах, поднимавших ратный дух воинов, когда, как это было в приказе 1 мая 1942 года, Сталин, отмечая поражение немцев под Ростовом и Керчью, Москвой и Калинином, под Тихвином и Ленинградом, говорил о «боевом» качестве немцев словами народной поговорки: «Молодец против овец, а против молодца сам овца», или когда он в приказе от 6 ноября 1944 года, объясняя, почему советские люди ненавидят немецких захватчиков, напомнил о народной поговорке: «Не за то волка бьют, что он сер, а за то, что он овцу съел».

...Величайший ученый и мыслитель, величайший организатор государственного социалистического строитель-

ства, в любой роли — хозяйственной, политической, культурной или военной; гений в законодательстве и дипломатии, в праве, в военном деле, в искусстве и в критике!»

Поистине он побивал все рекорды.

7

Нет никаких — ни прямых, ни косвенных — свидетельств, что Сталин до самой смерти хоть как-то изменил свое отношение к Вышинскому. Мог изменить? Да, разумеется, в любой момент. И, наверно, проживи он дольше, так бы и случилось. Постепенно устраняя всех соучастников своих злодеяний, он добрался бы и до Вышинского, имея в кармане уже готовую — такую убедительную, понятную и логичную — формулу обвинения; бывший меньшевик, пробравшийся на высокий пост верховного прокурора, по заданию вражеских разведок уничтожал честных большевиков — ленинскую гвардию! Многоактная кровавая пьеса завершилась бы эффектным финалом.

Но — не завершилась. Не успела завершиться. Пока что он будет нужен вождю: единственный в своем роде, готовый на все и незаменимый.

Читая брань министра по адресу зарубежных коллег, иные могут подумать, что в такой, пусть не вполне парламентской, форме он выражал свое отношение к «классовым врагам». Как говорится, грубо, но справедливо...

Но вот один, всего лишь один документ из личного архива Вышинского: думается, он многое скажет о хозяине этого архива, о его натуре.

Письмо большое, привожу из него главные выдержки. Даты нет, но лежит оно в бумагах, относящихся к началу пятидесятых годов.

«Уважаемый Андрей Януарьевич!

Вчера за ужином, на мое приветствие ко всем, собравшимся за столом, Вы встретили меня словами: «А, фон-барон Остен-Сакен!» Заботясь о Вашем здоровье, я тогда с трудом сдержал себя и не стал отвечать на эту кличку ненавистных для меня фонов и баронов. Эта кличка, которой Вы меня, неизвестно по каким соображениям, неизменно встречаете вот уже 12-й год работы в НКИД и в МИДе (за это время я от Вас ни разу не слышал доброго слова), для меня является кровной обидой. Вся семья Саксиных жестоко пострадала от немецких захватчиков и вместе со всем советским народом вела ожесточенную борьбу с немцами...

Фамилию свою, если даже почему-то она Вам и не нравится, я не могу сменить... У меня нет оснований стыдиться своей фамилии, ибо фамилия Саксиных... ничем себя не запятнала...

Надеюсь, что... от Вас, Андрей Януарьевич, я больше не услышу этой клички.

Советник Г. Саксин, в прошлом (1916—1926) питерский рабочий-такелажник и матрос Балтфлота».

Можно представить себе, с каким методичным сладострастием унижал двенадцать лет кряду рядового дипломата его всесильный шеф, если, обрекая себя на начальственный гнев и непредвиденные последствия, попираемый и осмеянный, бывший матрос вспомнил о своем достоинстве и лег на амбразуру! И можно представить себе, как поразил адресата этот крик отчаяния, если он, не убоявшись суда потомков, сохранил обвинительный акт против себя самого в своем персональном архиве!

Топтать и унижать было, видимо, для него не столько страстью, сколько натурой. Воспоминания коллег — и отечественных, и зарубежных — рисуют удручающе похожие друг на друга картины его вседозволенной грубости, даже по отношению к тем, кто формально был на том же уровне. Чем грубее он был с ними, тем подобострастнее с Ним.

Но, несмотря на всю его рабскую преданность, Сталин со своим окружением ни разу — ни разу! — не впустил Вышинского ни в семейный, ни в дружеский круг. Чем-то (чем-то?! наверное, ясно, чем именно) этот франт с элегантно подстриженными усиками, этот перегруженный эрудицией златоуст, этот последний меньшевик, задержавшийся в высшем эшелоне власти, выпирал из их привычного круга, не вписывался, не тянул на равного и родного. Его не звали к столу — разве что к протокольному, не приглашали к общим застольям, не втягивали в общие розыгрыши (незаметно подложить под зад собутыльника помидор — любимая шутка товарища Сталина и его закадычных друзей). Он был слугой — очень нужным, но не приятелем, не соратником, а только слугой.

И, однако, его ожидал последний рывок — звездный час беспримерной судьбы: 16 октября 1952 года, на первом пленуме ЦК, избранного XIX съездом партии, он вместе с Брежневым, с незабвенным философом П. Ф. Юдиным и другими вернейшими стал кандидатом в члены Президиума, то есть взошел наконец на пред-

последнюю (все-таки еще кандидат, а не член) ступеньку парадной лестницы. Почти на самую вершину власти.

Моделировать несостоявшуюся историю — безнадежное дело, и, однако, не особенно боясь ошибиться, можно предположить, что, проживи Сталин подольше, Вышинскому было бы еще суждено, прежде чем самому получить пулю в затылок, сыграть последнюю свою роль, обличая с трибуны обвинителя новых «героев» скамьи подсудимых: вчера еще «самых ближайших» и «самых верных».

Но до этого не дошло.

Его пребывание на партийной вершине — скорее формальное, чем реальное — продолжалось сто сорок дней. Столько же оставалось ему обладать министерским портфелем. Эти месяцы были наполнены ужасающей атмосферой ожидания новых катастроф, куда более кошмарных, чем все, что было уже пережито. С наибольшей степенью вероятности можно предполагать, что очередная «банда иностранных наймитов», «террористов» и «заговорщиков» состояла бы теперь из Молотова, Маленкова, Ворошилова, Кагановича и Микояна. Вошел ли бы в нее и Берия? Если да, то чьими руками удалось бы Сталину осуществить свой замысел? Если нет, то с кем бы Берия вступил в союз: с «террористами» или с «вождем»? Обо всем этом мы можем сегодня только гадать.

Еще менее ясно, как бы сложилась на этом витке истории судьба Андрея Вышинского. Никакого процесса, где ему пришлось бы витийствовать на прокурорской трибуне, быть, наверно, уже не могло. Процесс этот некому было готовить. Эпоха судебных спектаклей прошла — наступала пора грандиозных кровавых мистерий, где «народу» отводилась не роль созерцателя, но непосредственного, прямого участника действия, за которым сам Драматург и Постановщик наблюдал бы в бинокль из окна кремлевского кабинета. Места Вышинскому в этой феерии среди режиссеров уже не нашлось бы. Кто знает, где бы оно нашлось...

Началась новая волна арестов. Один за другим из Кремлевской больницы и поликлиники, где лечился и он, и семья, исчезали врачи. В том числе и те, кто участвовал в экспертизе на процессе Бухарина — Рыкова, именем науки с готовностью подтверждая любой обвинительный бред (профессора Виноградов, Шерешевский), кто участвовал в других фальсификациях, отлично сознавая, конечно, свою обреченность. Выхода не было — разве что пуля в висок. Но этого «выхода» никто и ни от кого требовать, полагаю, не вправе...

Страна тем временем жила в атмосфере страха перед неизвестностью и ненависти к «убийцам в белых халатах». Тысячи людей, нуждавшихся в немедленной медицинской помощи, отказывались лечиться: их не могли успокоить даже вполне благонадежные фамилии врачей — ведь их уже убедили, что едва ли не за каждой «хорошей» фамилией скрывается — в скобках! — «плохая». Мутная волна антисемитизма — вернейший признак глубокого политического кризиса и экономической нестабильности — стремительно набирала высоту, грозя перерасти во всесокрушающий шторм. Именно в это время мудрость вождя сподобила его присудить Международную сталинскую премию мира Илье Эренбургу — торжества по случаю вручения этой премии широко освещала печать. Министр иностранных дел Вышинский получил возможность успокаивать иностранных государственных деятелей и дипломатов, встревоженных ростом антисемитизма, этой «очередной антисоветской клеветы»: он ссылался на премию, присужденную «такому выдающемуся общественному деятелю, депутату Верховного Совета СССР, известному писателю товарищу Эренбургу». Вряд ли, однако, эти опровержения могли произвести впечатление на достаточно искушенных людей. Тем более что на памяти были и «хрустальная ночь», и законы о «чистоте арийской нации», и иные деяния незабвенного Адольфа, одарявшего в то же самое время знаками внимания «государственно полезных» евреев. Среди многих других телеграмму с выражением тревоги и возмущения прислал Вышинскому Альберт Эйнштейн. Но ответа не удостоился даже он.

Тем не менее Вышинский не мог скрыть от Сталина реакции Запада на готовящийся процесс и на то, что должно было за ним последовать. Телеграмма Эйнштейна была тем поводом, который оправдывал это тревожное сообщение. Версия о том, будто Вышинский предлагал отменить или хотя бы отложить этот процесс, не имеет документальной основы, да и не мог Вышинский что бы то ни было рекомендовать Сталину! Изложить заведомо нежелательные для адресата факты — даже в этом уже был немалый риск. Возможно, он просчитал, что гнев вождя обернется не против него — против Молотова, чья жена по-прежнему томилась во Владимирской тюрьме (за «связь» с презренными сионистами: именно в качестве жены главы советской дипломатии она несколько раз встречалась с первым послом Израиля в СССР Голдой Меир).

Каждое утро миллионы людей открывали газеты, ожидая сообщений о начавшемся «процессе врачей». Но готовился отнюдь не процесс — растерзание. Не в переносном — в буквальном смысле. Академик Вышинский тоже готовился — теоретически обосновать этот новый (новый ли?) метод «народного правосудия». Но обосновывать не пришлось: судьба распорядилась иначе.

5 марта 1953 г. стало рубежом не только в жизни мира и в жизни страны, но и в жизни миллионов отдельных людей. Горе и радость у каждого свои. Что испытал Вышинский, потеряв того, кто вознес его на неслыханные высоты и от кого три с половиной десятилетия ежеминутно — ежеминутно! — он ждал ножа в спину? Кому он служил с рабской верностью и кто повергал его в неописуемый страх?

Свои истинные чувства Вышинский бумаге не доверял, но догадаться можно: один страх неизбежно сменился другим. Умный и проницательный человек, он понимал, что одну эпоху сменила другая и разоблачение неизбежно. А уж если верх возьмет Берия со своей бандой, то зачем им нужен Вышинский? Соучастник и соглядатай... Не лучше ли все свалить на него. На вождя и его прокурора?..

Смерть Сталина сразу же принесла Вышинскому должностное крушение. В тот же день «руководящая группа» изгнала его из Президиума ЦК и одновременно лишила министерского портфеля: вместе с Яковом Маликом («на двоих») он стал первым заместителем министра и был отправлен в почетную ссылку — в Нью-Йорк, получив пост постоянного представителя СССР при Организации Объединенных Наций. Кстати, тогда же из Президиума и Секретариата ЦК «полетел» и Леонид Ильич Брежнев — «в связи с переходом на работу начальником Политуправления Военно-морского министерства».

...Освобождение врачей, арест Рюмина, ликвидация Берии, то есть зримые и очевидные признаки начавшейся новой полосы в нашей истории, произошли в то время, когда Вышинский уже прочно осел в Нью-Йорке. За грандиозными событиями, происходившими в стране, он следил издалека, не участвуя в них, а довольствуясь созерцанием результатов.

Как раз тогда, летом 53-го года, готовилась к выходу новая книга Вышинского — очередной сборник его статей,

докладов и речей. Все они были пропитаны не только обожествлением Сталина, но и льстивым восторгом в адрес «карающего меча» — верного соратника вождя и его любимого ученика, дорогого товарища Берия. Конечно, бдительные редакторы и цензоры сняли бы эти восторги сами, но Вышинский успел их опередить и поступить еще радикальней. «Рассыпьте набор»,— приказал он. Политическое чутье не изменило ему, быстрота реакции осталась прежней.

Началась — сначала робко, едва-едва, ощупью — кампания реабилитаций. Пока что как временная кампания. Но тенденция обозначилась совершенно отчетливо. Вышинский и тут был первым. В том смысле, что быстро понял, куда подул ветер. И повернулся в ту же сторону.

Один эпизод, мне кажется, расскажет об этом человеке на последнем витке его жизни и его карьеры больше, чем общие рассуждения.

Среди тех юристов высшего ранга, санкцию на арест которых Вышинский дал в 37-м году, был и главный транспортный прокурор СССР Герман Михайлович Сегал. Ему было тогда 40 лет. Выступая на общем собрании сотрудников Прокуратуры по случаю двадцатилетия Октябрьской революции, Вышинский призвал своих слушателей к повышенной бдительности, чтобы «не допустить проникновения в нашу среду, к надзору за законностью и отправлению правосудия таких контрреволюционеров, как...». Среди «таких, как» он назвал и Сегала.

Главному транспортному прокурору страны вменялось в вину редчайшее из злодейств: он «установил связь со своим отцом»! Чего только я не встречал в документах тех лет, а вот такого — ни разу! Правда, отец у Сегала был не простой — «германский шпион». Он специально имел «связь» с сыном за завтраком или ужином, чтобы лучше готовить диверсии на железных дорогах. Захаживал в гости и друг прокурора — заместитель наркома путей сообщения Полонский. Папа тоже сидел за столом — сын специально заводил разговор «о служебных делах». Об этих «делах» через сына и папу узнавали в Берлине...

В ноябре 37-го семью шпионов и диверсантов расстреляли, а весной 54-го по жалобе вернувшейся из лагеря жены прокурора Людмилы Васильевны Сегал началась проверка. Сфабриковали дело за считанные дни, а проверка шла обстоятельно, неторопливо. Военному прокурору, подполковнику юстиции Прошко пришла в голову счаст-

ливая мысль — запросить мнение о Сегале у тех, кто с ним работал. Первым в списке стоял Вышинский.

Андрей Януарьевич ничуть не удивился такому запросу и оперативно дал сдержанный, краткий, но вполне недвусмысленный официальный ответ... «Герман Михайлович Сегал,— отпечатано на бланке первого заместителя министра иностранных дел СССР,— являлся преданным Коммунистической партии человеком и работоспособным юристом». О том, что он был еще и «такой, как», ничего в ответе не говорится.

Поистине этот выдающийся юрист и выдающийся дипломат всегда шел в ногу со временем, исключительно тонко улавливая его изгибы и повороты.

Слушать Вышинского, когда он выступал на сессии Генеральной Ассамблеи ООН или в ее комитетах, попрежнему, как и раньше, как всегда, сходились его коллеги из разных стран. Зал был полон, если предстояли выступления Вышинского. Не только потому, что они всегда превращались в яркое политическое шоу. Теперь, после ухода Сталина со сцены и перемен в Кремле, от представителя СССР каждый раз ждали новых предложений, напряженно вслушивались в каждое слово, пытаясь и в «строках» и «между строк» ощутить новые тенденции внешнеполитического курса одной из великих держав. И, видимо, ощущали: лексика оратора на глазах менялась, постепенно стали сокращаться, а потом и вовсе исчезли бранные клички, грубые эпитеты.

Здесь, в Нью-Йорке, в кругу семьи и ближайших сотрудников, Вышинский скромно отметил свое 70-летие. Пришло известие об очередном ордене Ленина. Шестом — и уже последнем. Из Москвы летели приветственные телеграммы — все больше официальные, но и личные тоже. Главным образом от писателей: Аркадия Первенцева, Александра Корнейчука, Леонида Соболева... Писатель, генерал-лейтенант Алексей Игнатьев нашел особо теплые, проникновенные слова: «Восхищаться вами мало, а вдохновляться рекомендуется...»

Вдохновившихся было немало: многие зарубежные коллеги, особенно из социалистических стран, также прислали ему поздравления. Ожидалось, что хотя бы для избранных — тех, к кому в деловом общении он обращался словом «товарищ»,— будет дан небольшой прием, чтобы можно было выразить в неказенных словах те высокие

чувства, которые эти «товарищи» питали к бывшему прокурору. Но прием не состоялся.

В нью-йоркском пригороде Гленков, в резиденции советской делегации при ООН, Вышинский устроил ужин «для близких». Но был ли у него действительно хоть один близкий человек, кроме дочери и жены? Искренне близкий, по-человечески близкий... Капитолина Исидоровна и Зинаида Андреевна находились рядом, это главное,— цену остальным он знал хорошо.

Юбилей по символичной иронии судьбы совпал — почти день в день — с судом над Берией и его окружением. Расстрел главного палача сталинской эпохи, с которым Вышинский был неразрывно в одной связке, не мог не заставить его, человека умного и проницательного, задуматься над тем, что́ неизбежно и ему предстоит. Он не мог не понимать, что Молотов, который все еще оставался у власти, охотно проявит давнюю «любовь» к нему и попробует отвести удар от себя, направив его на первого зама. Он не мог не понимать, что другие «сподвижники», тоже судорожно цеплявшиеся за власть,— Маленков, Каганович, Ворошилов и прочие,— что они не ударят палец о палец, чтобы его поддержать. Но что он мог в реальности сделать? Оставалось уповать на судьбу.

Впрочем, были известные основания полагать, что судьба снова отнесется к нему благосклонно. Ведь он был ее баловнем, почему же ей ни с того ни с сего ему изменить? На очередных выборах в Верховный Совет СССР он вернул себе депутатский мандат, который Сталин невесть почему отнял у него в 1950 г. То есть, конечно, не он вернул, а ему вернули. Что бы это могло означать? Опала прошла? Или истек «срок наказания», которое наложил на него Сталин? Или просто сработала «автоматика»: раз мандат положен по должности,— бери, получай? Кто его знает... Все могло повернуться по-разному в те смутные времена.

В летний отпуск 1954 года Вышинский отправился домой на фешенебельном трансатлантическом судне «Куин Элизабет». С ним вместе были жена и дочь. Щелкали камеры репортеров — проводить великого златоуста слетелись корреспонденты едва ли не всех главных газет и журналов: разнесся слух, что больше в Нью-Йорк Вышинский уже не вернется.

Но это был только слух, притом, как случалось не раз, абсолютно фальшивый. Осенью, когда работа Генеральной Ассамблеи и комитетов ООН возобновилась, Вышинский

как ни в чем не бывало, отдохнувший, загоревший и посвежевший, занял привычное место во главе делегации СССР. В его нью-йоркской квартире с ним неотлучно были, как прежде, жена и дочь. Своей неизменной улыбкой и уверенными манерами Вышинский как бы говорил: он снова в фаворе. Как всегда, как всегда...

В Политическом комитете ООН продолжались дебаты о международном контроле за использованием атомной энергии. Спор сосредоточился вокруг того, будет ли Международное агентство по атомной энергии самостоятельным и автономным или, как предлагал Советский Союз, органом, подотчетным ООН и Совету Безопасности. Смысл поправки был ясен каждому: ее принятие позволяло любой из великих держав (стало быть, и Советскому Союзу) воспользоваться при необходимости правом вето. Вышинский убедительно и спокойно отстаивал эту позицию. Речь, которую он произнес в Политическом комитете 17 ноября, поколебала позицию многих делегатов, готовых было поддержать проект резолюции, предложенный США, Великобританией, Францией, Австралией, Бельгией, Канадой и Южно-Африканским Союзом. Следующее выступление Вышинского было намечено на понедельник 22 ноября: за оставшиеся дни предстояло найти компромисс и попробовать сблизить позиции.

В субботу, 20-го, вся советская делегация уехала в Гленков, где Вышинский собирался готовиться к речи. Воскресным утром внезапно пришла шифровка из Москвы с новыми инструкциями — всю заготовленную речь пришлось переделывать. А тут вдруг Даг Хаммаршельд, генеральный секретарь ООН, внезапно решил дать воскресный обед. Уклониться от обеда было никак невозможно, но потеря времени создавала нервозную обстановку: в списке ораторов на понедельник Вышинский значился первым.

Среди гостей на обеде был и польский министр Станислав Кшишевский: Вышинский успел предупредить коллегу о полученных им новых инструкциях, чтобы на следующий день речь советского делегата не застала его врасплох. Видимо, это известие коллегу в восторг не привело: очевидцы вспоминают, что они долго препирались по-польски, недовольные друг другом. В Гленков Вышинский уже не уехал — остался в городе, на Парк-авеню: там находилась не только квартира, но и служебный его кабинет. Вызвал стенографистку Валентину Карасеву: диктовал, правил стенограмму, опять диктовал — он умел

работать без устали, себя не щадил и других не щадил тоже.

Ночью почувствовал себя плохо. Вызвали дежурного врача представительства: тот сделал успокаивающий укол и дал снотворное. Все разошлись, оставив Вышинского одного в кабинете; он уснул на диване. Рано утром, проснувшись, почувствовал себя лучше. Был снова бодрым и свежим: последняя правка подготовленной заново речи, и он готов хоть сейчас на трибуну. Попросил повара Ивана Илларионовича сварить кофе покрепче — он еще больше взбодрил его. Стал диктовать Карасевой — вдруг осекся и прошептал: «Мне плохо!»

Истерический крик Карасевой «Помогите!» поднял на ноги весь дом. Прибежал личный врач, живший этажом выше, следом —весь небольшой персонал советского медпункта. Вышинский сидел на вращающемся стуле, рубашка расстегнута, откинута голова. Его перенесли на диван. Он не произносил ни слова — только хрипел. Вызвали дочь и жену. Зинаида Андреевна закричала: «Его убили!»

Началась паника. Все средства, имевшиеся в распоряжении медпункта, были исчерпаны. Жизнь угасала у всех на глазах.

Кабинет тем временем наполнялся людьми. Хозяин кабинета уже не хрипел — он был мертв. Шел десятый час утра. Через сорок пять — пятьдесят минут Вышинский должен быть на трибуне — его ждали. Тянуть дальше было нельзя. Вызвали реанимационную машину — хотя бы для того, чтобы констатировать смерть. Но охрана, помня инструкции, на территорию представительства «чужих» не пускала. Даже врачей. Препирательство продолжалось. Время шло.

По рации удалось отыскать посла — он был уже в здании ООН, приехал на выступление. Посол распорядился пустить врачей. «Под вашу личную ответственность»,— грозно предупредил его начальник охраны. Пока шло составление протокола, летела шифрограмма в Москву. Горько плакала дочь. Молча, закрыв глаза, стояла жена.

Тело еще не успели перенести в конференц-зал для предстоящей церемонии прощания, а срочно созданной комиссии уже было поручено изъять, собрать и опечатать все оставшиеся бумаги, все документы, черновики и даже личные письма. Вскрыли сейф. Первое, что

бросилось сразу в глаза,— большая красная папка и поверх нее заряженный браунинг [1].

В папке был только один документ — письмо, начинавшееся словами: «Дорогой и глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!» Найти подлинник или хотя бы копию этого письма мне не удалось, но о находке слышал от разных людей. Воспроизвожу этот эпизод по записи, сделанной мною в феврале 1988 г. со слов очевидца — дежурного дипломата, который лично участвовал во вскрытии сейфа Вышинского и описи его бумаг. Сейчас он известнейший дипломат из высшего эшелона. В абсолютной точности его рассказа и его безупречной памяти нет ни малейших сомнений. Свои воспоминания он почти дословно повторил мне в декабре того же года.

Прежде всего запомнилась резолюция — наискось в левом углу. До боли знакомым почерком — он факсимильно воспроизводился в печати множество раз: «Тов. Вышинскому. И. Ст.» И все! Но разве этого мало?

Автором письма был Дмитрий Захарович Мануильский, известный деятель Коминтерна: до самого роспуска в 1943 г. он был членом его исполкома. Многие годы подряд, будучи министром иностранных дел Украины, возглавлял делегации этой республики на Генеральных Ассамблеях ООН, заседая рядом с Вышинским и выступая, само собой разумеется, в поддержку Вышинского. Товарищ по общему делу, по общей борьбе.

С чем же обращался товарищ Мануильский к товарищу Сталину? Он просил его, умолял, заклинал ни в чем не верить товарищу Вышинскому. Абсолютно ни в чем. Жить мне осталось уже немного, писал Мануильский, но я не хочу, чтобы вместе со мной ушла в могилу тайна, которую Вы, конечно, не знаете. Иначе Вы не могли бы оказывать доверие этому лживому человеку.

---

[1] Возможно, этот факт и породил легенду о том, что вызванный в Москву, Вышинский счел за благо пустить себе пулю в лоб. Эту легенду без оговорки, что речь идет только о слухе, воспроизводят А. Антонов-Овсеенко (журнал «Театр». 1988. № 8) и О. Горчаков («Огонек». 1990. № 15). Пока это только легенда. Вышинский умер на глазах у двух десятков людей. Некоторые из них здравствуют и по сей день. Совершенно очевидно, что тело любого человека, тем более иностранного дипломата и государственного деятеля столь высокого ранга, внезапно умершего при неизвестных обстоятельствах, не могло быть вывезено из страны без официального медицинского заключения о причине смерти. Версия о самоубийстве Вышинского имеет хождение лишь в Советском Союзе.

Так или примерно так писал вождю один из немногих уже большевиков с дореволюционным стажем, вышедший без потерь из жестоких чисток и оставшийся на верхних этажах власти, имевший возможность не раз доказать Сталину свою безграничную верность. Это он на трагическом февральско-мартовском пленуме ЦК 37-го года поддержал предложение Ежова предать Бухарина и Рыкова суду и **расстрелять**. Это он в мае тридцать седьмого на заседании исполкома Коминтерна растоптал Бела Куна «за неуважение к великому Сталину» и обвинил его в связях с румынской охранкой в 1919 г.

Теперь такое же обвинение Мануильский предъявил и Вышинскому. Он писал, что тот был связан с царской охранкой и выдал полиции несколько бакинских большевиков. Автором назывались 4 или 5 фамилий, но поскольку это не были широко известные имена, читавшим письмо они не запомнились. Эта сенсационная информация меня нисколько не удивила: после того, что написано в первой главе этого документального повествования, разоблачения Мануильского представляются весьма достоверными.

Были в письме и такие примерно строки: Вышинский — человек, у которого нет принципов, он готов служить любому руководителю и любым идеям, если только это ему обеспечит полнейшую безопасность и шикарную жизнь. Он обуреваем животным страхом и поэтому ненавидит всех, кто находится возле него. Не забудем: Мануильский (и он тоже!) был в 1917—1918 гг. членом коллегии Наркомпрода, работал вместе с Вышинским и, вероятно, знал его лучше, чем многие другие.

Нет ни малейшего основания сомневаться в правдивости свидетельства очевидцев, равно как и в том, что они хорошо запомнили содержание этого документа. Ничуть не удивляет и то, что со свойственным ему виртуозным восточным садизмом Сталин переслал донос тому, на кого он был сделан, наслаждаясь его смятением и тем самым держа на крючке и доносчика, и возможную жертву. Без указаний Сталина Вышинский не мог и вида подать, что ему хоть что-то известно. А Мануильский, ждавший ответа, но не дождавшийся,— оказался точно в таком же положении. Такой был задуман театр. Оба встречались друг с другом едва ли не каждый день. На совещаниях и заседаниях, конференциях и приемах. Изо дня в день — годами...

Письмо датировано сорок седьмым или сорок восьмым

годом. Может быть, сорок девятым. Значит, хранилось в сейфе лет пять или семь. Известно, что где-то в конце сороковых, уехав во время отпуска в Карловы Вары, Вышинский вдруг занемог, но совсем не от той болезни, которую приехал сюда лечить. О нервном стрессе Вышинского прознали иностранные журналисты, появились сенсационные сообщения в печати о загадочном недомогании знаменитого дипломата, так что ТАСС был вынужден печатать опровержение. Это всегда служило косвенным доказательством хотя бы частичной обоснованности опровергнутых слухов. Их стало еще больше, когда вдруг Вышинский бросил лечение и вернулся в Москву. А вернулся он для того, чтобы работать в архивах. Что он искал в архивах? Не имена ли тех, кто был назван в письме Мануильского? Не причины ли их ареста царской охранкой? Не пытался ли уничтожить то, что могло его уличить? Скорее всего этих людей Сталин должен был знать по Баку. Что с ними сталось потом? В любом варианте — какой грандиозный драматургический узел! Впрочем, сколько таких, ничуть не менее грандиозных, узлов завязала для нас та эпоха...

Кроме папки и браунинга, лежал в сейфе и еще один документ. Конечно, назвать эту записку — на плотном листе бумаги, фиолетовыми чернилами, печатными буквами,— назвать ее документом можно лишь с очень большой натяжкой. Но теперь, когда каждый листок из архива исторической личности хочешь не хочешь полон значения, такая условность вполне правомерна.

Итак, документ, хранившийся в сейфе. Держу его в руках. Читаю — в десятый, в двадцатый раз. Текст без подписи. По нынешней терминологии — анонимка. Сохраняю точность оригинала — со всеми грамматическими и синтаксическими ошибками.

«Вышинский!

Все знают что ты меньшевик Сталин после того как использует тебя на вышку потому что ты знаешь очень много. Сбежи пока не поздно Memento moris. Пример Ягоды. Твоя судьба: мавр сделал свое дело...»

Вот такой документ... Содержание не удивляет. Удивляет другое: зачем Вышинский его хранил? Притом — где и как хранил! И (это нам знать не дано, но попробуем догадаться) — сколько хранил?

Вероятнее всего, записка отправлена (подброшена?)

Вышинскому не на родине, а в Америке. Кем-то из «перемещенных лиц»? Такой вариант представляется мне наиболее вероятным. «Сбежи» — это слово, пожалуй, выдает авторство. Не имя, конечно, а «социальную принадлежность». Но психологическая загадка: зачем Вышинский это хранил? Зная, что всегда — везде и всегда, и в прошлом, и в нынешнем, и в предстоящем — он находится под неусыпным и бдительным наблюдением. И что сейф, даже сверххитроумный, наблюдению не помеха.

Мечтал ли он по неистребимой прокурорской привычке найти наглеца, раскрыть очередное гнездо террористов и диверсантов, сдать и в новые, но все столь же ежовые рукавицы? Или просто привык — на всякий случай — ничего не выбрасывать. Или тянуло его, как магнитом, к этому «тексту», и он, втайне от себя самого и себе самому ужасаясь, примеривал, продумывал и просчитывал разные варианты своей судьбы?

Обо всем этом можно только гадать. Но документ был. И остался. И стал достоянием узкого круга только теперь, когда адресату уже ничего не грозило.

Во всех центральных советских газетах появилось официальное сообщение ЦК и Совета Министров: «...скоропостижно скончался выдающийся государственный деятель». Он был, говорилось в опубликованном некрологе, «верным сыном Коммунистической партии, самоотверженным в работе, исключительно скромным и требовательным к себе... Светлую память об Андрее Януарьевиче Вышинском,— завершался текст некролога,— навсегда сохранят в своих сердцах советские люди».

Ритуал есть ритуал, придираться к нему не нужно. Но одна деталь обращает на себя внимание: в некрологе (конец 54-го года!) ни слова не сказано о роли усопшего в борьбе с врагами народа и о его никем еще не забытых погромных судебных речах. Ни слова...

В Нью-Йорке тем временем Генеральная Ассамблея собралась на пленарное заседание. В ООН был объявлен траур. Председатель сессии Ван Клеффенс начал читать сообщение о постигшей ООН утрате, и все присутствующие встали. С речами памяти Вышинского выступили делегаты Англии, Франции, США, Ирана, Греции, Польши, Новой Зеландии, Пакистана, Филиппин, Таиланда, Чехословакии, Южно-Африканского Союза, Бирмы, Канады, Египта, Югославии, Саудовской Аравии, Индонезии, Либерии, Афганистана, Йемена, Эфиопии...

«Мы глубоко опечалены,— сказал представитель Индии Менон,— неожиданной смертью господина Вышинского, выдающегося представителя великой страны... Объединенные Нации потеряли сильнейшего участника прений, человека высокого ума, выдающегося государственного деятеля». Сириец говорил о «сокровищах исполинских знаний», которые умещались в голове почившего. Делегат Ирака оплакивал «очаровательного коллегу — воплощение непосредственности, спортивности и высокой парламентской дисциплинированности». Дипломат из Турции считал его «истинным джентльменом», из Ливана — «одним из величайших, кого Объединенные Нации когда-либо видели и увидят в своих стенах». Делегат Израиля вспомнил его «воистину замечательный голос: плавный, звонкий, проникнутый глубокой привязанностью к задачам и процедуре нашей организации. Это был не просто человек, не одинокая личность,— восклицал в лучших традициях велеречивой патетики дипломат из Тель-Авива,— а целое учреждение, он стал легендой в нашей среде».

От стран Скандинавии выступил делегат Дании — он сравнил смерть Вышинского с падением в лесу дерева-гиганта: «лес скорбит — он осиротел». От имени двадцати стран Латинской Америки говорил делегат Эквадора: «Господин Вышинский истолковал правовой и идейный смысл революции... Среди ораторов ему не было равных... Его смерть побуждает нас забыть о разногласиях и объединиться».

Соболезнования по случаю смерти первого заместителя министра иностранных дел принимало в Вашингтоне и советское посольство. Туда пришли склонить головы премьер-министр и министр иностранных дел Франции Мендес-Франс, генеральный секретарь ООН Хаммаршельд, председатель 9-й сессии Генеральной Ассамблеи Ван Клеффенс... У портрета Вышинского в траурной рамке плакал, уронив голову на свои могучие руки, Поль Робсон...

Гроб с телом летел в Москву. Его сопровождал посол Зарубин. По дороге — в аэропортах Парижа и Берлина — состоялись печальные церемонии. Поздним вечером во Внукове, под Москвой, тело «друга» встречал Молотов. Рядом с ним стоял Громыко.

Назавтра пять медиков (среди них — ни одного, кто был «замешан» в так называемом деле врачей) опубликовали свое сообщение: смерть Вышинского наступила «в результате острого нарушения коронарного крово-

обращения». В видавший виды Колонный зал Дома союзов шли прощаться с Вышинским «делегации предприятий и учреждений, учебных заведений и общественных организаций». Сколько в этом траурном шествии было людей, чья искалеченная судьба — их самих или их близких — была связана с именем человека, уход которого после ухода Сталина и Берии подводил черту под целой эпохой?

Проститься с великим трибуном пришли Молотов, Хрущев, Маленков, Каганович, Ворошилов, Микоян, Суслов, Булганин, Косыгин. Пришел маршал Жуков, принужденный разделить с ним счастье победы за столом в Карлсхорсте. Пришли академики, пришел дипкорпус. Шесть орденов Ленина, лежавших на атласных подушечках перед гробом, утопавшим в цветах, напоминали о благодеяниях, оказанных Вышинским стране...

Вышинского хоронили на Красной площади, у Кремлевской стены. Все Политбюро собралось на трибуне Мавзолея. Первым выступил Молотов. «Мы, работавшие рядом с ним,— заикаясь, печальным голосом произнес он,— лишились близкого человека, чуткого товарища, дорогого друга...» Фарисейство жило своей обособленной жизнью — слова оставались словами, никак не стыкуясь с реальностью. Партийно-государственный этикет все еще повелевал называть ненавидимого врага дорогим другом.

«Его большие способности,— продолжал Молотов,— разносторонние знания, которые он постоянно пополнял, и исключительная энергия нашли свое плодотворное применение в различных областях советского строительства... Его блестящие выступления в защиту советской законности и памятные всем нам обвинительные речи против врагов Советского государства, против вредителей и иностранной подрывной агентуры, против предательских групп троцкистов и правых — являются его большой и незабываемой заслугой перед советским народом... Он известен как чуткий и принципиальный товарищ... Он оставил много друзей, которые всегда будут с уважением и любовью помнить о нем и его славных делах...»

Молотову вторил президент Академии наук Несмеянов: «У советских ученых Андрей Януарьевич пользовался громадным авторитетом, они ценили в нем... кристального человека».

Гремел артиллерийский салют. Чеканя шаг, прошла воинская часть.

Золотые буквы на черном мраморном квадрате — «Андрей Януарьевич Вышинский» — впечатали его имя в Кремлевскую стену.

Прошло тридцать лет. Недавно один читатель — старый коммунист, ветеран войны и труда — прислал мне письмо, предлагая потребовать, чтобы прах преступного златоуста был выброшен из Кремлевской стены. Думаю, этого делать не нужно. Не только потому, что прах — чей бы то ни было — вообще не стоит тревожить. И место в стене, и звания, и награды, и речи его, и деяния — все это мета эпохи, неизгладимый знак своего времени, и в нем, в своем времени, так и должен остаться. Таким, каким был.

Мне чужд языческий способ символической расправы над прахом. Мне кажется, что страшный ряд черных квадратов в Кремлевской стене, где — как в жизни и как в истории — палачи находятся рядом с жертвами, а герои — с подонками, гораздо больше расскажет о прожитом времени, о кошмаре, постигшем великую страну и великий народ.

Дело, конечно, не в выборе места, где будет покоиться прах Инквизитора. Дело в том, чтобы извлечь — хотя бы однажды — предметный урок из многострадальной нашей истории.

Неужели не горькая шутка, а унылая истина — классический афоризм: «Единственный урок истории состоит в том, что из нее не извлекают никаких уроков»?

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ

А. БОРИСОВ

ПУТЬ НАВЕРХ

Карьера Вышинского была непосредственно связана со сталинскими репрессиями, и он стал одним из немногих, кто пережил все удары по так называемым «левым», «правым», «праволевацким» оппозициям и группировкам, которые фабриковались с целью расправы с явными, неявными и даже потенциальными противниками вождя. Вышинский стоял в центре кровавого омута. Недавние обвинители «врагов народа» в одночасье сами превращались в обвиняемых. Прокуроры, руководители НКВД оказывались на скамье подсудимых или исчезали бесследно, а вот Вышинский оставался невредимым, получал ордена, высокие должности и ученые звания.

Искажая чужие биографии, он делал в то же время все, чтобы скрыть и переиначить факты своего политического прошлого. В 1934 году в первой Малой советской энциклопедии (одним из редакторов которой был сам Вышинский) появилась статья о нем как крупном ученом-юристе. В ней писалось, что он участник революционного движения с 1903 года, но не упоминалось о том, что именно с того времени он состоял во фракции меньшевиков. В РКП(б) Вышинский вступил только в 1920 году, когда победа большевиков в гражданской войне не вызывала сомнений, а партия меньшевиков фактически распалась.

С 1915 года он работал в Москве в скромной должности помощника присяжного поверенного. Здесь его застала Февральская революция 1917 года. Меньшевики вошли во Временное правительство, активно работали в его местных органах. С весны 1917 года Вышинский занял место председателя одной из московских районных управ — органа местного городского управления, образованного Временным правительством.

Осенью 1917 года Вышинский распорядился о розыске и аресте В. И. Ленина, если таковой окажется в подведомственном ему районе. Этот факт биографии «сталинского прокурора» свидетельствует о многом. Даже о том, что в страхе за свое меньшевистское прошлое, боясь разоблачения со стороны старых большевиков он делал все, лишь бы избавиться от свидетелей. Именно такое стремление делало Вышинского полезным для Сталина. Прокурор охотно избавлял «вождя» от людей, знавших и помнивших его слабости и ошибки, которые не украшали официальную, ставшую предметом для изучения биографию «полководца всех времен и народов».

Обращает на себя внимание, что, выступая обвинителем по чисто уголовным делам, А. Я. Вышинский строго придерживался традиционных норм и этики судебного красноречия, но на политических процессах он распоясывался, превращался в хама и демагога, употреблял в адрес подсудимых выражения типа «проклятая помесь лисицы и свиньи», «обер-вредитель» и другие.

После Октября Вышинский был среди тех меньшевиков, которые не участвовали в вооруженной борьбе с большевиками. С 1917 года он работал в продовольственном управлении в Москве, а с переездом сюда Советского правительства — в наркомате продовольствия. Здесь в 1919 году стал начальником управления по распределению.

В 1920 году многие меньшевики эмигрировали за границу, другие отошли от политической деятельности. Небольшая часть их, в том числе и Вышинский, вступила в Коммунистическую партию. Многие из них стали впоследствии жертвами сталинизма. Вышинский же, наоборот, за счет участия в репрессиях поднялся к вершинам власти и успеха.

С окончанием гражданской войны, переходом к мирному строительству, новой экономической политике в 1922 году была проведена правовая реформа: ликвидированы ревтрибуналы, образованы прокуратура, адвока-

тура, приняты первые советские уголовный, гражданский и другие кодексы законов. Были поставлены вопросы улучшения правового воспитания населения, подготовки кадров юристов, развития теории советского права. Остро ощутилась нехватка юристов для работы в советских учреждениях, для преподавания в учебных заведениях.

Вышинский как дипломированный специалист, член партии большевиков, ответственный советский служащий получил назначение на должность профессора юридического факультета, а с 1925 по 1928 год был ректором МГУ.

То, что Вышинский был одним из образованных юристов того времени, ни у кого в 20-е, как и в последующие годы не вызывало сомнений. Уже в середине 20-х годов он опубликовал ряд работ по вопросам права и истории коммунизма. Вот названия некоторых: «Очерки по истории коммунизма», часть 1 (1924), «Очерки по истории коммунизма», часть 2 (1925), «Суд и карательная политика Советской власти» (1925), «Курс уголовного процесса» (1927). С 1923 по 1925 год он работал в Верховном суде РСФСР, прокурором уголовно-судебной коллегии. В 1928—1931 годах — член коллегии Наркомата просвещения РСФСР, заведующий Главным управлением профессионального образования этого наркомата. Все это были не очень крутые ступени служебной карьеры. Притом она могла оборваться в любой момент, как оборвалась в начале 30-х годов для многих его коллег по наркоматам продовольствия и просвещения.

Дальнейшее продвижение и относительная безопасность (хотя вряд ли кто-либо из ближайшего окружения Сталина мог себя чувствовать полностью в безопасности) обеспечивались только активным участием в политических судебных процессах.

Начало этому было положено в 1928 году. Трудности индустриализации потребовали поиска путей их преодоления. Как известно, в государстве возобладала сталинская точка зрения о допустимости, даже необходимости систематического применения насильственных методов, во многом аналогичных методам периода «военного коммунизма» и гражданской войны. Одновременно все трудности и неудачи объяснялись народу, главным образом, происками врагов и вредителей. Это оправдывало применение чрезвычайных мер.

Факты, которые приводятся в публикуемых ниже отрывках из работ советского ученого А. Ларина и англо-

американского — Р. Конквеста, свидетельствуют, что Вышинский принял активное участие в эскалации обстановки насилия и произвола. Для него не существовало никаких запретов, ни моральных, ни юридических.

«В эти годы Вышинский приобретает громкую известность как один из ведущих деятелей сталинского террора, обвинитель в сфальсифицированных политических процессах.

Почему, однако, эта роль досталась Вышинскому? Поучая своих подчиненных, Вышинский ярко писал о прокурорах, добивающихся осуждения любой ценой, даже вопреки невиновности обвиняемого. Он знал, о чем пишет. Потому что таким прокурором-авантюристом был сам. Когда доказательства обвинения противоречивы, сомнительны, Вышинский оказывался нужным человеком на нужном месте. Свою способность добиваться обвинительного приговора независимо от фактических обстоятельств дела он обнаружил загодя.

Еще в 1924 году Вышинскому довелось поддерживать обвинение по делу ленинградских судебных работников. Фактически в одном производстве были объединены совершенно не связанные между собою материалы о двух преступных сообществах. В результате на скамье подсудимых оказались 43 человека. Неправильное соединение материалов, образование громоздкого необозримого дела способствовали ошибкам по существу. В частности, только в суде выяснилось, что у подсудимого Левензона надежное алиби; в момент, к которому относилась инкриминированная ему дача взятки, он сидел в тюрьме по другому делу. Казалось бы, прокурору здесь в самый раз отказаться от обвинения. Но не таков был Вышинский. По его мнению, если Левензон не имел возможности дать взятку лично, то вполне мог склонить к этому свою жену. В деле нет ничего, указывающего на переговоры супругов Левензон об этом. Ну и что! «Ведь каждому известно,— рассуждал прокурор,— что и тюремные нравы, и тюремная почта дают широкие возможности сговора. В этом отношении очень характерен эпизод с Боннель, получившей в тюрьму капот. В капоте был карман. В карман вшивается письмо. Письмо получается и идет обратно такой же почтой в другом капоте, который изображает почтовый баул, и переписка осуществляется самым энергичным образом. Очевидно, у Левензона тоже был «капот», был там карман, в котором было

вшито письмо. При таких условиях подготовка могла идти путем переписки».

Этим остроумным рассуждениям присущ один, впрочем существенный, недостаток: подмена логики софистикой. Ведь из того, что заключенная Боннель вела переписку с помощью капота, отнюдь не следует, что подобную переписку вел и Левензон, ничего общего с Боннель не имевший. Ни перехваченных писем Левензона, ни показаний на сей счет в деле не было. Тем не менее Вышинский потребовал признать Левензона виновным в даче взятки и приговорить его к расстрелу.

Спустя много лет Вышинский привел свое выступление против Левензона как поучительный пример «применения индукции в практике советского процесса». При этом он умолчал, что в 1924 году Верховный суд РСФСР пренебрег этой мудреной «индукцией», оправдал Левензона, признал его невиновным.

В 30-х годах, когда страна осваивала Северный морской путь, на полярном острове Врангеля разыгралась драма. 26 декабря 1934 года с зимовки, расположенной на мысе Роджерса, выехали на двух нартах врач Николай Вульфсон и каюр Степан Старцев. 31 декабря Старцев вернулся и сказал, что в пурге потерял Вульфсона, пытался искать и не нашел. Были предприняты розыски. Вскоре нашли застопоренные нарты, собак, а через несколько дней и труп Вульфсона с обезображенным лицом. Эти события взволновали советскую общественность, особенно полярников. Откликнулась на них и зарубежная печать. Вышинский поручил расследование состоящему при нем следователю по важнейшим делам Л. Р. Шейнину (известному впоследствии автору детективных сочинений). А затем сам выступил в качестве обвинителя в Верховном суде РСФСР. На этом деле можно учиться, как не следует производить расследование и поддерживать обвинение. Так, Шейнин, занятый в то время политическими процессами, на остров Врангеля не выезжал. Следственный осмотр места происшествия и трупа не производился. Эскимосы-охотники, которые участвовали в розыске Вульфсона, об обстоятельствах его исчезновения и обнаружения трупа, о следах, о состоянии упряжки и прочем опрошены не были. Труп Вульфсона, его одежда, оружие, как и предполагаемое орудие преступления (ружье, принадлежащее подозре-

ваемому Старцеву), не были предъявлены экспертам. Судебно-медицинский эксперт дал заключение о причинах смерти, не видя трупа, причем, переступив границы своей компетенции, сделал вывод, что имело место убийство. По вопросам о климате на острове Врангеля, об особенностях быта, ведения промысла, управления собачьими упряжками и т. п. вопреки закону экспертом был назначен непосредственный начальник одного из обвиняемых, к тому же допрошенный по данному делу в качестве свидетеля. Шейнин, а затем и Вышинский ограничились единственной версией, согласно которой в гибели Вульфсона виновны Семенчук и Старцев, хотя эта версия не объясняет некоторые существенные, бесспорно установленные обстоятельства. В то же время не были исследованы другие версии, которые находили основания в материалах дела: о совершении убийства биологом Вакуленко или местным шаманом, о гибели в схватке с белым медведем и др. Для обоснования обвинения Вышинский широко использовал показания свидетелей, сообщавших не фактические данные, а свои предположения, подозрения. При явном дефиците доказательств Вышинский объявил Семенчука и Старцева виновными в убийстве Вульфсона и потребовал для них смертной казни. И суд приговорил подсудимых к расстрелу. (В 1989 г. Верховный суд Российской Федерации отменил приговор и прекратил дело).

В этих процессах Вышинский оттачивал свое искусство софиста, способного без доказательств и вопреки доказательствам отстаивать любой заданный тезис, отрабатывал технологию судебных убийств.

Чтобы обеспечить единоличную диктаторскую власть над страной, было задумано истребление прежде всего выдающихся представителей интеллигенции, способных на политическое мышление и политическое действие. Основная черная работа — аресты, пытки, расстрелы — возлагалась на органы государственной безопасности. Но чтобы ввести в заблуждение общественное мнение в стране и за рубежом, было решено придать расправам внешнюю респектабельность. Этой цели служила инсценировка гласных судебных процессов. И лучшего режиссера, чем Вышинский, для таких спектаклей не нашлось»[1].

[1] *Ларин А.* О судебных убийствах // Человек и закон. 1988. № 11. С. 90–91.

«В 1928 году состоялся показательный суд нового типа — так называемый шахтинский процесс, на котором председательствовал Вышинский (он был председателем специального судебного присутствия Верховного суда.— *Прим. ред.)*. Этот процесс явился своеобразным испытательным полигоном для новой техники — для обвинений, основанных на так называемых «признаниях» подсудимых, т. е. ложных самооговорах, добытых террористическими методами. В последующие годы состоялись три сходных суда-спектакля: над так называемой «промпартией» в 1930 году, над меньшевиками в 1931 году и над инженерами фирмы Метрополитен-Виккерс в 1933 году. Ни один представитель оппозиции, даже находившийся за рубежом Троцкий, не протестовал публично против всех этих ужасающих фарсов.

Так создавалась определенная механика деспотизма — вне официальных политических органов и независимо от них. Потенциальный аппарат грядущего террора существовал уже повсеместно, и состоял этот аппарат не из союзников Сталина, которые могли бы упираться, но из соучастников, на которых можно было положиться и против врагов и против друзей как внутри, так и вне партии» [1].

В результате этих судебных процессов и связанных с ними преследований оказались репрессированными многие крупные ученые, инженеры, представители военной интеллигенции. Эти процессы стали прообразом, репетицией судебных процессов над партийными, государственными деятелями в 1936—1938 годах.

Формирование в советском обществе атмосферы «осажденной крепости», подозрительности, поощрения доносительства проводилось ближайшим окружением Сталина и им самим.

Один из разделов сталинского доклада перед московским партактивом в апреле 1928 года назывался «Шахтинское дело». В нем проводился ряд параллелей с периодом гражданской войны и утверждалось: «Шахтинское дело знаменует собой новое серьезное выступление международного капитала и его агентов в нашей стране против Советской власти... Нечего и говорить, что эти и подобные им выступления как по линии внутренней, так и по линии внешней могут и, пожалуй, будут повторяться».

Это положение было «теоретически» развито и получи-

[1] *Конквест Р.* Большой террор // Нева. 1990. № 9. С. 135.

ло соответствующую правовую базу в книге Вышинского «Уроки Шахтинского дела». Он успел ее написать и издал в том же 1928 году. Книга оправдывала репрессии, готовила общественное мнение к ним и стала трамплином для дальнейшей карьеры Вышинского.

В 1931—1933 годах он уже заместитель наркома юстиции РСФСР. С середины 30-х годов начинает раскручиваться маховик сталинских репрессий.

В период коллективизации, проводившейся с грубейшими нарушениями ленинских принципов социалистической законности, насаждением административно-командного стиля управления, Сталин объявил, что «основная забота революционной законности в наше время состоит... в охране общественной собственности, а не в чем-либо другом».

Из сферы правовой науки и практики уходят такие жизненно важные для развития нового общества вопросы, как свобода личности, защита прав, чести, достоинства граждан, их право на обжалование действий администрации. Большая ответственность за это лежит на Вышинском.

В августе 1932 года в период ухудшения продовольственного положения, возникшего в результате применения насильственных мер при проведении коллективизации, принимается закон «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности», написанный лично Сталиным. Этот закон независимо от форм и размера похищенного государственного, кооперативно-колхозного имущества устанавливал точно определенное наказание — смертную казнь; при смягчающих обстоятельствах — заключение в исправительно-трудовой лагерь на срок не ниже 10 лет с конфискацией имущества.

Подобный закон ни в чем не соответствовал принципам социалистического правосудия и гуманизма, имел явно репрессивный характер. Ничем не улучшив организацию охраны социалистической собственности, он оставил недобрый след в правовом сознании, в советской юридической науке.

Вышинский как правовед не мог не видеть юридической несостоятельности акта, его негативных последствий. Тем не менее он неоднократно называл его основой, «могучим оружием социалистической законности».

Вышинский активно участвовал и в борьбе с так на-

зываемым «правым уклоном», которая по существу была санкционированной Сталиным травлей Н. И. Бухарина. Положение о том, что одной из задач и условий социалистического строительства является замена законностью «всех остатков административного произвола, хотя бы и революционного», высказанное Н. И. Бухариным, Вышинский объявил ошибочным. Он отнес его к «правооппортунистическим» извращениям социализма. Более того, правильное утверждение Н. И. Бухарина, что после победы социалистической революции большевистская партия превращается в партию, которая заинтересована отстаивать гражданский мир в обществе, Вышинский объявил «прямым преступлением против интересов рабочего класса, пролетарской революции и социалистического строительства». Вскоре Вышинский был награжден за «выдающуюся работу по разоблачению вредительских организаций» орденом Трудового Красного Знамени.

В 1933 году был создан общесоюзный орган надзора за законностью — Прокуратура СССР. Первым Прокурором СССР стал большевик с 1907 года И. А. Акулов, его заместителем, контролирующим соблюдение законности в деятельности ОГПУ, назначается А. Я. Вышинский. В 1935 году И. А. Акулова перевели на другую работу, в 1937 году арестовали, а в 1938 году расстреляли. (Он был обвинен, в частности, в преступной связи с «вредителями», осужденными в 1928 году во время Шахтинского процесса.) В 1954 году И. А. Акулов был полностью реабилитирован.

После ухода И. А. Акулова с поста Прокурора СССР на его место назначен в 1935 году А. Я. Вышинский. На этом посту он находился до 1939 года.

«1 декабря 1934 года в пятом часу убийца Кирова Леонид Николаев проник в Смольный — в здание, где размещалось руководство ленинградской партийной организации.

Вахтер наружной охраны проверил пропуск Николаева, который был в порядке, и пропустил его без всяких недоразумений. На внутреннем посту никого не было, и Николаев свободно ходил под богато украшенными сводами здания, пока наконец не нашел коридор третьего этажа, куда выходили двери кабинета Сергея Кирова. У этих дверей убийца и стал терпеливо дожидаться.

Киров был занят составлением доклада о ноябрьском Пленуме ЦК, с которого только что возвратился. Вскоре он должен был сделать свой доклад активу ленинградской

парторганизации, собравшемуся в конференц-зале на том же этаже. В 4 часа 30 минут Киров вышел из своего кабинета и пошел по направлению к кабинету второго секретаря ленинградского обкома, своего доверенного помощника Михаила Чудова. Он сделал всего несколько шагов, а потом Николаев вышел из-за угла, выстрелил ему в затылок из нагана и упал без чувств рядом с ним

Услышав выстрел, в коридор выбежали партийные работники. Их удивило полное отсутствие охраны. Не было даже главного личного охранника Кирова Борисова, который, согласно инструкции, должен был всегда находиться рядом с первым секретарем обкома.

Это убийство можно с полным правом назвать преступлением века. В последующие четыре года сотни советских граждан, включая наиболее известных политических руководителей революции, были расстреляны как непосредственно замешанные в убийстве Кирова; буквально миллионы других были уничтожены как соучастники некоего гигантского заговора, который якобы существовал за кулисами убийства Кирова. Фактически же смерть Кирова стала фундаментом всего исполинского здания террора и насилия — здания, выстроенного Сталиным для того, чтобы держать население СССР в абсолютном подчинении»[1].

В 1961 году делегат XXII партсъезда З. Т. Сердюк заявил, что «...уже в день убийства (разумеется, в тот момент еще не расследованного) по указанию Сталина из Ленинграда принимается закон об ускоренном, упрощенном и окончательном рассмотрении политических дел. После этого сразу же начинается волна арестов и судебных политических процессов. Как будто ждали такого повода, чтобы, обманув партию, пустить в ход антиленинские, антинародные методы борьбы за сохранение руководящего положения в партии и государстве».

Трудно понять, как мог Сталин дать указание из Ленинграда в день убийства. Ведь он ехал поездом, а Ленинград отстоит от Москвы на 650 километров. Он вряд ли мог прибыть в Ленинград раньше, чем на рассвете 2 декабря — время, указанное новейшим источником. Между тем вышеупомянутый закон (постановление Президума ЦИК СССР) действительно датирован 1 декабря. Ясно, что Сталин подготовил его перед отъездом, а после прибытия в Ленинград позвонил по телефону, распоря-

---

[1] *Конквест Р.* Большой террор. С. 137.

дившись, чтобы постановление было подписано и доведено до сведения надлежащих органов.

Постановление это, исходящее от Сталина без консультации с Политбюро, стало своего рода хартией террора на последующие годы. В силу его «предлагалось»:

«1. Следственным властям — вести дела обвиняемых в подготовке или совершении террористических актов ускоренным порядком;

2. Судебным органам — не задерживать исполнения приговоров о высшей мере наказания из-за ходатайств преступников о помиловании, так как Президиум ЦИК Союза ССР не считает возможным принимать подобные ходатайства к рассмотрению;

3. Органам Наркомвнудела — приводить в исполнение приговоры о высшей мере наказания в отношении преступников названных выше категорий немедленно по вынесении судебных приговоров».

Политбюро, которому новое постановление было представлено в готовом виде, утвердило его лишь два дня спустя.

Здесь Сталин впервые применил новую политику, с помощью которой исключительные обстоятельства использовались для того, чтобы оправдать его личные неконституционные действия. При таких обстоятельствах любая попытка несогласия была исключительно трудной. Этим способом были разрушены даже те скудные гарантии, какие советский закон предоставлял «врагам советского государства». Уже 10 декабря были введены в действие новые статьи 466—470 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, отражавшие новое постановление. Есть сведения, что именно в этот период были организованы так называемые «особые» судебные органы, положение о которых разработал Каганович.

Как заместитель Прокурора СССР Вышинский вошел в состав Особого совещания при наркоме внутренних дел (ОСО НКВД), образованного в 1934 году. Это «совещание» могло во внесудебном порядке применять заключение в исправительно-трудовой лагерь сроком на 5 лет, ссылку, а также выдворение за пределы СССР. Впоследствии ОСО НКВД, действуя в составе «тройки», а чаще «двойки» в лице наркома внутренних дел и прокурора, стало применять и высшую меру наказания.

В ОСО НКВД СССР Вышинский заседал вместе с последовательно менявшимися наркомами — Ягодой, Ежовым, Берией. Двое первых были расстреляны еще

при Сталине, причем Ягода стал жертвой судебного процесса 1938 года, обвинителем на котором был Вышинский.

А. Я. Вышинский предложил всем прокурорам квалифицировать как террористический акт не только контрреволюционные выступления, содержащие одобрение террористических актов, но и «обычные высказывания террористических намерений». Предлагалось такие дела, по которым нет достаточных документальных данных для рассмотрения в судах, направлять в ОСО НКВД.

«Славу» (а теперь мы увидим, что позорное бесславие) Вышинскому принесло участие в организации и проведении знаменитых московских процессов 1936, 1937, 1938 годов. Процессы были открытыми, на них присутствовали иностранные журналисты. От Вышинского, выступавшего государственным обвинителем, требовалось немалое искусство. Необходимо было скрыть всю несуразность, нелепость обвинений в шпионаже, терроризме, вредительстве, выдвигаемых против старых большевиков, крупных партийных и государственных деятелей. Вышинский как деятель правосудия руководствовался не желанием выявить истину, а стремился реализовать задачу, поставленную Сталиным,— придать видимость законности расправе над неугодными «вождю» людьми. Для выполнения этой задачи прокурор Вышинский отбросил рамки законности, этики и морали. В его репликах, вопросах, речах ощущаются неприкрытое злорадство и цинизм юриста, строившего обвинение на материалах, фальсифицированность которых ему была известна и понятна. Если в 1925 году в своей книге «Очерки по истории коммунизма» Вышинский усердно цитировал Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева, Н. И. Бухарина как авторитетных теоретиков, то теперь он обвинял их во вредительстве, попытке реставрировать капитализм, в организации покушений на В. И. Ленина. На процессе 1938 года он требовал «самого сурового наказания» для одного из бывших своих соратников по партии меньшевиков М. А. Чернова, который, как и Вышинский, в свое время вышел из этой партии. Однако в отличие от Вышинского Чернов честно работал для укрепления Советской власти, был наркомом земледелия СССР. Именно на меньшевистском прошлом М. А. Чернова строил свои обвинения против него бывший меньшевик Вышинский. Имя «грозного прокурора» после процессов 1936—1938 годов получило широкую известность. Сейчас

оно стоит в одном ряду с именами Сталина, Молотова, Кагановича, Ягоды, Ежова, Берии, ответственных за беззаконие и массовые репрессии.

Участие Вышинского во всех политических процессах вряд ли можно объяснить только их особой значимостью, требовавшей присутствия на них Прокурора СССР. Процессы явились результатом единого замысла — устранить бывших, нынешних, возможных в будущем противников Сталина. Воплощение сталинского замысла требовало и соответствующего единства в исполнении. При подготовке и проведении каждого из процессов следователи путем пыток добывали данные для следующего и других судилищ. Показания, признания одних подследственных и обвиняемых, добытые зачастую аморальными, незаконными методами, служили основанием для ареста и привлечения к суду, главными уликами при осуждении других.

Суд располагал лишь признаниями и показаниями, но на процессах не было предъявлено документов, материалов, подтверждавших преступные цели обвиняемых, их связь с иностранными разведками, попытки реставрировать капитализм, организовать восстание, покушение на Сталина и прочее.

В этих условиях Вышинский утверждает, что суд имеет дело с политическим заговором и заговорщиками, в силу чего «характер настоящего дела таков, что именно этим характером предполагается и своеобразие возможных по делу доказательств». В качестве единственных и решающих доказательств становились признания обвиняемых, хотя по существу то были самооговоры, на которые их вынуждали различными методами.

Именно «практическая потребность» вызывала необходимость выдвижения Вышинским положения о том, что признание обвиняемого является лучшим и решающим доказательством его вины. Это дополнялось утверждением, высказанным им в 1937 году, что суд должен решать вопрос о вине не с точки зрения установления максимальной вероятности тех или иных факторов, подлежащих судебной оценке. На практике это означало, что можно осудить человека, вина которого не доказана, а лишь предполагается.

ПРОКУРОР ВРЕМЕН БОЛЬШОГО ТЕРРОРА

В. КОВАЛЕВ

МОСКОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ

1. ШАХТИНСКОЕ ДЕЛО

ТАЙНЫЕ ПРУЖИНЫ ПРОЦЕССА

Весной 1928 года советскую общественность ошеломило сообщение о невиданных ранее преступлениях — умышленной порче машин, затоплении шахт, поджогах производственных сооружений, создании заведомо опасных для жизни рабочих условий труда. Во всех газетах появилась официальная информация Прокурора Верховного суда СССР о разоблачении крупной вредительской организации в Шахтинском районе Донбасса: «Органами ОГПУ при прямом содействии рабочих раскрыта контрреволюционная организация, поставившая себе целью дезорганизацию и разрушение каменноугольной промышленности этого района».

Задолго до суда и даже до окончания предварительного следствия с изложением своей оценки Шахтинского дела неожиданно выступил Сталин. В докладе на активе Московской партийной организации 13 апреля 1928 года этому делу он посвятил целый раздел. Приведем из него один лишь фрагмент:

«Факты говорят, что Шахтинское дело есть экономическая контрреволюция, затеянная частью буржуазных спецов, владевших ранее угольной промышленностью.

Факты говорят далее, что эти спецы, будучи организованы в тайную группу, получали деньги на вредитель-

ство от бывших хозяев, сидящих теперь в эмиграции, и от контрреволюционных антисоветских организаций на Западе».

Так, задолго до судебного разбирательства и вынесения приговора факты были установлены, акценты расставлены, выводы сделаны. В устах вождя подобная оценка Шахтинского дела сразу и окончательно определяла и направление суда, и его решение. Вся последующая судебная процедура превращалась в фикцию.

Для того чтобы правильно понять мотивы столь не характерного для Сталина прямого и открытого вмешательства в деятельность уголовной юстиции по конкретному делу, следует иметь в виду политическую ситуацию, сложившуюся к тому времени в стране. Все большее распространение приобретали идеи так называемых «правых уклонистов» во главе с Бухариным, Рыковым, Томским. Они предсказывали крупные экономические трудности в случае продолжения силовых методов индустриализации страны. И эти прогнозы уже стали осуществляться. В столь непростых условиях Сталину важно было оправдать политику индустриализации, а сделать это можно было, не иначе как объяснив причины возникших трудностей. Для неискушенного в экономических категориях народа необходимо было простейшее объяснение. Оно лежало на поверхности — вредительство. Эта нехитрая причина всех бед и хозяйственных неурядиц не требовала для своего восприятия ни экономического образования, ни даже элементарной грамотности. Сталин, надо отдать ему должное прекрасно понимал психологию масс.

Так возникло громкое дело о вредительстве.

Сегодня, располагая многими (хотя и не всеми!) документами, длительное время пребывавшими в закрытых архивах, мы можем проследить истоки этого дела, составить представление о тайных его пружинах и действующих лицах, оставшихся за кулисами судебного процесса.

Как отмечается в справке, подготовленной в июле 1928 года руководителем ОГПУ Северо-Кавказского края Е. Г. Евдокимовым, Шахтинское дело возникло на основе анализа «технических дефектов, в результате которых происходили аварии, затопление шахт и проч.». Занимался этим делом начальник экономического отдела ОГПУ края К. И. Зонов. Отсутствие образования (в послужном списке оно обозначено как низшее) он успешно возмещал острым чекистским чутьем. Именно оно подсказало ему «наличие безусловной вредительской деятельности».

Зонов тут же начал «агентурную проработку... Шахтинского рудоуправления и всего личного состава специалистов».

Собранные Зоновым материалы Евдокимов представил председателю ОГПУ В. Р. Менжинскому. Тот, однако, не нашел в них каких-либо доказательств вредительства. Более того, по некоторым данным, он даже пригрозил, что если в течение двух недель ему не будут предоставлены достаточные доказательства, то возникнет вопрос о вредительстве самого Евдокимова. Такому повороту дела нельзя отказать в известной логике, ведь предложение отстранить от производительного труда опытных инженеров в период острейшего дефицита квалифицированных кадров при некоторых обстоятельствах действительно подпадало тогда под определение состава экономического вредительства.

Подобная перспектива вряд ли устраивала Евдокимова, поэтому он решился на крайнюю меру — представить все дело непосредственно Сталину. Есть основания полагать, что осуществить эту непростую акцию Евдокимову помог заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода. Шахтинское дело он рассматривал как хороший повод укрепить доверие вождя, а быть может, и заслужить его признательность. Одновременно можно было попытаться поколебать авторитет своего шефа Менжинского в глазах Сталина. Фактический отказ председателя ОГПУ дать ход этому делу создавал для подобной интриги весьма заманчивые возможности, упускать которые ловкий заместитель Менжинского Генрих Ягода отнюдь не собирался. С этой целью он отправляет в Донбасс в качестве представителя ОГПУ своего личного друга Матвея Бермана, который снабжает его через голову Менжинского оперативной информацией.

Когда же материалы Евдокимова и Бермана оказались у него в руках, Ягода решился. Дело было представлено Сталину. Реакция последовала незамедлительно: начались массовые аресты руководителей шахт, горных инженеров, специалистов угольной и смежных отраслей.

АНДРЕЙ ВЫШИНСКИЙ В СУДЕЙСКОМ КРЕСЛЕ

Из материалов Шахтинского дела.

Инженер Петров обвинялся в том, что поставил на шахту излишнее количество крепежного леса. Инженер Васильев не обеспечил надлежащего крепления шахтных стволов. Механик Башкин своевременно не отремон-

тировал паропровод, он же испортил лебедку. Самойлов и Беленко прорыли из шахты на поверхность ненужный, как считало следствие, дополнительный ход (бремсберг). Чернокнижников не обеспечил сохранность винтов и шурупов от расхищения. Другие обвиняемые вывели из строя производственный участок по изготовлению лошадиных подков.

Этот перечень «особо тяжких государственных преступлений» можно было бы продолжить, но и приведенного достаточно для того, чтобы составить довольно ясное представление о том, в какой мере формула обвинительного заключения соответствовала реальным обстоятельствам дела.

В середине мая материалы Шахтинского дела с обвинительным заключением направляются в суд. Дело рассматривалось Специальным судебным присутствием Верховного суда Союза ССР под председательством А. Я. Вышинского. Его появление в судейском кресле для многих оказалось полной неожиданностью. В органах юстиции он не состоял, судебной деятельностью не занимался, к отправлению правосудия отношения не имел. В то время Вышинский занимал должность ректора Московского университета. И тем не менее выбор пал именно на него.

Теперь уже трудно с абсолютной достоверностью установить, какие именно факторы и обстоятельства повлияли на такое решение. Быть может, в этом процессе, по замыслу его организаторов, и не нужен был судейский опыт. Ведь готовился первый в советской истории показательный судебный процесс. А здесь, как казалось неразвитому юридическому мышлению, правовая сторона дела не столь существенна. Значительно более важным руководству страны представлялся политический резонанс Шахтинского дела. Такой эффект и должен был обеспечить председатель суда. И в этом смысле выбор кандидатуры Вышинского понятен. Уже в то время, используя университетскую кафедру для ловкой демагогии и политической трескотни, он сумел создать себе репутацию общественного трибуна, непримиримого борца со всяческими уклонистами от «генеральной линии» партии. Впрочем, в университетской среде красноречие ректора убеждало далеко не всех. Многие считали его просто образованным резонером. Но выбор делали отнюдь не они. А тот, кто делал, хорошо знал, что склонность к демагогии и резонерству в данном случае может оказаться именно

тем качеством, которое придаст показательному судебному процессу необходимое политическое звучание.

Итак, 18 мая 1928 года. Вышинский открывает первое судебное заседание. Государственное обвинение поддерживают Н. В. Крыленко и Г. К. Рогинский. В процессе принимает участие большая группа общественных обвинителей. Дело рассматривается с участием защитников.

Перед судом предстали 53 обвиняемых, среди них — четверо бывших шахтовладельцев. В основном же скамью подсудимых заняли руководители технических служб, горные инженеры и техники.

Несколько дней оглашалось обвинительное заключение — пространный документ объемом 15 печатных листов. После этой процедуры председательствующий обратился к каждому подсудимому с обязательным на судебном следствии вопросом: признает ли он себя виновным? 20 подсудимых признали себя виновными полностью, 10 — частично, 23 раза в зале звучало твердое:

— Нет, не признаю!

СУДЕБНАЯ ДРАМА

Среди тех, кто решительно отрицал свою виновность, выделялся инженер-экономист Н. И. Скорутто. С ним связана одна из наиболее драматичных сцен процесса. После нескольких дней упорного сопротивления попыткам обвинения и суда заставить подсудимого признать свою виновность последовало неожиданное сообщение о том, что он болен и на очередном вечернем заседании суда присутствовать не может. Однако, как вспоминают очевидцы, уже на следующее утро в зал ввели «серую дрожащую фигуру». Теперь подсудимого было не узнать. Подавленным голосом он сообщил, что минувшей ночью подписал признательные показания в отношении себя и других обвиняемых. В этот момент напряженную тишину зала взорвал истошный крик жены подсудимого:

— Коля, родной, не лги! Ты же знаешь, что ты невиновен!

Николай Скорутто закрыл лицо руками и упал на скамью подсудимых. Его тут же вывели из зала заседаний. Вышинский поспешил объявить перерыв.

Когда судьи и другие участники процесса вновь заняли свои места, допрос Скорутто был продолжен. Однако на этот раз подсудимый неожиданно заявил, что отказывается от своих признательных показаний как

ложных и клеветнических в отношении товарищей по несчастью. По его словам, они были вызваны тем, что он не спал несколько ночей подряд и не видел иного способа добиться снисхождения суда. Вины за собой не чувствует, о виновности своих содельцев ничего не знает.

Тем и закончилось это судебное заседание. На следующий день — новый поворот. Теперь Скорутто просит суд принять к сведению его заявление об окончательном и безоговорочном признании им своей вины. Свое вчерашнее поведение он объясняет волнением, вызванным неожиданным возгласом жены...

Другой подобный случай связан с горным техником С. А. Бабенко. На предварительном следствии он показал, что по указанию инженера Н. Н. Березовского еще осенью 1921 года затопил шахту бывшей Ново-Азовской компании. Однако на суде Бабенко категорически отказался от своих показаний и объяснил их тем, что почти год находился в заключении:

— Я едва понимал, что я подписываю... Я пробовал взять это обратно до суда, но...

— Вы хотите сказать, что вас запугивали, что вам угрожали? — прервал его государственный обвинитель Крыленко.

— Нет,— не решился подсудимый.

В ходе судебного следствия председательствующий Специального присутствия Вышинский особо подчеркивал политические аспекты процесса, выяснял субъективное отношение подсудимых к Советской власти. И получил достаточно любопытные ответы.

Подсудимый Братановский:

— Одной из причин моей несимпатии к Советской власти была боязнь, что эта власть способна только разрушать, а не создавать.

Подсудимый Горлецкий:

— Я считал, как и многие из интеллигенции того времени, что развалившуюся промышленность и хозяйство страны советская система и власть восстановить не смогут.

Подсудимый Казаринов:

— Среди инженерства стало вырабатываться определенное настроение, характерными чертами которого были, с одной стороны, скептицизм, а с другой — насмешливое отношение ко всему тому, что происходит.

Не правда ли, звучит весьма современно и сегодня? Когда читаешь стенограмму этих показаний, трудно отде-

латься от мысли, что за многие десятилетия, минувшие с тех пор, мало что изменилось.

Затем перед судом прошло множество свидетелей, главным образом из рабочей среды. Они говорили преимущественно о тяжелых условиях труда шахтеров, о нарушении правил техники безопасности, о неправильном начислении заработной платы, о несоблюдении норм трудового законодательства, о нерациональном использовании материальных ресурсов. Все это рассматривалось как результат вредительских действий подсудимых с целью вызвать недовольство рабочих Советской властью.

При такой постановке вопроса фактов «преступной» деятельности можно было собрать сколько угодно, ибо в те годы чего-чего, а подобного рода трудностей, неразберихи, бесхозяйственности на шахтах Донбасса было более чем достаточно. Иное дело, в какой мере эти явления могли служить доказательствами вредительских действий подсудимых. Но этот вопрос менее всего обсуждался на процессе. Суд исходил из презумпции безусловного наличия причинной связи между фактами дезорганизации шахтного производства и деятельностью вредителей. А ведь это как раз и следовало доказать.

ОБВИНЯЕТ НИКОЛАЙ КРЫЛЕНКО

Во время судебных прений большую обвинительную речь произнес Крыленко. Она изобиловала преимущественно политическими оценками. Что же касается доказательственной стороны дела, то положение государственного обвинителя было довольно сложным. По существу, едва ли не вся совокупность собранных на предварительном следствии и рассмотренных в суде доказательств ограничивалась признательными показаниями подсудимых. Как опытный юрист, Крыленко не мог не понимать, что обоснование обвинения преимущественно такого рода данными по меньшей мере сомнительно. И вот что у него получилось:

— Здесь перед нами прошли в довольно большом количестве те факты, которые именуются «оговорами» и которые имеют весьма условное доказательственное значение.

С этой посылкой можно согласиться и сегодня, если под «оговорами» понимать признательные показания, не подтвержденные другими источниками доказательств. Но примечательна следующая мысль Крыленко:

— Сам по себе оговор, конечно, мало что значит, но если этот оговор будет повторяться неоднократно разными лицами... и в различных местах или если оговаривающие были допрошены разными лицами и в различном разрезе следовательского предварительного расследования, такие оговоры приобретают полное доказательственное значение.

Это уже заявка на теоретическое обобщение. Так состоялось возведение на престол «царицы доказательств» — признательных показаний обвиняемого. Теперь уже не имело значения отсутствие в деле вещественных доказательств и документов, данных экспертизы и следственного эксперимента. Усилия сосредоточивались на ином — получении признательных показаний.

Суд продолжался около полутора месяцев. 6 июля Вышинский огласил приговор. Обвинение признавалось доказанным, 49 подсудимых виновными. Четверых оправдали. Троих приговорили к условной мере наказания. Десять человек получили от одного до трех лет лишения свободы. Остальные были осуждены значительно строже. Так, Л. Г. Рабинович приговаривался к шести годам заключения, Е. К. Колодуб — к восьми, Н. И. Скорутто и Д. М. Сущевский — к десяти. Самая же суровая кара — расстрел — была назначена одиннадцати подсудимым — Н. Н. Березовскому, Н. А. Бояринову, Н. Н. Бояршинову, С. Б. Братановскому, С. З. Будному, Н. Н. Горлецкому, А. И. Казаринову, Н. К. Кржижановскому, Ю. Н. Матову, Г. А. Шадлуну, В. Я. Юсевичу.

Одновременно с вынесением приговора Специальное присутствие Верховного суда СССР обратилось с ходатайством в Президиум ЦИК Союза ССР о замене высшей меры наказания в отношении ряда осужденных иными санкциями. Ходатайство мотивировалось тем, что эти лица в ходе предварительного следствия и суда признали свою вину и раскаялись в преступной деятельности. Кроме того, они являются специалистами высшей квалификации.

Строго говоря, подобное обращение Верховного суда СССР к высшему органу власти страны с юридической стороны не вызывалось необходимостью. Суд вполне мог самостоятельно вынести такое решение — закон это допускал. Но не вынес, а предпочел уступить свою прерогативу властному органу. В этой характерной детали достаточно очевидно проявилось подлинное отношение к формально провозглашенному принципу независимости судей и подчинения их только закону.

Президиум ЦИК удовлетворил ходатайство суда в отношении шестерых осужденных. Березовскому, Бояршинову, Братановскому, Казаринову, Матову и Шалдуну смертная казнь была заменена десятью годами лишения свободы с конфискацией всего лично им принадлежащего имущества, с последующим поражением в правах сроком на пять лет.

Остальные пятеро приговоренных к смертной казни спустя трое суток после вынесения приговора были расстреляны.

Так закончился первый крупный судебный процесс о вредительстве.

ПОСЛЕ ПРИГОВОРА

Шахтинское дело незримо свело вместе две восходящие звезды отечественной инквизиции — Генриха Ягоду и Андрея Вышинского. Отныне по торной дороге массовых репрессий они пойдут рядом, пока один из них не падет жертвой собственных преступлений и окажется на скамье подсудимых, а другой, не менее повинный в тех же злодеяниях, будет с неподражаемым прокурорским апломбом изобличать своего соучастника.

Но это случится потом. А сейчас же, после окончания Шахтинского дела, Сталин высоко оценил бдительность зампреда ОГПУ Генриха Ягоды. Отныне едва ли не все важнейшие поручения вождя этому ведомству так или иначе шли через него. Менжинский превращался в номинальную фигуру.

Сталин остался доволен и работой Андрея Вышинского. В ходе процесса незримая рука вождя направляла и поощряла рвение новоявленного судебного деятеля. Окрыленный успехом, тот поспешил издать брошюру под характерным названием: «Итоги и уроки Шахтинского дела» (Москва — Ленинград, Госиздат, 1928), которая в десятках тысяч экземпляров разошлась по всей стране, принеся автору не только солидные гонорары, но и политическую популярность.

В этой брошюре есть любопытный фрагмент, в котором под прикрытием общих сентенций о независимости суда достаточно наглядно проявилась амбициозность Вышинского. В этом фрагменте речь идет о присутствовавших на процессе иностранных корреспондентах, которые, как пишет автор, «сами приводили немало фактов, свидетельствующих о том, что у суда была с самого начала

процесса совершенно самостоятельная линия, что суд неоднократно на глазах у всего судебного зала расходился с прокуратурой, обеспечивая и защите и подсудимым всю необходимую для выяснения истины свободу действий и т. п. Не кто другой, как именно один из иностранных корреспондентов, усмотрел даже в результате процесса такое расхождение между судом и прокуратурой, что приговор по Шахтинскому делу назвал «поражением Крыленко».

Но если есть побежденный, то должен быть и победитель. Андрей Януарьевич в своей брошюре его не называет, приглашая проницательного читателя к самостоятельному, но однозначному в данном контексте выводу: Шахтинский процесс выиграл не обвинитель и тем более не защитник; его выиграл суд во главе со своим председательствующим А. Я. Вышинским.

Абсурдность подобной постановки вопроса очевидна не только профессиональному юристу. Деятельность суда нельзя оценивать категориями победы и поражения, ибо он не является состязающейся стороной в процессе. И цель правосудия — отнюдь не достижение успеха в судебном споре, а установление истины по делу. Невозможно предположить, что Вышинский этого не знал. Скорее, просто игнорировал, как и многое другое в теории правосудия, которому нет места в обществе, где политические приоритеты явно довлеют над правом.

2. ПРОЦЕСС ПРОМПАРТИИ

ОБВИНЕНИЕ ВО ВРЕДИТЕЛЬСТВЕ

Не успела зарубцеваться глубокая рана Шахтинского дела, как призрак очередного вредительства вновь замелькал над страной. С высокой партийной трибуны призывно прозвучали слова Сталина: «...мы должны быть готовы к тому, что международный капитал будет нам устраивать и впредь все и всяческие пакости, будь то Шахтинское дело или что-нибудь другое, подобное ему».

Если действительно все начинается со слова, то в данном случае оно было сказано. И весьма недвусмысленно. После него «другое, подобное» уголовное дело не возникнуть уже не могло, поскольку иное означало бы ошибочность сталинского прогноза. И оно возникло.

Осенью 1930 года в прессе появилось подготовленное Ягодой официальное сообщение о раскрытии органами

ОГПУ глубоко законспирированной контрреволюционной организации, именовавшей себя Промышленной партией. В сообщении подчеркивалось, что эта организация ставила своей целью сорвать индустриализацию страны путем создания искусственной диспропорции между отраслями народного хозяйства, омертвления капиталовложений, нерационального распределения бюджетных фондов и материальных ресурсов. Особое значение придавалось диверсиям на промышленных предприятиях, стройках, узлах коммуникаций. Промпартия, как сообщалось, была тесно связана с иностранным капиталом, осуществляла шпионскую деятельность в пользу зарубежных государств.

В стране были организованы многочисленные митинги с требованиями решительной расправы с вредителями и шпионами. Сын одного из арестованных по делу Промпартии потребовал смертной казни отца. Именно в это время Максим Горький после долгих бесед с Генрихом Ягодой, который считался другом семьи писателя, провозгласил свой знаменитый лозунг: «Если враг не сдается, его уничтожают!»

Когда же громкая митинговая волна достигла своей кульминации, в Москве при большом стечении иностранных корреспондентов начался судебный процесс по делу Промпартии. Первое заседание Специального присутствия Верховного суда Союза ССР состоялось 7 декабря 1930 года. Его открыл председательствующий А. Я. Вышинский. Он по-прежнему не состоял в штатах органов юстиции, занимая относительно скромную в номенклатурной иерархии должность члена коллегии Наркомпроса РСФСР. По этой причине Вышинский, строго говоря, не мог председательствовать в суде. Но подобное нарушение закона казалось сущим пустяком по сравнению с доверием сталинского руководства. Незримая рука вождя снова подсадила Андрея Януарьевича на высокое судейское кресло. В состав суда вошли также В. П. Антонов-Саратовский, П. А. Иванов, В. Л. Львов. Государственное обвинение поддерживали Н. В. Крыленко и В. И. Фридберг, защиту осуществляли адвокаты И. Д. Брауде и М. А. Оцеп.

Перед судом предстали восемь обвиняемых — член коллегии Госплана СССР и ВСНХ СССР, директор Теплотехнического института профессор Л. К. Рамзин, заместитель председателя производственного сектора Госплана СССР В. А. Ларичев, заместитель председателя сектора Госплана СССР профессор И. А. Калинников, предсе-

датель Научно-технического совета ВСНХ СССР профессор Н. Ф. Чарновский, председатель коллегии Научно-исследовательского текстильного института профессор А. А. Федотов, технический директор Оргтекстиля ВСНХ СССР С. В. Куприянов, заведующий отделом ВСНХ СССР В. И. Очкин, инженер К. В. Ситнин. Все они обвинялись по ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР в сношениях в контрреволюционных целях с иностранным государством (пункт 3), оказании помощи международной буржуазии в осуществлении враждебной против Союза ССР деятельности (пункт 4), шпионаже (пункт 6).

Оглашается обвинительное заключение. Нет возможности привести этот крайне любопытный, но достаточно пространный документ, чтение которого заняло несколько часов судебного заседания. Однако для правильного понимания последующих событий иметь хотя бы некоторое представление об этом итоговом документе предварительного следствия необходимо. Поэтому ограничимся лишь перечислением рубрикаций обвинительного заключения. Вот названия некоторых его разделов:

— Постановка вопроса об интервенции Промпартией.

— Французское правительство и его роль в подготовке интервенции.

— Личные переговоры Пуанкаре и Бриана с «Торгпромом».

— Совместная работа «Торгпрома» и вредителей с французским генштабом.

— Связь с английским генштабом.

— План интервенции.

— Преступная работа ЦК Промпартии по подготовке экономического кризиса в 1930 году.

— Связь ЦК Промпартии с французской агентурой в Москве.

— Шпионская работа Промпартии.

— Изменническая работа ЦК Промпартии в Красной Армии.

Все подсудимые признали себя виновными по всем пунктам предъявленного им обвинения. Суд приступил к исследованию доказательств.

ДОПРОС ПОДСУДИМЫХ

Первым для дачи показаний вызывается обвиняемый Рамзин. Со скамьи подсудимых поднимается среднего

роста седовласый человек с несколько статичным выражением лица, которое странным образом контрастировало с быстрыми, порывистыми движениями, энергичной и даже резкой жестикуляцией. Рамзин привлекался к ответственности как лидер Промпартии, что сразу же подтвердил на допросе и дал подробнейшие показания. По его словам, в состав руководящего центра помимо лиц, сидящих рядом с ним на скамье подсудимых, входили также П. А. Пальчинский (расстрелян по приговору коллегии ОГПУ по делу о вредительстве в золото-платиновой промышленности), П. И. Красовский (осужден к 10 годам лишения свободы за вредительство на транспорте), И. И. Федорович (осужден за вредительство в угольной промышленности), Л. Г. Рабинович (осужден по Шахтинскому делу).

Таким образом, создавалось впечатление колоссальных масштабов вредительской деятельности Промпартии, которая охватывала едва ли не все важнейшие отрасли отечественной промышленности. Это впечатление еще более усилилось, когда Рамзин сообщил суду о том, что членами Промпартии являлись около двух тысяч специалистов индустриального производства различных наркоматов и ведомств.

Любопытная деталь: в стенограмме процесса многословные показания подсудимого Рамзина сгруппированы по разделам, почти полностью совпадающим с рубриками обвинительного заключения. Между этими двумя документами не только нельзя обнаружить каких-либо противоречий, но даже формулировки многих фрагментов обнаруживают несомненные признаки единого авторства.

Следующим показания давал подсудимый Ларичев. Выяснилось, что высокую должность в Госплане СССР он занял по рекомендации уважаемого в партии соратника Ленина Глеба Максимилиановича Кржижановского. Себя Ларичев назвал человеком, «относительно мало проникнутым политическими убеждениями». Эта мысль подчеркивалась им неоднократно. Она весьма слабо работала на обвинение и даже в какой-то мере дезавуировала признание подсудимым своей виновности. В самом деле: человек вне политики — вредитель по убеждению? Такое предположение сомнительно. Это почувствовал Крыленко. Он долго допрашивал Ларичева по мелким фактам биографии, но так и не смог найти там ничего компрометирующего. Подсудимый по-прежнему не отрицал своей виновности по предъявленному обвинению. Однако у присутствую-

щих на процессе осталось ощущение несоответствия между положительным впечатлением от личности обвиняемого и характером инкриминируемого ему преступления.

Далее Крыленко допрашивал подсудимого Федотова. Их диалог сразу же привлек внимание своим внутренним напряжением и остротой.

— К Октябрю 1917 года вы сами отнеслись неодобрительно или... более резко? — государственный обвинитель направляет допрос в плоскость, весьма опасную для такого старорежимного специалиста, каким был профессор Федотов.

— Я слышал допрос ряда предыдущих подсудимых,— спокойно отвечал профессор.— И каждый раз вы старались подчеркнуть характеристику отношения подсудимого к революции определенным резким словом...

— Не я подчеркиваю, а подчеркивают и выявляют подсудимые.

— Вы приводите их к подчеркиванию.

— Их добрая воля — соглашаться со мной или нет,— едва ли не оправдывается прокурор.

— Совершенно верно. Это добрая воля, но я говорю, что это довольно сложный вопрос. Прежде всего, я считал всегда со студенческих лет, что коммунизм, впрочем, в то время слово «коммунизм» в такой форме, как сейчас, не употреблялось, я считал, что большевизм, марксизм есть, конечно, в идеале наиболее совершенное достижение, какое только может быть, но именно в идеале.

— А в реальности отнюдь не идеально? — провоцирует подсудимого на критическое высказывание обвинитель.

— А в реальности отнюдь невозможное к проведению...

В известном смысле Крыленко своей цели добился: ему удалось выявить подлинное отношение подсудимого к господствующей идеологии. Вместе с тем нельзя не оценить и мужество профессора Федотова. В то время подобного рода высказывание само по себе уже могло квалифицироваться как контрреволюционное преступление.

Но этого государственному обвинителю было недостаточно. И он прибегает к известному приему дискредитации подсудимого — выявлению его связи с другим уголовным делом.

— ...Вы привлекались по делу «Тактического центра»? — следует первый из новой серии вопросов.

— Да, как раз в 1920 году я привлекался по делу «Тактического центра», но, если вам угодно, я был освобожден до суда,— парирует Федотов.

— Да, я знаю. Я же вел дело,— вынужден подтвердить обоснованность ответа подсудимого прокурор.

— Да, именно это я и хотел сказать.

— Может быть, мы тогда с вами вспомним лиц, основных руководителей «Тактического центра»? — Крыленко подбирается с другой стороны.

Процессуальная обязанность председательствующего в суде — немедленно исключить вопросы, не имеющие отношения к предмету судебного разбирательства, тем более если они касаются другого уголовного дела. Но Вышинский безмолвствует.

— Я в «Тактическом центре» абсолютно не принимал участия,— отбивается подсудимый.

— Я не говорю сейчас, что вы принимали участие, а спрашиваю, не знаете ли вы лиц, основных деятелей «Тактического центра»?

— Нет, я не знаю, кто был в «Тактическом центре» и кто принимал участие.

Подсудимый не позволил прокурору втянуть себя в обсуждение вопросов, не имеющих непосредственного отношения к рассматриваемому делу. Что же касается предъявленного ему конкретного обвинения, то профессор Федотов пояснил:

— В 1925 году мне было предложено Лопатиным вступить в группу инженеров, которые хотели для поддержки своего и общего инженерного авторитета и улучшения своего и общего положения инженеров и быта их семей держаться сообща, подготавливать свои выступления на совещаниях и таким образом добиваться повышения авторитета. В такой форме было предложено образовать группу инженеров. Эта форма казалась совсем безобидной и возможной. Вступили в группу ряд инженеров, занимавших высокое положение, пользовавшихся всеобщим уважением, и я не счел нужным отказаться.

— ...Значит, в этот момент мотивом была указана необходимость некоего группового объединения инженеров для решения задач — каких? — уточняет Крыленко.

— В момент образования группы и приглашения меня в нее задачи были самые безобидные — поднятие престижа и авторитета инженерства, с тем чтобы легальным путем добиться улучшения его положения.

— Какого положения?

— Положения материального и бытового.

Как видим, и в этом фрагменте допроса Крыленко не удалось добиться конкретных данных, подтверждающих предъявленное обвинение.

— ...Вы помните процесс Ольденборгера? [1] — задает неожиданный вопрос государственный обвинитель.

— Я помню, но нужно обрисовать положение дела так, что вы должны были бы понять! — не без едва прикрытой иронии отвечает Федотов.— Процесс Ольденборгера показывает, что, для того чтобы обратить внимание на положение инженера, иногда нужно потерять жизнь.

— Ну, так вопрос не стоял,— теряя инициативу в диалоге, отделывается краткой репликой Крыленко.

— Как же? Ведь на самом деле он умер, и не он один умер. Он умер добровольно, а многие были убиты. Положение — это ведь очень тяжелый вопрос... Ведь нужно же вспомнить Владимира Ильича, который писал: «...инженеров нужно окружить любовной атмосферой». Ведь если бы слова Владимира Ильича были проведены в жизнь, разве что-нибудь подобное могло быть?

Вдохновенное слово профессора Федотова скорее походило на обвинительную речь прокурора, чем на жалкие оправдания подсудимого. Он задавал вопросы и ждал объяснений. Такого поворота дела Крыленко, видимо, не предполагал. И не нашелся с ответом.

Государственный обвинитель решил изменить тактику допроса. На этот раз он попытался спровоцировать Федотова на дачу инкриминирующих показаний в отношении своих товарищей по скамье подсудимых.

— Кто тут был главным руководителем, так сказать, рычагом?.. Тут при допросе Куприянова мы слышали, что якобы он принял на себя эту роль?

— Нет, я этого не могу сказать... Я не могу сказать, что я меньше его виновен в данном деле.

Ответ Федотова с нравственной стороны безупречен. Подсудимому снова удалось удержаться на недосягаемой для многих на этом и других подобных процессах моральной высоте. Это стоит подчеркнуть особо, ибо нельзя не видеть, что такой ответ Федотова значительно увеличивал меру его собственной ответственности.

И этим обстоятельством тут же воспользовался Крыленко. Следует вопрос подсудимому Рамзину:

---

[1] Обвиненный во вредительстве главный инженер московского водопровода Ольденборгер в феврале 1922 года покончил жизнь самоубийством.

— Был ли такой момент в жизни ЦК так называемой Промпартии, когда выдвигалась кандидатура или обсуждался вопрос о руководстве со стороны Федотова, как старейшего члена организации?

— ...Между собой мы вели разговоры относительно того, чтобы просить А. А. Федотова взять эту роль. Но фактически А. А. Федотов этой роли не играл, и фактически Хренникова в должности председателя ЦК заменил я.

Что это — состязание в благородстве, искренность перед судом, точный расчет или предварительно согласованная с обвинением позиция? Когда вину принимает на себя Федотов — человек, ни словом единым не оговоривший своих товарищей,— это шаг, благородство которого едва ли можно поставить под сомнение. Когда же о своем лидерстве в партии заявляет Рамзин, фактически изобличавший всех остальных подсудимых, его показания не могут не настораживать. Здесь мы сталкиваемся с одной из загадок этого процесса. Она связана с личностью профессора Рамзина. Кем он был в действительности — раскаявшимся вредителем или провокатором? И какова его подлинная роль в процессе — признанного лидера реально существовавшей в подполье партии или лжесвидетеля, отдавшего на заклание безвинных людей? По ходу процесса эти вопросы можно было лишь поставить. Ответов на них в материалах суда мы не найдем. Лишь последовавшие после вынесения приговора события несколько приоткрыли густой покров тайны, окружавшей профессора Рамзина. Однако не станем нарушать естественную логику процесса и вернемся в зал судебных заседаний.

ПАРАДОКСЫ СУДЕБНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

В зал судебных заседаний вызывается свидетель Кирпотенко. Он долго и уныло рассказывает о технологических особенностях капитального строительства, технических нормативах, стандартах, материальных ресурсах строительной индустрии. При этом вряд ли кто-либо из присутствующих был в состоянии понять, какое все это имеет отношение к уголовному делу о деятельности подпольной вредительской организации.

— ...Надо строить скорее новые прядильные фабрики — такая была установка.

— А вредительство тут в чем? — засомневался, кажется, даже государственный обвинитель.

— А вредительство в том,— популярно объяснил ему свидетель,— что может быть, такого количества новых фабрик, какое намечалось в плане, и не надо было, если использовать существующие фабрики с введением непрерывки и трех смен.

А еще свидетель Кирпотенко охотно поведал суду о том, что при строительстве многоэтажных фабрик использовались железобетонные перекрытия, хотя, по его мнению, вполне можно было обойтись деревянными. Как заявил свидетель далее, при возведении промышленных сооружений закладывались излишне массивные фундаменты, устанавливались неоправданно мощные моторы, прокладывалась слишком разветвленная вентиляционная и кабельная сеть. Все это Кирпотенко объяснял происками вредителей.

Еще более жуткую картину преступной деятельности Промпартии нарисовал в своих показаниях свидетель Михайленко. Он сообщил суду и онемевшей от ужаса публике, что, готовясь к предстоящей войне, вредители на предполагаемом пути наступления интервентов осушали болота...

Такого же уровня показания дали и другие свидетели. Попутный ветер явно дул в паруса обвинения. Николай Крыленко твердо держал избранный курс. Казалось, ничто не сможет остановить плавное движение процесса. Но... совершенно неожиданно на судебном горизонте стали собираться грозовые тучи.

В деле имелись многочисленные признательные показания подсудимых о связях с эмигрировавшим на Запад крупнейшим русским промышленником Рябушинским. В протоколах допросов скрупулезно фиксировались даты и места встреч, общее содержание и детали полученных от него из-за рубежа инструктивных материалов. В этих условиях поистине ошеломляющий эффект произвело сообщение о том, что к тому времени Рябушинский давно умер.

Правда, Крыленко, надо отдать должное его выдержке, еще пытался спасти положение, сохранить престиж обвинения незапятнанным. Он стал утверждать, что речь шла о родственнике Рябушинского, который носил ту же фамилию. Но такой поворот фабулы дела едва ли кого мог удовлетворить, тем более что родственник этот, как выяснилось, не имел ни средств, ни влияния, ни политического авторитета.

Другой подобный случай тоже связан с личностью эмигранта. Согласно показаниям подсудимых, должность министра финансов после свержения Советского правительства предназначалась Вышеградскому, занимавшему этот пост еще при царском режиме. Однако и он, как оказалось, умер за несколько лет до процесса.

И уж совершенно невероятный случай произошел под занавес судебного следствия. Во время одного из допросов подсудимого Рамзина между ним и прокурором Крыленко состоялся характерный диалог:

— Откуда вы знаете, что в институте имеется два-три десятка лиц, находящихся во вредительской ячейке?

— Об этом я знаю из следственного дела.

Ситуация достаточно парадоксальна: руководитель вредительской организации узнает о своих соратниках, да к тому же работающих в руководимом им институте, не где-нибудь, а в кабинете следователя. Казалось бы, абсурдность такого предположения достаточно очевидна. И тем не менее было бы большой натяжкой утверждать, что этот эпизод обратил на себя хоть какое-нибудь внимание суда. Скорее напротив: ни председательствующий Вышинский, ни другие члены суда не стали выяснять причины столь странной ситуации. И что еще более показательно, не поинтересовались ими и профессиональные адвокаты — защитники подсудимых. Между тем, быть может, именно этот ответ профессора Рамзина был первым звеном подлинной предыстории дела Промпартии. Но в зале судебного заседания не нашлось никого, кто захотел бы, а главное, посмел (!) покрепче потянуть за это звено.

СУДЕБНЫЕ ПРЕНИЯ

Председательствующий суда Вышинский объявляет судебное следствие законченным. Начинаются прения сторон — обвинения и защиты. Первым с большой обвинительной речью выступил Крыленко. Значение этой речи для отечественного уголовного судопроизводства далеко выходит за рамки конкретного дела. Сформулированные в ней идеи на долгие годы определили судебную практику в части оценки признательных показаний по делам о так называемых контрреволюционных преступлениях. Показательно, что специальный раздел своей речи Крыленко так и назвал: «Почему сознаются подсудимые».

— Одним из вопросов или, вернее, методов опорочивания настоящего процесса являются лицемерные выражения недоумения по поводу того, что же это за процесс, в котором подсудимые все сознаются! Какую объективную ценность имеет это сознание? И как с этой точки зрения надлежит относиться и к этому сознанию, и к этому процессу?.. Если допустить хотя бы на секунду, что эти люди говорят неправду, то почему именно их арестовали?

Сегодня уже невозможно представить, как опытнейший юрист Николай Васильевич Крыленко мог произнести подобную сентенцию. Ведь столь нелепая и беспомощная постановка вопроса в силу своей совершенно очевидной абсурдности даже не требует опровержения по существу. Она могла бы вызвать лишь снисходительную улыбку, если бы не связанные с ней трагические страницы истории отечественной уголовной юстиции.

Между тем государственный обвинитель продолжал свою речь:

— Я обращусь теперь непосредственно к объяснению того, почему сознаются подсудимые. Вопрос о пытках мы отбросим в сторону. Но даже при самых идиотских допущениях подобного характера это также не сможет объяснить того, как оказались возможны такие детально технически разные показания... целиком подтверждающие официальные данные о результатах вредительской работы.

Отчего же? Как свидетельствует многовековой опыт инквизиционного уголовного процесса, дело обстоит как раз наоборот. Именно пыточный способ собирания «доказательств», как правило, и не преследует никакой иной цели, кроме как получение признательных показаний, «целиком подтверждающих», по словам Крыленко, официальные данные.

— Но почему,— продолжает прокурор,— почему они сознаются? А я спрошу: а что им оставалось делать? Отвертеться в расчете на то, что авось потом кто-то придет и выручит, плохая надежда! Надежд на то, что запирательство что-нибудь даст и к чему-нибудь приведет, никаких; а если есть остатки совести — они могут говорить только за сознание. Я спрашиваю: чем же объяснить, что по всем вредительским делам, которые проходят у нас, мы имеем подавляющее количество фактов сознания? Если бы за этими людьми стояли широкие массы, на которые бы они опирались, тесная идейная и организационная

связь с которыми питала бы их политическое сознание, давала бы им внутреннюю уверенность в правоте их дела, поддерживала бы и воспитывала бы в них политическую стойкость и твердость,— тогда туда-сюда. А тут? Жалкая, изолированная кучка людей, работавших на деньги зарубежных групп, давно потерявших какие бы то ни было авторитет и влияние в глазах масс и, наоборот, трактуемых этими массами как враги народа,— на что эта жалкая кучка могла опереться и рассчитывать? Вот почему эти люди, представители отживающего класса, взятые с поличным, сознаются. Сознаются — так как у них нет другого выхода, ибо никаких идей, даже внутренней убежденности у них не было и нет.

На вопрос, поставленный Крыленко, наше время дает иной ответ. Но тогда демагогическое объяснение прокурора казалось безупречным. Во всяком случае, никто не поставил его под сомнение. А защитники даже высказали свое восхищение глубиной и тонкостью прокурорского анализа психологии подсудимого. Впрочем, адвокаты не стали оспаривать и другие положения обвинительной речи Крыленко.

Так, защитник И. Д. Брауде, выступая в судебных прениях, заявил буквально следующее:

— Вместе со всеми трудящимися защита переживает чувство возмущения, чувство глубокого внутреннего протеста от сознания того, что подсудимые подготовляли для нашей страны такие ужасы, создавали базу для кровавой интервенции, собирались залить страну кровью, сорвать пятилетку, разрушить народное хозяйство.

Как защищать подсудимого после такого заявления, больше смахивающего на обвинительную речь прокурора, чем на критическое слово адвоката? Да и был ли у подсудимых защитник, реально отстаивающий их права и законные интересы? Или в роли защитника фактически выступал еще один обвинитель? Во всяком случае, такие вопросы неизбежно возникают, когда обнаруживаешь едва ли не абсолютное совпадение позиций сторон в процессе и по основному вопросу — о виновности, и в отношении квалификации преступления, фактических обстоятельств дела...

Поэтому рассчитывать не только на оправдательный, но даже просто снисходительный приговор не приходилось. На тринадцатый день процесса, 7 декабря 1930 года, Вышинский огласил приговор Специального судебного присутствия Верховного суда СССР. Все подсудимые признавались виновными, пятеро из них (Рамзин, Федо-

тов, Ларичев, Калинников, Чарновский) приговаривались к смертной казни. Ситнин получил десять лет лишения свободы, Куприянов и Очкин — по пять.

На следующий день приговоренные к расстрелу обратились в Президиум ЦИК СССР с ходатайством о помиловании. Принятое решение гласило: всем осужденным заменить смертную казнь лишением свободы сроком на десять лет с последующим поражением в правах в течение пятилетнего периода времени.

ЗАГАДКА ПРОФЕССОРА РАМЗИНА

На этом, пожалуй, можно было бы и закончить обозрение процесса Промпартии, если бы этот сюжет не имел неожиданного продолжения. Здесь мы имеем дело с совершенно беспрецедентным в истории отечественной юстиции случаем, когда смертный приговор одному из осужденных означал для него начало стремительной карьеры.

Речь идет о Леониде Константиновиче Рамзине. После помилования он отнюдь не разделил участь своих товарищей по скамье подсудимых, направленных для отбывания наказания в тюрьмы и лагеря. Сначала по распоряжению Ягоды он оказался в специализированном научно-производственном учреждении ОГПУ, где работал в режимных условиях. В феврале 1936 года по представлению опять-таки Ягоды был полностью освобожден. И тут же неиссякаемым потоком к Рамзину потекли многочисленные награды, отличия, знаки внимания властей. Указами Президиума Верховного Совета СССР он награждается орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Постановлением Совнаркома ему присуждается Сталинская премия первой степени. Высшая аттестационная комиссия при СНК СССР присваивает ему ученую степень доктора технических наук без защиты диссертации. По некоторым данным, Рамзин имел личные контакты с Ягодой, встречался с Маленковым, его вызывал в Москву Сталин.

Все это невольно возвращает нас к вопросу, который, если помнит читатель, уже возникал по ходу судебного процесса. Был ли Рамзин провокатором?

В пользу этого предположения существует множество фактов. Есть свидетельства академиков М. В. Кирпичева, М. А. Михеева и других лиц, привлекавшихся в свое время к уголовной ответственности по делу Промпартии. Известны, наконец, высказывания по этому поводу самого

Рамзина. Правда, они дошли до нас через второе лицо и в этом смысле не могут считаться документально установленными. Тем не менее даже в современной теории судебных доказательств производным (вторичным) свидетельствам придается определенное доказательственное значение.

Такое свидетельство принадлежит Георгию Никитичу Худякову, работавшему во время войны в лаборатории Рамзина и занимавшему должность его заместителя. Осенью 1943 года, вспоминает Худяков, он имел беседу с Рамзиным по поводу очередных выборов в Академию наук СССР. И вот какой разговор состоялся между ними: «Он был рад, что будет баллотироваться в членкоры. Затем сказал, имея в виду Сталина: «Хозяин помнит обо мне. Я благодарен ему за высокую оценку моей деятельности...» Задумался и еще сказал: «С выборами меня в членкоры не должно быть затруднений. Хотя все может случиться при тайном голосовании...» Я внезапно и впервые спросил его: «Ваш большой вклад в советскую технику и науку хорошо известен. Но не помешает ли ваше участие в Промпартии?» Он нервно передернулся, повернулся в мою сторону и, смотря на меня в упор, сказал: «Это был сценарий Лубянки, и хозяин это знает».

Рамзина в Академию не избрали. Против проголосовали 24 академика, за — лишь один. В этом акте солидарности ученых тоже проявилось отношение к личности профессора, а может быть, и косвенная оценка его участия в деле Промпартии.

Между тем Сталин неоднократно обращался в своих выступлениях к этому делу. И однажды высказал знаменательную мысль о том, что «само поведение активных вредителей на известном судебном процессе в Москве должно было развенчать и действительно развенчало идею вредительства». Уж не этой ли ложно понятой идее и принес в жертву свою совесть профессор Рамзин?

Возникает и другой вопрос: какова подлинная роль в этом деле Генриха Ягоды? Его имени непосредственно в материалах дела мы не найдем. Оно лишь изредка мелькает где-то на грани процесса, просматривается в стилистике обвинительного заключения, всплывает в связи с покровительством осужденному профессору Рамзину. Но руководитель тайных операций ОГПУ и не должен быть на виду. Публичная шумиха и суета не для него. Закулисный организатор дела Промпартии остался в тени.

Зато у всех на виду оказался Вышинский. По материалам состоявшегося процесса он выступал с докладами и лекциями, давал интервью и писал статьи. Имя председательствующего Специального судебного присутствия Верховного суда СССР произносилось теперь наряду с громкими именами высших должностных лиц судебных и прокурорских органов. Стремительная вертикаль карьеры набирала скорость и высоту.

3. ДЕЛО О «ВРЕДИТЕЛЬСТВЕ» НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

ПОД ПРИЦЕЛОМ ФИРМА «МЕТРО-ВИККЕРС»

В середине марта 1933 года в советской прессе появилось небольшое сообщение ОГПУ, которое сразу стало новостью номер один:

«Произведенным ОГПУ расследованием ряда неожиданных и последовательно повторяющихся аварий, происшедших за последнее время на крупных электростанциях (Московская, Челябинская, Зуевская, Златоустовская), установлено, что аварии эти являются результатом вредительской деятельности группы преступных элементов из числа государственных служащих в системе Наркомата тяжелой промышленности, поставившей себе целью разрушение электростанций СССР (диверсионная деятельность) и вывод из строя обслуживаемых этими электростанциями государственных заводов».

Далее в сообщении отмечалось, что «в деятельности этой вредительской группы принимали активное участие также некоторые служащие английской фирмы «Метро-Виккерс», работающие в СССР на основании договора с этой фирмой о технической помощи предприятиям электропромышленности СССР...».

После Шахтинского дела и процесса Промпартии разоблачение очередной преступной организации вредителей уже не вызывало удивления и воспринималось как событие достаточно ординарное. Быть может, и этот готовящийся в кабинетах ОГПУ процесс не вызвал бы особой сенсации, если бы не совершенно новое, невиданное ранее обстоятельство: по обвинению во вредительстве вместе с советскими гражданами к уголовной ответственности привлекались иностранцы. Это придавало грядущему процессу международный политический оттенок и соответствующий масштаб, далеко выходящий за пределы интересов СССР.

Поэтому сообщение ОГПУ привлекло заинтересованное внимание не только внутри страны, но и в не меньшей степени за рубежом. Там пристально следили за развитием событий в Советской России. И они не замедлили последовать.

12 апреля начался открытый судебный процесс. Дело рассматривалось Специальным присутствием Верховного суда СССР под председательством В. В. Ульриха. В состав суда вошли также директор Дизельного института профессор Л. К. Мартенс и начальник «Главэнерго» Г. А. Дмитриев. Запасным членом суда был назначен председатель ЦК профсоюза работников электротехнической промышленности и электростанций А. В. Зеликов.

Государственное обвинение поддерживал незадолго до этого назначенный Прокурором РСФСР А. Я. Вышинский. Ему помогал его ближайший сотрудник Г. К. Рогинский. Защиту осуществляли известные советские адвокаты И. Д. Брауде, Н. В. Коммодов, А. А. Смирнов и другие.

В присутствии большого числа советских и иностранных корреспондентов в зал судебных заседаний вооруженные конвоиры ввели восемнадцать обвиняемых. На скамье подсудимых оказались руководители и инженерно-технические работники крупных электростанций. Их участь разделили несколько специалистов английской фирмы «Метро-Виккерс», осуществлявшей поставку в СССР мощных турбин и другого электросилового оборудования, а также оказывавшей техническое содействие советской стороне в его наладке и эксплуатации.

Оглашается обвинительное заключение. Из него собравшиеся в зале судебных заседаний советские и иностранные корреспонденты впервые узнают о конкретных деяниях, инкриминируемых подсудимым. В их числе «медлительность монтажа котлов № 1, 2», «задержка монтажа котла № 11», «неправильное устройство вентиляции», «неправильная установка мотора», «засорение насоса», «ненадежная изоляция обмотки трансформатора» и даже «отсутствие контроля над затяжкой болтов». Все это следствием квалифицировалось как вредительство. Одновременно обвиняемым инкриминировался шпионаж в пользу британской разведки.

Все подсудимые из числа советских граждан признали себя виновными полностью по всем пунктам обвинительного заключения. Словно поезд по хорошо накатанным рельсам, судебный процесс беспрепятственно двинулся

к заранее известной цели. После признательных заявлений подсудимых длительных остановок на этом пути уже не предполагалось.

Но так продолжалось только до того момента, пока председатель Специального присутствия Василий Ульрих не приступил к выяснению отношения к предъявленному обвинению иностранных специалистов.

— Подсудимый Грегори.

— Не виновен.

Зал затаил дыхание.

— Подсудимый Нордволл.

— Не признаю.

Присутствующие на процессе журналисты вытянули шеи.

— Подсудимый Монкгауз.

— По всем пунктам не признаю.

По рядам публики прошелестел оживленный шепот.

— Подсудимый Кушни.

— Категорически не признаю ни в одном пункте.

Назревала сенсация.

— Подсудимый Торнтон.

— Не признаю.

— Ни в одном пункте?

— Нет.

От плавного, размеренного движения судебного процесса не осталось и следа. Теперь предстояла схватка, оружие которой — доказательства, а ставка — человеческие жизни.

И лишь единственный иностранец на скамье подсудимых, английский инженер Макдональд, несколько ослабил напряжение предстоящей судебной баталии между обвинением и защитой. Не глядя на своих товарищей по несчастью, упавшим голосом он с видимым усилием едва слышно выдавил из себя:

— Признаю.

ТРАГИКОМЕДИЯ СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ

Во время судебного следствия первыми допрашивали советских обвиняемых. Для дачи показаний вызывается подсудимый Сухоручкин, до ареста начальник эксплуатационного отдела Первой Московской городской электростанции. С поникшим видом бесконечно уставшего человека он односложно подтверждает все обвинения, которые хлестко бросает ему в глаза Вышинский.

— Все эти действия вы производили сознательно?

— Да.

— Умышленно?

— Да.

— Во вредительских целях? Подорвать мощь хозяйства? — энергично подсказывает ответы безвольно поникшему человеку Вышинский.

— Да.

— Затруднить электроснабжение?

— Да, это так.

— Сорвать производство?

— Да.

— По заданию?

— По заданию представителя фирмы «Метро-Виккерс» и инженера Торнтона.

— Вы получали деньги?

— Да, я получал.

Ответы Сухоручкина типичны для этого процесса. Такие же показания давали и другие подсудимые из числа советских граждан. Стенограмма судебных заседаний едва ли не дословно несколько раз воспроизводит уже приведенный диалог. Здесь полностью стерта, нивелирована личность подсудимого. Когда сегодня, спустя много десятилетий после процесса, читаешь эту стенограмму, невозможно избавиться от мысли о том, что перед судом предстали роботы, специально запрограммированные на элементарные, однозначные реакции. Кто сделал их такими — нетрудно догадаться. Теперь мы об этом знаем немало. Какими методами? — вопрос несравненно более сложный и до конца не выясненный и поныне. Не будет он решен и в настоящей публикации, поскольку не это составляет ее главную тему. Здесь важно лишь подчеркнуть, что на этом процессе не было судебного противоборства сторон — обвинителя и обвиняемых. Сидящие на скамье подсудимых советские граждане столь истово и усердно спешили подтвердить каждое утверждение Вышинского, что подчас это смахивало на жутковатую трагикомедию.

Государственный обвинитель допрашивает начальника Златоустовской электростанции Гусева:

— Члены вашей группы носили только свои собственные имена или были конспиративные клички?

— Часть лиц носила клички.

— Например?

— Котельников носил кличку «Федор».

Вышинский удовлетворенно оглядывает зал, выдерживает приличествующую случаю паузу, давая возможность каждому осознать значение вырванного у подсудимого признания. И вот когда, казалось, эффект уже достигнут и судьи, а вместе с ними и все присутствующие в зале вполне оценили мастерство допроса, которым блеснул Вышинский, он, уверенный в успехе, неосторожно предложил подсудимому уточняющий вопрос.

— А его имя?

— Федор.

На динамичном лице государственного обвинителя целая гамма чувств — от разочарования до откровенной досады. Ведь такой ответ полностью лишал смысла признательное показание Гусева. Надо было выходить из щекотливого положения. И Вышинский нашелся:

— Значит, это его имя, а не кличка. Федор Федором и останется. Вот если бы Федот...

Явная подсказка прокурора на этот раз, однако, не была воспринята полностью деморализованным подсудимым. Уставившись на Вышинского немигающими глазами, тот, казалось, вообще утратил дар речи.

СЕНСАЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ИНЖЕНЕРА

Иное дело — обвиняемые-иностранцы. Выслушав показания своих советских коллег, англичанин Монкгауз немедленно попросил слова.

— Можно мне сделать заявление по поводу показаний Сухоручкина?

— Пожалуйста,— разрешает председательствующий.

— Я хочу сказать на английском языке, чтобы было более точно.

— Пожалуйста.

— После заслушивания показаний Сухоручкина и других советских граждан в течение вчерашнего дня и позавчера...

— Вы хотите дать объяснение по поводу показаний Сухоручкина или хотите сделать декларацию? Это объяснение или заявление? — прерывает подсудимого Ульрих.

— Объяснение.

— Касающееся вас?

— Касающееся меня.

— Тогда, пожалуйста, продолжайте в части показаний Сухоручкина, но при чем тут показания других советских граждан?

— После показаний Сухоручкина, данных им вчера вечером, для меня стало совершенно ясно, что это дело является провокацией против фирмы «Метро-Виккерс», основанной на показаниях терроризированных людей.

Таких речей в зале судебных заседаний еще не звучало. Ни на одном из предыдущих показательных процессов никто никогда не осмеливался даже приблизиться к теме следственного террора. Но подсудимый-иностранец посмел.

Зал зашумел. Пожал плечами Вышинский. Засуетился Ульрих.

— Подсудимый Монкгауз, вас касался Сухоручкин в своих показаниях или нет?

— Да, касался.

— Тогда говорите в этой части, а остальные скажут сами за себя,— одернул подсудимого председательствующий.— Вы не адвокат, у каждого подсудимого есть свой защитник, который будет защищать своего подзащитного.

— Как я понимаю закон, у меня есть право сделать заявление,— возразил Монкгауз.

— Этого делать сейчас нельзя, а в конце судебного следствия в последнем слове каждый подсудимый имеет право сделать необходимое заявление...

Монкгауз, однако, настаивал:

— Я хочу продолжить и сказать, что в показаниях, данных этими людьми, я знаю это по собственному опыту, когда был подвергнут восемнадцатичасовому допросу...

— Вас будем допрашивать сегодня вечером или завтра утром,— прерывает его Ульрих.— Поскольку вы делаете попытку сделать заявление от имени всех подсудимых, я не могу дать вам слово.

Не трудно видеть, что подобной попытки подсудимый Монкгауз не предпринимал и говорил строго от своего собственного имени. Весь этот пассаж понадобился Ульриху исключительно для того, чтобы лишить строптивого подсудимого слова.

На следующем судебном заседании к допросу Монкгауза приступил Вышинский. Он не стал выслушивать никаких заявлений подсудимого, а сразу обратился к наиболее уязвимой для Монкгауза теме — его признательным показаниям на предварительном следствии.

— В одном месте вашего показания вы сказали следующее: «Если бы я был...»

— Подождите. Я от этого показания отказался.

— Я этого не слышал,— отрезал Вышинский.

— Я вам говорил, когда был у вас в прокуратуре.

— Я этого не помню.

Инициатива в этом судебном диалоге явно ускользала из рук государственного обвинителя. Подсудимый Монкгауз между тем наступал:

— Вы сами согласились. Я сказал, что дал показание после восемнадцатичасового допроса, я очень устал.

— Мы посмотрим, во-первых, что вы сказали, во-вторых, почему?

— Вы согласились это показание уничтожить,— твердо стоял на своем подсудимый.

— Я не имею возможности выступить здесь в качестве свидетеля по вашему делу, поэтому я не могу говорить о том, что вы мне когда-то говорили,— Вышинский едва отбивается от упорного подсудимого.

— Я говорил, что это показание было дано после восемнадцатичасового допроса,— продолжает настаивать Монкгауз.

— Так как гражданин заявил, что восемнадцатичасовой допрос был, я говорю, что я не имею права выступить в качестве свидетеля по его делу, но должен решительно опровергнуть эту ссылку на меня как на свидетеля.

Этот аргумент Вышинского вряд ли можно считать основательным. Хорошо известно, что статус свидетеля в уголовном процессе имеет абсолютный приоритет перед статусом любого должностного лица — участника судопроизводства. Свидетель в отличие от государственного обвинителя незаменим. Поэтому в принципе отнюдь не исключалась возможность изменения процессуального положения Вышинского и допроса его в качестве свидетеля.

Иное дело, что подобная метаморфоза совершенно не входила в намерения Прокурора республики. И он, разумеется, ее не допустил. Хотя, как видим, и особого успеха в допросе английского инженера не добился. Скорее наоборот.

Это, очевидно, почувствовал Ульрих и поспешил на помощь обвинителю.

— Подсудимый Монкгауз, сколько часов вы находились в заключении в Москве?

— Только двое суток.

— И уже в панике?

— Достаточно при таких методах допроса.

Англичанин верен себе. Каждый его ответ в той или

иной степени ослабляет позиции обвинения. Поэтому председательствующий уже в который раз достаточно бесцеремонно обрывает пытающегося возражать Монкгауза и водворяет его на скамью подсудимых.

ДОПРОС ПОДСУДИМОГО ТОРНТОНА

Для дачи показаний вызывается подсудимый Торнтон, главный монтажный инженер фирмы «Метро-Виккерс». Стараясь изобличить его в шпионаже, Вышинский использует признательные показания подсудимого Гусева о том, что тот якобы систематически доставлял Торнтону различные технико-экономические сведения.

— А какие сведения Гусев давал? — уточняет государственный обвинитель.

— Самые обыкновенные сведения о станции,— невозмутимо отвечает английский инженер.

— То есть?

— Как работают машины.

— Может быть, вас интересовали слабые места электростанций с точки зрения аварий? — осторожно задает вопрос Вышинский с очевидным расчетом спровоцировать подсудимого на высказывание, которое можно было бы истолковать как свидетельство его участия во вредительстве.

— Это меня очень интересовало, только позвольте сказать — почему.

— Мы потом это выясним,— отмахивается Вышинский.

— Так нельзя,— не уступает подсудимый,— я хочу докончить.

— Пожалуйста,— вынужден согласиться государственный обвинитель.

— Мне надо знать слабые места, чтобы определить, если будет авария на генераторе, в каком порядке распределительные устройства, линии, трансформаторы и вообще внутренняя проводка, в каком она виде.

На прямой вопрос государственного обвинителя, собирал ли подсудимый шпионские сведения, последовал категорический ответ Торнтона:

— Шпионские сведения — нет, а сведения по общему состоянию станции — да; поскольку это интересовало фирму.

В такого рода сведениях даже при очень большом желании никакого криминала усмотреть невозможно.

Ведь эксплуатировать электростанцию, не ведая о ее состоянии, немыслимо. Да и сама постановка вопроса об этом абсурдна. Вышинский это понял и прекратил допрос.

И здесь государственный обвинитель ничего не добился. Приходится начинать все сначала.

На следующем судебном заседании Прокурор республики решил изменить тактику допроса и применить свой излюбленный прием — изобличение подсудимого его же собственными признательными показаниями, полученными на предварительном следствии.

Однако на Торнтона это не произвело того впечатления, на которое, видимо, рассчитывал государственный обвинитель. Подсудимый заявил о неточности протокольной записи и отказался подтвердить в суде правильность ее содержания.

— А протокол ваших показаний от 26 марта — чем он плох? — предъявил еще один документ Вышинский.

— Это было взято у меня под большим давлением.

— Например?

— Очень долго допрашивали.

— Какого числа?

— 13-го числа.

— Потом?

— Долго допрашивали, затем мне дали понять, что, если я признаюсь, все будет хорошо.

— А если не признаетесь?

— Если не признаюсь, тогда я буду бесполезен как Советскому Союзу, так и Англии. Кроме того, я настолько устал от этого дела, что подписал протокол.

— Написали или подписали? — уточняет Вышинский.

— Мне диктовали по-русски, а я писал по-английски.

— Вы так устали, что сразу могли с русского языка переходить на английский? — пытается уличить подсудимого в мнимом противоречии Вышинский.— Разве вы так хорошо владеете русским языком, что, будучи усталым, сразу писали по-английски, когда диктовали по-русски?

— В данном случае так было,— твердо отвечает Торнтон.

— Потом?

— Раз это было, пришлось подписать.

Так подсудимый фактически дезавуировал свои показания на предварительном следствии. И Вышинскому, несмотря на все его попытки, не удалось это предотвратить.

ДОПРОС ПОДСУДИМОГО МАКДОНАЛЬДА

Обвинение в отношении иностранных специалистов разваливалось на глазах. Для его поддержания хотя бы на минимально допустимом уровне необходимы были чрезвычайные, сильнодействующие средства. И таковые в активе Вышинского нашлись. Дело в том, что один из английских специалистов, монтажный инженер фирмы «Метро-Виккерс» Макдональд, в начале процесса подтвердил свое признание в зале судебных заседаний публично, в присутствии большого числа советских и иностранных корреспондентов. Это обстоятельство и решил использовать Вышинский в критический момент судебного следствия. Государственный обвинитель предлагает подсудимому подтвердить перед судом факт дачи им указаний о вредительстве помощнику начальника Златоустовской электростанции В. А. Соколову. Ничто, казалось не давало повода сомневаться в положительном ответе Макдональда. Ведь в отличие от других подсудимых из числа иностранных специалистов он не только дал признательные показания на предварительном следствии, но и подтвердил свою виновность в суде. Поэтому Вышинский спокойно ждал приемлемого для обвинения ответа.

И вдруг:

— Я не давал Соколову указаний подобного характера.

Вышинский заметно помрачнел. Самое надежное звено в системе доказательств не выдержало первого же испытания.

— А почему вы так показали на предварительном следствии?

— Потому что считал удобным сделать подобное заявление при тогдашних обстоятельствах.

— При каких это обстоятельствах? К вам применяли какие-нибудь особые методы?

— Нет,— несколько помедлив, ответил подсудимый.

— Вас заставили насильственно это сделать?

— Нет, но я подписал потому, что это ведь был не открытый суд.

— Вас вынудили?

— Вначале я отказался от этого.

— Где?

— У следователя, когда он сказал: подпишите. Я сказал — нет. Но он не разрешил сделать иначе.

— Он вас заставил?

«Макдональд молчит»,— отмечено в стенограмме процесса.

Вышинский выразительно разводит руками.

— Сейчас я хотел бы задать еще один вопрос подсудимому Макдональду,— после паузы продолжает прокурор.— Макдональд, вы кому-нибудь заявляли о том, что это ваше показание не соответствует действительности, или никому не сделали такого заявления?

— Не сделал такого заявления.

— По окончании предварительного следствия получили ли вы протокол обвинительного заключения от Прокурора республики? Было ли вам в то же самое время предложено, что согласно закону вы можете, если считаете это нужным, сделать то или иное заявление по поводу процедуры предварительного следствия?

— Да,— подтвердил подсудимый.

— Вам указали, что вы имеете право заявить всякие претензии в связи с предварительным следствием? Делали ли вы кому-нибудь заявление о том, что ваше показание не соответствует действительности?

— Нет.

— А почему вы этого не сделали?

После продолжительного молчания Макдональд с трудом выдавил из себя:

— Не хотел заявлять об этом кому бы то ни было.

— Почему вы не хотели сделать заявление, которое сейчас делаете? — не отстает Вышинский.

— Я не хочу дискутировать по этому вопросу,— едва слышно произнес подсудимый.

— Вы понимаете значение того показания?

— Понимаю.

— Может быть, тогда вы ответите на один вопрос? Вчера на вопрос о том, признаете ли себя виновным в предъявленном обвинении, вы заявили, что да, я признаю себя виновным. Вы отказываетесь сегодня от этого или подтверждаете свою вину?

После всего сказанного Макдональдом — рискованная постановка вопроса. Но иного пути продолжения намеченной им линии допроса Вышинский уже не видел.

— Согласно с теми показаниями, которые я давал,— отвечал подсудимый,— признаю себя виновным, но фактически считаю себя невиновным.

Такой ответ Вышинского явно не удовлетворил.

— Я спрашиваю не об этом. Вчера вы говорили, что вы признаете себя виновным, или не говорили? — Вышинский незаметно подменяет тезис.— Может быть, я это во сне видел?

А это уже достаточно откровенная грубость. Впрочем, в пылу полемики Андрей Януарьевич подчас позволял себе и не такие высказывания.

— Вчера я признавал себя виновным,— соглашается подсудимый.

— А сегодня?

— Сегодня в соответствии с тем, что я сказал, я не считаю себя виновным.

— Следовательно, у нас есть надежда, что, может быть, завтра вы сделаете обратное? — съязвил Вышинский.

— Нет,— односложно ответил Макдональд.

— Чтобы покончить с диалогом по этому вопросу, я хочу знать, получали ли вы сведения от Соколова или нет? — возвращается к исходному пункту допроса государственный обвинитель.

— Какого характера сведения? — уточняет подсудимый.

— О которых сегодня говорил Соколов.

— Соколов мне передавал данные о количестве рабочих, занятых на различных производствах, и общие замечания такого порядка.

— Остановимся на этом. Вы за это платили?

— Нет.

В этот момент допроса Вышинский решает подключить новые аргументы и обращается к скамье подсудимых.

— Подсудимый Соколов, получали ли вы деньги от Макдональда?

— Через Гусева получил 1000 рублей,— с готовностью отвечает Соколов.

— Подсудимый Гусев, передавали ли вы 1000 рублей Соколову?

— Да,— спешит с ответом Гусев.

— Обвиняемый Макдональд, передавали ли вы 1000 рублей Гусеву?

— Обычно деньги Гусеву давал,— после некоторой паузы признает Макдональд.

Именно этого, столь желанного ответа так долго добивался Вышинский.

— За что вы давали Гусеву деньги? — с видимым нетерпением близкой удачи спросил прокурор.

И получил неожиданный ответ:

— В некоторых случаях рабочие, занятые монтажом турбины фирмы «Метро-Виккерс», работают сверхурочно. Иногда по 24 часа.

— Значит, за сверхурочную работу? — разочарованно произнес Вышинский.

— Да,— был твердый ответ.

Так очевидным поражением обвинительной власти закончился и этот судебный диалог.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

В зал заседаний вызывается группа технических экспертов. На основе представленных им материалов об авариях и других срывах производственного процесса, а также проведенного исследования они дают несколько альтернативных заключений.

В одном случае (замерзание воды в котле) экспертная комиссия отметила, что «авария могла произойти либо от халатного отношения котельного персонала к оборудованию, либо от злого умысла». В другом (несвоевременная установка импортного оборудования) эксперты констатировали «наличие злого умысла или по меньшей мере преступной халатности». В третьем (наличие посторонних предметов в генераторе) комиссия пришла к выводу, что эти факты «не могут рассматриваться иначе, как следствие преступной халатности монтажного персонала или чьего-либо злого умысла».

Уголовно-процессуальная теория и судебная практика выработали достаточно определенное отношение к альтернативным заключениям экспертов. Всякое сомнение истолковывается в пользу обвиняемого — это фундаментальное юридическое положение в данном случае полностью исключает доказанность умысла как формы вины. В лучшем случае речь может идти о преступной небрежности, которую эксперты определили как халатность.

Но не этот состав инкриминировался подсудимым. Им предъявлялось обвинение во вредительстве — преступлении, которое предполагает прямой умысел. Очевидное противоречие между этой формулой обвинения и альтернативным заключением комиссии экспертов опытный юрист Вышинский не мог не заметить. Нельзя было и промолчать. Ведь противоречие от этого не исчезало.

Требовался неординарный юридический ход. И Вышинский его нашел.

— Защита могла бы стать на почву этой альтернативы и сказать: экспертиза установила, что авария могла произойти или по причине злого умысла, или по причине халатности... Но и преступная халатность также есть не

что иное, как проявление этого преступного умысла.

Здесь Прокурор республики допустил смешение многих уголовно-правовых понятий, и прежде всего умысла и неосторожности, вредительства и халатности. При такой постановке вопроса любую небрежность в работе, любое упущение по службе, если они привели к существенным отрицательным последствиям, можно было квалифицировать как прямой умысел на вредительство.

Именно так и воспримут это разъяснение Вышинского поднадзорные Прокуратуре РСФСР правоохранительные органы. И новые эшелоны с «вредителями» отправятся на Колыму и Чукотку, в Магадан и Воркуту. Но это будет потом. А пока процесс продолжается.

ОБВИНИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ВЫШИНСКОГО

По завершении судебного следствия объявляются прения сторон. Первым с пространной обвинительной речью выступает Вышинский.

Он долго цитирует высказывания И. В. Сталина о классовой сущности и социальной опасности вредительства, походя «срывает маски» с иностранных фальсификаторов, утверждающих, что цель данного судебного процесса — «замаскировать неудачи кое-каких индустриальных мероприятий в России». Наконец переходит к существу дела:

— Мы имеем перед собой такой факт, как собственное признание ряда людей. Это могло бы освободить в иных случаях вообще от исследования каких бы то ни было других доказательств... Но надо подчеркнуть, товарищи судьи, что в этом процессе, который имеет величайшее значение, наряду с признанием самих обвиняемых мы имеем целую сумму объективных доказательств, против которых не могут устоять враждебные силы.

Какие же это доказательства? Что имел в виду Прокурор республики, выступая с таким заявлением?

Прежде всего — заключения экспертов. Но содержащиеся в них альтернативные выводы отнюдь не усиливали позиции обвинения. Напротив — резко их ослабляли.

Что еще? Быть может, следствие представило суду бесспорные вещественные доказательства, изобличающие документы? Долго упражнялся в красноречии на эту тему Вышинский, не приводя, однако, конкретных данных. И вот что у него получилось:

— А конечно, товарищи судьи, нужно же иметь в виду,

что в этих делах мы не можем не учитывать того обстоятельства, что это все делается конспиративно, делается осторожно, что документы сжигаются, что документы уничтожаются, что по возможности документы даже не составляются...

Вот в чем, оказывается, причина отсутствия документальных вещественных доказательств в материалах дела. Но ведь без них не может быть и самого дела, тем более что другие источники доказательств, и прежде всего показания обвиняемых, отнюдь не бесспорны в силу отказа от них большинства привлеченных к уголовной ответственности иностранных специалистов.

Так рушилась система доказательств, которую самоотверженно пытался спасти государственный обвинитель. На ее развалинах лишь признательные показания обвиняемых из числа советских граждан стояли, как казалось, несокрушимыми утесами.

Особый раздел своей обвинительной речи Вышинский посвятил «сделанной здесь на суде Монкгаузом вылазке с целью опорочить наше предварительное следствие». Как помнит читатель, тот заявил о несоразмерных с физическими силами человека длительных допросах, которым он подвергался на стадии расследования. С подобными заявлениями выступили и другие подсудимые.

Вышинский самого факта длительных допросов не отрицал. Но нашел ему достаточно изощренное объяснение. По его словам, причиной этого явилось... обращение английского правительства, которое настаивало на скорейшем завершении следствия.

— При нормальных условиях допрос Монкгауза продолжался бы... несколько недель, но мы добились того, что это было сделано в течение трех дней,— сообщает Вышинский.— И когда, идя навстречу этим требованиям, следственная власть работала по 8—10—12 часов в сутки вместо того, чтобы растянуть допрос на несколько недель, допрашивая в день по два-три часа, вдруг появляется в несколько иной обстановке соответственно инспирированный Монкгауз, делающий попытку заявить, что его утомляли длительным допросом по 18 часов...

Не было предела возмущению Вышинского неблагодарностью подсудимых, которые ни в малой степени не оценили стремления следственных органов «поскорее это дело кончить в интересах самих же арестованных». Попутно обозвав Монкгауза клеветником, Прокурор республики не пощадил и других подсудимых.

— Вы трус и предатель по природе,— объявил он Торнтону, который своим упорством доставил в ходе судебного следствия немало хлопот государственному обвинителю.

Остальные подсудимые у Вышинского вообще оказались «ничтожными пигмеями». Тем не менее государственный обвинитель требовал для них суровых мер наказания. Исключение составили лишь английский инженер Грегори и советский рабочий Зиверт. Подчеркивая собственную объективность, Вышинский предложил одного из них за недостаточностью улик оправдать, а другого, принимая во внимание его разрыв с вредителями еще до суда, уголовной репрессии не подвергать и из-под стражи освободить. Обвинительная речь Прокурора РСФСР завершилась здравицей в честь «вождя нашей партии товарища Сталина».

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОДЛИННЫЕ И МНИМЫЕ

18 апреля 1933 года был оглашен приговор. Подсудимые из числа советских граждан получили от полутора до десяти лет лишения свободы. В ряде случаев предусматривались и дополнительные меры наказания в виде поражения в правах на пять лет и конфискации всего имущества. В отношении подсудимого Ю. И. Зиверта «в связи с его разрывом с вредителями задолго до процесса» суд принял решение уголовной репрессии не применять и из-под стражи освободить.

Английский подданный Л. Торнтон получил три года лишения свободы, В. Макдональд «ввиду чистосердечного признания» приговаривался к двум годам заключения. А. Монкгауза и Ч. Нордволла, как не принимавших непосредственного участия в совершении аварий на электростанциях, суд постановил выдворить из пределов СССР с запрещением въезда сроком на пять лет. Ввиду давности совершенного преступления (1928 год) такая же мера была применена и по отношению к подсудимому Д. Кушни. Английского инженера А. Грегори суд за недостаточностью улик оправдал.

В целом же приговор оказался достаточно мягким, а меры наказания далеко недотягивали до максимально возможных по столь тяжким составам преступлений, как вредительство и шпионаж. Вероятно, так своеобразно суд отреагировал на очевидный дефицит достоверных доказательств и связанную с этим недостаточную доказанность обвинения в целом.

Однако историю отечественной юстиции не переписать и вспять не повернуть. И в ее анналах тот памятный процесс навсегда остался характерным примером, когда конъюнктурные политические соображения получили явное предпочтение перед строгими юридическими формулами.

4. СУДЕБНАЯ ЭПОПЕЯ ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА: ПРОЦЕСС ПЕРВЫЙ

АРЕСТ

Едва отгремели роковые выстрелы в Смольном и гибель Кирова ударила по туго натянутым нервам страны, в квартире Зиновьева раздался звонок. Григорий Евсеевич открыл дверь: на пороге стоял начальник секретно-политического отдела НКВД Молчанов. Появление ближайшего сотрудника Ягоды заведомо не сулило ничего хорошего. Тем более что на этот раз он явился не один. Не спрашивая разрешения, в комнату быстро прошли несколько не известных хозяину лиц. Некоторые из них были в военной форме. Молчанов протянул небольшой лист бумаги. Зиновьев поднес его к близоруким глазам и... бессильно опустился на стул. Пальцы жег ордер на арест. Прийти в себя от потрясения, успокоить разбушевавшееся сердце помогли лекарства. Зиновьев придвинул чернильницу и стремительным почерком написал:

«Товарищу И. В. Сталину.

Сейчас (16 декабря в $7^1/_2$ веч.) тов. Молчанов с группой чекистов явились ко мне на квартиру и производят у меня обыск.

Я говорю Вам, товарищ Сталин, честно: с того момента, как распоряжением ЦК я вернулся из Кустаная, я не сделал ни одного шага, не сказал ни одного слова, не написал ни одной строчки, не имел ни одной мысли, которые я должен был бы скрывать от партии, от ЦК, от Вас лично. Я думал только об одном: как заслужить доверие ЦК и Ваше лично, как добиться того, чтобы Вы включили меня в работу.

Ничего, кроме старых архивов (все, что скопилось за 30 с лишним лет, в том числе и годов оппозиции), у меня нет и быть не может.

Ни в чем, ни в чем, ни в чем я не виноват перед партией, перед ЦК и перед Вами лично. Клянусь Вам всем,

что только может быть свято для большевика, клянусь Вам памятью Ленина.

Я не могу себе и представить, что могло бы вызвать подозрение против меня. Умоляю Вас поверить этому честному слову. Потрясен до глубины души.

Г. Зиновьев».

Подлинник этого документа хранился в архиве ЦК КПСС. Известно, что первоначально письмо попало к Генриху Ягоде. Нарком внутренних дел направил его Сталину. Однако резолюции генсека на нем нет. Обращение Зиновьева осталось без ответа.

В тот же вечер был арестован и Каменев. Он тоже пытался найти путь к чувствам товарища по партии, с которым некогда довелось провести не один день в далекой сибирской ссылке. Но тщетно. Сентиментальность не относилась к числу личных недостатков Сталина. Вождь безмолвствовал.

Гибель Кирова давала ему уникальную возможность направить гнев народа против своих политических противников. И он не замедлил воспользоваться этой возможностью.

Из выступления Ежова на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года:

— Сталин, как сейчас помню, вызвал меня и Косарева и говорит: «Ищите убийц среди зиновьевцев». Я должен сказать, что в это не верили чекисты и на всякий случай страховали себя кое-где и по другой линии...

Почему же «не верили чекисты»? Ответ очевиден: процесс Николаева не обнаружил каких-либо связей между убийством Кирова и так называемой «зиновьевской» оппозицией. Фамилии ее лидеров не упоминались ни в следственных документах НКВД, ни в подписанном Прокурором СССР обвинительном заключении, ни в приговоре Военной коллегии Верховного суда страны. Тем не менее все члены бывшей оппозиции, в том числе и те, кто давно отошел от политической деятельности, были арестованы. В лубянских подвалах Ягоды по соседству с Зиновьевым и Каменевым заняли свои одиночные камеры еще 17 человек. Среди них были крупные руководители Госплана СССР и отраслевых наркоматов (Бакаев И. П., Герцберг А. В., Гессен С. М., Горшенин И. С., Евдокимов Г. Е., Файвилович Л. Я., Шаров Я. В.), ответственные работники научно-технических издательств (Браво Б. Л., Гертик А. М., Федоров Г. Ф.), инженеры (Башкиров А. Ф., Перимов А. В., Царьков Н. А.), юристы (Сахов Б. Н.,

Тарасов И. И.), ученый (Анишев А. И.) и даже пенсионер (Куклин А. С.). Всем арестованным было предъявлено обвинение в организации так называемого «московского центра», который якобы поддерживал тесные связи с «ленинградским центром», непосредственно осуществившим убийство Кирова.

Какими же данными располагало следствие? Во время обыска на квартире Зиновьева был изъят его многолетний личный архив. Самое тщательное и скрупулезное изучение каждого документа, каждой страницы, каждого слова оказалось для следствия безрезультатным: никаких признаков противоправной деятельности арестованного обнаружить не удалось. Не было компрометирующих материалов и в бумагах, изъятых у Каменева и других обвиняемых, проходивших по делу.

Оставалось одно — добиться признательных показаний у самих арестованных. Именно на достижение этого результата по приказу Ягоды и были направлены усилия большой группы следователей и оперативных работников НКВД.

МЕТОДЫ СЛЕДСТВИЯ

Процессуальное руководство расследованием осуществлял заместитель Прокурора СССР А. Я. Вышинский. Его участие в деле заключалось отнюдь не в надзоре за соблюдением законности следственными органами, как это предусматривалось компетенцией прокуратуры. Эта сторона деятельности занимала Вышинского менее всего. Значительно большее внимание он уделял разработке тактики следствия, обеспечивающей получение признательных показаний. И немало в этом преуспел.

Одним из первых не выдержал давления Александр Фабианович Башкиров, помощник начальника цеха ленинградского завода «Красная заря». На пятый день после ареста, 19 декабря 1934 года, он показал:

«Вся борьба зиновьевской к.-р. организации была по существу направлена к смене руководства партии. В этом основная политическая направленность всех ее действий. Установка была — сменить руководство Сталина Зиновьевым и Каменевым».

Через несколько дней после ареста дал инкриминирующие показания об антисоветской, контрреволюционной деятельности Зиновьева, Каменева и других участников «московского центра» Иван Петрович Бакаев, член партии

с 1906 года. На допросе 6—7 января 1935 года он, в частности, показал:

«Мы питали единомышленников клеветнической, антипартийной, контрреволюционной информацией о положении дел в партии, в ЦК, в стране... Мы воспитывали их в духе злобы, враждебности к существующему руководству ВКП(б) и Совправительству, в частности и в особенности к т. Сталину».

Изучая эти и другие подобные им показания, нельзя не заметить, что носят они самый общий характер и не содержат конкретных фактов, изобличающих обвиняемых по делу. Тем не менее именно им было придано решающее значение. Следователь Д. М. Дмитриев, добившийся этих показаний, получил поощрение от Ягоды, а после падения своего шефа счел уместным напомнить об этой «заслуге» новому наркому внутренних дел Ежову. В личном послании руководителю НКВД от 7 августа 1937 года он писал: «Я разоблачил в 35-м году Бакаева, который дал мне показания о своей к.-р. деятельности. Это обстоятельство тогда решило вопрос о процессе, по которому были тогда привлечены Зиновьев и Каменев. Сознание Бакаева явилось крупнейшим фактором...»

О том, какими методами осуществлялось дальнейшее расследование, дает наглядное представление характерный фрагмент из выступления заместителя Г. Ягоды Я. Агранова на оперативном совещании в НКВД СССР 3 февраля 1935 года:

— Наша тактика сокрушения врага заключалась в том, чтобы столкнуть лбами всех этих негодяев и их перессорить. А эта задача была трудная. Перессорить их необходимо было потому, что все эти предатели были тесно спаяны между собой десятилетней борьбой с нашей партией... В ходе следствия нам удалось добиться того, что Зиновьев, Каменев, Евдокимов, Сафаров, Горшенин и другие действительно столкнулись лбами.

Для достижения такого эффекта годились все средства. Вот один из наиболее типичных. На протяжении всего следствия показания Бакаева неоднократно использовались как средство давления на других обвиняемых. В деле имеется протокол очной ставки между ним и Евдокимовым 9 января 1935 года. Вот как выглядят заранее подготовленные вопросы следователя к участникам этого следственного действия.

«Вопрос Бакаеву: Признаете ли Вы, что состояли до последнего времени с Евдокимовым членами москов-

ского контрреволюционного центра московской организации?

Вопрос Евдокимову: Подтверждаете ли Вы настоящие показания Бакаева?

Вопрос Бакаеву: Что Вам известно о составе московского центра контрреволюционной организации?

Вопрос Евдокимову: Подтверждаете ли Вы показания Бакаева о составе московского центра контрреволюционной зиновьевской организации?

Вопрос Бакаеву: Назовите известных Вам в Москве участников зиновьевской организации.

Вопрос Евдокимову: Подтверждаете ли Вы показания Бакаева?»

Подобным же образом готовились вопросы к очным ставкам и других участников процесса. Краткие ответы на них в ходе этого следственного действия вписывались в соответствующие графы протокола от руки.

Приведенный фрагмент из материалов уголовного дела наглядно показывает, что расследование производилось с односторонней ориентацией на однажды полученные признательные показания. Допрашиваемый лишался возможности свободного изложения: ему предлагалось лишь подтвердить изобличающие его же и иных лиц показания другого обвиняемого. Такой прием и имел в виду Агранов, когда призывал следователей «столкнуть лбами... и перессорить» всех подследственных.

Впрочем, в арсенале НКВД этот прием давления был не единственным и отнюдь не самым изощренным. В ходе допроса Каменева 10 января 1935 года следователь сообщил ему о признательных показаниях Зиновьева и предложил подтвердить или опровергнуть их. Между тем в то время, как явствует из протоколов допросов, Зиновьев еще держался и подобных показаний не давал.

Что ответил на это Каменев?

Из протокола допроса 10 января 1935 года:

«Я этого подтвердить не могу... Лично мне было совершенно ясно, что сохранение какой бы то ни было организации является прямым вредом для партии и будет только препятствовать возвращению к партийной работе, к которой я стремился. Я лично был за прекращение борьбы с партией».

Несомненную стойкость обнаружил Каменев и в дальнейшем. В деле имеется собственноручно написанное им заявление:

«Приписываемая мне принадлежность к организации,

«поставившей себе целью устранение руководителей Советской власти», не соответствует всему характеру следствия, заданным мне вопросам и предъявленным мне в ходе следствия обвинениям. Изо всех сил и со всей категоричностью я обязан протестовать против такой формулировки, как абсолютно не соответствующей действительности и идущей гораздо дальше того материала, который мне предъявлен на следствии».

В архиве ЦК КПСС сохранился первоначальный вариант обвинительного заключения по делу «московского центра» от 13 января 1935 года. В нем отмечается, что Зиновьев и Каменев виновными себя не признали; Куклин и Гертик свое участие в деятельности «центра» отрицали, а Гессен и Перимов признали лишь личные связи с другими обвиняемыми по делу.

Однако это обвинительное заключение к уголовному делу приобщено не было. Видимо, кого-то на самой вершине партийно-государственной пирамиды не устроили выводы следствия. И тогда, в нарушение категорического запрета уголовно-процессуального законодательства производить следственные действия после окончания предварительного расследования, строптивые обвиняемые допрашиваются вновь.

Мы не знаем, какие события разыгрались в лубянских подвалах Ягоды в ночь с 13 на 14 января 1935 года. Достоверно известно лишь, что все обвиняемые на следующий день дружно признали себя виновными по всем пунктам предъявленных обвинений. И даже в отношении убийства Кирова, по которому обвинения им формально не предъявлялись, подследственные вынуждены были признать свою если не уголовную, то политическую и моральную ответственность.

Обвинительное заключение было соответствующим образом исправлено. Причем опять же вопреки действовавшему уголовно-процессуальному законодательству изменения вносились отнюдь не следственными или прокурорскими работниками. На подлиннике документа остались следы правки Поскребышева и Герценберга, сотрудников личного секретариата Сталина. (Это подтвердили специальная графологическая экспертиза, назначенная в начале 60-х годов, и объяснения самого Поскребышева, данные им по требованию комиссии ЦК КПСС.)

Но и это нарушение закона оказалось не последним в цепи событий, связанных с метаморфозой обвинительного заключения. Подписывая этот процессуальный доку-

мент, Прокурор СССР И. А. Акулов, его заместитель А. Я. Вышинский и следователь по важнейшим делам Л. Р. Шейнин датировали его 13 января 1935 года. Элементарный расчет времени показывает, что измененное обвинительное заключение могло быть подписано не ранее 14 января, когда появились отмеченные признательные показания. Отсюда следует, что высшие должностные лица Прокуратуры СССР совершили деяние, которое нельзя квалифицировать иначе, как служебный подлог.

За всеми этими событиями угадывается незримое присутствие Генерального секретаря. Известно, что на протяжении всего следствия по делу «московского центра» Вышинский неоднократно докладывал Сталину о ходе производства, представлял протоколы показаний обвиняемых, согласовывал тексты важнейших процессуальных документов. Так что сегодня, обозревая материалы следственного дела, уже трудно разделить юридическое «творчество» генсека и его верного сатрапа.

ЗАКРЫТОЕ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

15 января 1935 года в Ленинграде началось закрытое судебное разбирательство дела «московского центра». Сразу обращают на себя внимание два момента — время и место заседания. Суд состоялся уже на следующий день после подписания обвинительного заключения. Между тем уголовно-процессуальный закон допускает назначение судебного разбирательства не ранее чем спустя трое суток после ознакомления с ним каждого из подсудимых (ст. 245 УПК РСФСР 1923 г.).

Теперь о месте судебного разбирательства. Почему Ленинград? Ведь речь идет о «московском центре»? Казалось бы, само название дела подсказывало место его рассмотрения. Тем более что оно, безусловно, имело всесоюзное значение и не случайно было принято к производству Верховным судом СССР. Но если не простой здравый смысл, то, быть может, какие-либо юридические особенности данного дела заставили Военную коллегию Верховного суда страны временно оставить место своего постоянного пребывания в столице и отправиться на выездную сессию в Ленинград?

Проверим это предположение. Как известно, следствие с самого начала ориентировалось на обнаружение причастности «московского центра» к убийству Кирова. Одна-

ко в ходе расследования собрать сколько-нибудь убедительные данные на этот счет не удалось. В обвинительном заключении появилась особая оговорка: «Следствием не установлено фактов, которые дали бы основания предъявить членам «московского центра» прямое обвинение в том, что они дали согласие или давали какие-либо указания по организации совершения террористического акта, направленного против товарища Кирова». Казалось бы, нить, которая связывала два дела и которая единственно могла оправдать проведение процесса «московского центра» в Ленинграде — по месту совершения преступления, окончательно разорвана. Однако столь очевидная юридическая логика оказалась чуждой организаторам процесса. Ими двигали другие соображения, весьма далекие и от требований закона, и от идей правосудия вообще. Если не удается доказать причастность «московского центра» к убийству Кирова юридическим путем, то почему бы не воспользоваться психологическим эффектом нагнетания подозрения посредством всякого рода публичных демаршей? Здесь сгодится все — и травля обвиняемых в прессе, и сообщения о том, что Киров пал от руки «зиновьевцев», и плакаты с требованием «Убийц к ответу!» над головами митингующей толпы. В этом же ряду и проведение процесса «московского центра» именно в Ленинграде, где подлое убийство переживалось особенно остро, а слепая в своем неведении ярость людей готова была обрушиться не только на подлинных убийц, но и на безвинные жертвы, ловко подставленные на заклание.

Итак, Ленинград, 15 января 1935 года, 10 часов утра. За судейским столом появляется председатель Военной коллегии Верховного суда СССР армвоенюрист Ульрих. По обе стороны от него места занимают члены коллегии Матулевич и Горячев. Состав суда тоже показателен. Эти же люди судили и Николаева — убийцу Кирова. Тем самым еще раз подчеркивалась взаимосвязь двух процессов.

Выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР рассматривала дело «московского центра» в закрытом судебном заседании. Это предполагало упрощенную процедуру рассмотрения дела, отсутствие адвокатов, невозможность реально воспользоваться процессуальным правом подсудимых на защиту.

Сохранилось свидетельство бывшего сотрудника Ягоды А. И. Кацафы, который во время допроса в 1956 году

показал, что в его присутствии непосредственно перед началом судебного заседания следователь А. Ф. Рутковский обратился к подсудимому Каменеву со следующими словами: «Лев Борисович, Вы мне верьте, Вам будет сохранена жизнь, если Вы на суде подтвердите свои показания». Но Каменев ответил, что он ни в чем не виноват. Рутковский же продолжал настаивать: «Учтите, Вас будет слушать весь мир. Это нужно для мира».

Несмотря на такого рода давление, Каменев нашел в себе силы, чтобы заявить на суде:

— Здесь не юридический процесс, а процесс политический.

В этом высказывании скрыт достаточно глубокий смысл. Здесь и отрицание правомерности самого судебного процесса, и прямое указание на причины возникновения всего этого дела. Ведь политический процесс, о котором говорил Каменев на суде, неизбежно предполагает борьбу за власть. И в этой борьбе сила права отнюдь не всегда торжествует над правом силы.

— Я должен сказать,— продолжает подсудимый Каменев,— что я по характеру не трус, но я никогда не делал ставку на боевую борьбу. Я всегда ждал, что окажется такое положение, когда ЦК вынужден будет договариваться с нами, потеснится и даст нам место... Последние два года не было этих мечтаний, не было просто потому, что я не мечтатель и не фантазер. В нашей среде были фантазеры и авантюристы, но я к этой категории не принадлежу.

Весьма выразительное заявление Каменев сделал и в отношении самого факта существования «московского центра». В своих показаниях на суде он категорически утверждал, что не имел никакого представления и никогда ранее не слышал о такой организации. Но поскольку доказано, что центр существовал, то он принимает на себя ответственность за его деятельность.

Достаточно красноречиво показал подлинную подоплеку дела «московского центра» и подсудимый Куклин, член партии с 1903 года:

— Я до вчерашнего дня не знал, что я был членом центра.

Другие обвиняемые, признавая в общем виде свое участие в подпольной деятельности «московского центра», тем не менее не привели ни одного конкретного факта. Не было их и у обвинения. Какие-либо изобличающие подсудимых документальные или вещественные доказа-

тельства отсутствовали полностью. Все дело было построено на добытых следователями Ягоды и Вышинского признательных показаниях подсудимых.

На следующий день председательствующий Ульрих огласил приговор. В нем все обвиняемые признавались виновными в попытках организовать «контрреволюционный блок с различными антисоветскими группами в целях развернутой борьбы против Советской власти». Суд приговорил «главного организатора и наиболее активного руководителя подпольной контрреволюционной группы» Зиновьева к десяти годам лишения свободы, «менее активного» члена «московского центра» Каменева — к пяти годам. Немалые сроки получили и их подельцы.

Вместе с тем Военная коллегия Верховного суда СССР специально констатировала в приговоре:

«Судебное следствие не установило фактов, которые дали бы основания квалифицировать преступления членов «московского центра» в связи с убийством 1 декабря 1934 года тов. С. М. Кирова как подстрекательство к этому гнусному преступлению».

Казалось бы, вопрос решен однозначно и никаких сомнений не вызывает. Но нет: далее в приговоре утверждается, что члены «московского центра» знали о «террористических настроениях ленинградской группы и сами разжигали эти настроения».

Такая формула, как выяснилось впоследствии, имела далеко идущие цели. Она давала возможность продолжить уголовное преследование, что в конечном счете вновь привело на скамью подсудимых уже однажды осужденных. Но это уже сюжет другого судебного процесса.

5. ПЕРЕД КАЗНЬЮ: ПРОЦЕСС ВТОРОЙ

В ЗАСТЕНКАХ ГЕНРИХА ЯГОДЫ

После оглашения приговора по делу «московского центра» волна общественного возмущения происками «зиновьевцев» рванула на уровень девятого вала. По всей стране проходили шумные митинги, на которых принимались резолюции, требующие немедленной расправы с «недобитыми контрреволюционерами». Эти настроения еще более подогрело закрытое письмо ЦК ВКП(б) от 18 января 1935 года «Уроки событий, связанных со злодейским убийством тов. Кирова». В нем ответственность за это преступление прямо возлагалась на «зиновьевцев».

Несколько месяцев спустя на собрании партактива Ленинграда секретарь ЦК А. А. Жданов сообщил о том, что из городской партийной организации «вычищено» 7274 коммуниста, среди которых «заметное место занимают контрреволюционные зиновьевцы». Еще более значительные «успехи» оказались на счету Московского городского комитета партии. В докладе первого секретаря МГК и МК ВКП(б) Н. С. Хрущева на партактиве 30 декабря 1935 года с удовлетворением отмечалось, что в результате проверки удалось выявить большое число «троцкистов, зиновьевцев, шпионов, кулаков, белых офицеров». Причем из 9975 исключенных из партии основную часть, по словам Н. С. Хрущева, составляли «троцкисты» и «зиновьевцы».

Упоминание их в одном ряду со шпионами и белогвардейцами, как выяснилось, было не случайным. В июне 1936 года нарком внутренних дел Г. Г. Ягода и Прокурор СССР А. Я. Вышинский направили И. В. Сталину письмо, в котором ставили вопрос о проведении нового судебного процесса над Зиновьевым и Каменевым. На предыдущем процессе по делу «московского центра» они якобы скрыли свою подлинную роль в организации террора против руководителей ВКП(б).

Сталину, однако, замысел процесса показался недостаточно масштабным. И он дал указание привлечь к этому делу не только «зиновьевцев», но и «троцкистов». Так в кабинете генсека возник сценарий нового грандиозного судебного процесса по делу «объединенного троцкистско-зиновьевского центра».

Из мест заключения люди Генриха Ягоды немедленно доставили в Москву Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева, Г. Е. Евдокимова, И. П. Бакаева, осужденных по делу «московского центра». К ним добавили также отбывавших наказание в тюрьмах, лагерях и ссылках «троцкистов» С. В. Мрачковского, В. А. Тер-Ваганяна, И. Н. Смирнова. Не забыли и находившихся пока на свободе «оппозиционеров» Е. А. Дрейцера, И. И. Рейнгольда, Р. В. Пикеля, Э. С. Гольцмана. И наконец, на Лубянке оказались недавно прибывшие в СССР члены Компартии Германии Фриц-Давид (И.-Д. И. Круглянский), В. П. Ольберг, К. Б. Берман-Юрин, М. И. Лурье и Н. Л. Лурье.

Аресты этих лиц производились при отсутствии каких-либо фактических данных об их преступной деятельности. И это утверждение отнюдь не является выводом

автора настоящей пуоликации. Оно принадлежит преемнику Г. Г. Ягоды на посту наркома внутренних дел Н. И. Ежову и прозвучало на одном из совещаний Главного управления государственной безопасности НКВД в марте 1937 года. Здесь же «железный сталинский нарком» сообщил и о таком факте: «Следствие вынуждено ограничиваться тем, что нажимает на арестованного и из него выжимает».

В материалах дела сохранились документальные свидетельства и самих арестованных о том, как осуществлялся такой «нажим» на практике. Так, подследственный В. П. Ольберг после первых же допросов обратился к следователю с письменным заявлением:

«После Вашего последнего допроса 25.1. меня охватил отчего-то ужасный, мучительный страх смерти. Сегодня я уже несколько спокойнее. Я, кажется, могу оговорить себя и сделать все, лишь бы положить конец мукам. Но я не в силах возвести на самого себя поклеп и сказать заведомую ложь, т. е. что я троцкист, эмиссар Троцкого и т. д. Я приехал в Союз по собственной инициативе, теперь — в тюрьме уже — я понял, что это было сумасшествие...»

Первые допросы не принесли, однако, тех результатов, на которые рассчитывали в НКВД и выше. Тот же Ольберг, несмотря на сильнейший нажим следователя, тем не менее еще оказывал сопротивление. 28 января он обратился с новым заявлением:

«Очень прошу вызвать меня сегодня к себе. Кроме других вопросов, я хочу назвать имена лиц, которые смогут подтвердить мою невиновность в инкриминируемом мне обвинении».

Не признали своей причастности к террору и все другие доставленные на Лубянку «оппозиционеры». Тогда по приказу Ягоды к допросам подключился заместитель наркома внутренних дел Агранов. И дело сразу стало обрастать признательными показаниями. Теперь уже трудно точно установить, чем именно замнаркома так располагал обвиняемых к доверительным беседам. Известно лишь, что после первой же встречи с ним подследственные Дрейцер и Пикель незамедлительно признались в том, что «объединенный центр» действительно существовал и действовал на террористической основе. Эти показания были тут же использованы как средство давления на других подследственных. На очных ставках сами обвиняемые изобличали друг друга.

Но не все. Объявил голодовку Иван Никитич Смирнов, ветеран революционного движения, член партии с 1899 года. (В начале 20-х годов его рассматривали как достойную кандидатуру на пост ведущего секретаря ЦК.) Кровью своей из раны на руке подписал письмо Сталину старый большевик Вагаршак Арутюнович Тер-Ваганян:

«...Меня обвиняют в соучастии в подготовке террористических групп на основании показаний лиц, прямо причастных к этому делу. Люди эти клевещут, клевещут подло, мерзко, бесстыдно, их клевета шита белыми нитками, не стоит большого труда ее обнажить, мотив творцов этой лжи прозрачный. Тем не менее! Против этой очевидной лжи я бессилен... Клянусь священной памятью Ленина, я не имел никогда никакого отношения к террористическим речам и делам контрреволюционных бандитов...»

Тер-Ваганян дважды объявлял голодовку, причем второй раз — безводную. Но умереть ему не дали: в распоряжении следователя всегда находилось грубое, но достаточно эффективное средство — принудительное кормление. В конечном счете не выдерживали давления и самые стойкие.

К числу тех, кто пытался оказать сопротивление, не относился, кстати, Зиновьев — основной обвиняемый по этому делу. Сегодня трудно, а местами невозможно без потрясения читать его отчаянные письма из тюремной камеры Сталину.

«...В моей душе горит одно желание: доказать Вам, что я больше не враг. Нет того требования, которого я не исполнил бы, чтобы доказать это... Я дохожу до того, что подолгу пристально гляжу на Ваш и других членов Политбюро портреты в газетах с мыслью: родные, загляните же в мою душу, неужели же Вы не видите, что я не враг Ваш больше, что я Ваш душой и телом, что я понял все, что я готов сделать все, чтобы заслужить прощение, снисхождение...»

Любая попытка прокомментировать эти обжигающие строчки представляется излишней, а может быть, и безнравственной. Настолько личный характер они имеют. И даже простое воспроизведение небольшого фрагмента зиновьевского послания генсеку едва ли было бы оправданно, если бы оно не помогало в какой-то мере понять состояние подследственного, в котором он безропотно признал все предъявленные ему чудовищные обвинения, вплоть до последнего пункта.

Сейчас в печати появились сообщения о том, что Зиновьев и Каменев в ходе следствия получили от Сталина обещание в случае признательных показаний сохранить им жизнь. Особенно красочно этот сюжет описывается в художественной литературе. При оценке этих сообщений нельзя, разумеется, исключить, что подобный эпизод действительно имел место. Но поскольку документальными подтверждениями мы не располагаем, достоверным историческим фактом его считать нельзя.

КОНТРАСТЫ СКАМЬИ ПОДСУДИМЫХ

В начале августа 1936 года предварительное следствие по делу было закончено, и Вышинский по согласованию с Ягодой представил Сталину первый вариант обвинительного заключения. В архиве сохранился текст этого документа с собственноручными поправками генсека. Все они имеют одностороннюю направленность: усиливают обвинение, расширяют круг обвиняемых, подчеркивают их зарубежные связи. Именно Сталин поставил в обвинительном заключении последнюю точку.

Незадолго до суда по всем партийным организациям страны было разослано закрытое письмо ЦК ВКП(б) «О террористической деятельности троцкистско-зиновьевского блока». В нем прямо указывалось, что «Сергей Миронович Киров был убит по решению объединенного центра» этого блока. Кроме того, подчеркивалось, что центр «основной и главной задачей ставил убийство товарищей Сталина, Ворошилова, Кагановича, Кирова, Орджоникидзе, Жданова, Косиора, Постышева». Как показывает сохранившийся в архиве ЦК КПСС рабочий экземпляр закрытого письма, эти фамилии внесены в текст рукой Сталина. Тем самым судьба подсудимых была предрешена.

В такой обстановке в Москве начался открытый судебный процесс по делу «антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра». По случаю этого события состоялся митинг сотрудников Наркомата юстиции и Прокуратуры РСФСР. На нем была принята резолюция, лейтмотив которой громовым эхом прокатился по всей стране: «Враг должен быть уничтожен!» Обратим внимание: речь идет отнюдь не о невежественной в правовом отношении безликой толпе массовых митингов, понятия не имеющей о презумпции невиновности и других принципах цивилизованного правосудия. Опытнейшие

юристы Наркомата юстиции и прокуратуры вопреки основополагающим нормам конституционного права задолго до вынесения приговора (!) требовали расправы над обвиняемыми.

19 августа 1936 года Военная коллегия Верховного суда СССР приступила к слушанию дела. Процесс проходил в Октябрьском зале Дома союзов в Москве. В 12 часов 10 минут председательское место за судейским столом занял армвоенюрист В. В. Ульрих. Рядом с ним члены коллегии корвоенюрист И. А. Матулевич и диввоенюрист И. Т. Никитченко. Слева от судейского стола уверенно расположился государственный обвинитель А. Я. Вышинский. Напротив, за низким деревянным барьером — скамья подсудимых. Внимательный взгляд наверняка заметит, что основных обвиняемых — хорошо известных в партии и стране бывших членов Политбюро, секретарей ЦК, наркомов Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева, Г. Е. Евдокимова, И. Н. Смирнова, С. В. Мрачковского — разместили на ней вперемешку с никому доселе неведомыми Дрейцером, Пикелем, Берманом-Юриным, однофамильцами Лурье... Такое размещение было отнюдь не случайным и хорошо продуманным. Оно существенным образом затрудняло, если не полностью исключало какое бы то ни было общение подсудимых в ходе судебного разбирательства.

Была и более основательная причина для подобной комбинации. Объединение в одном процессе крупных политических фигур и малоизвестных, второстепенных лиц прием хорошо известный и отработанный в истории не только отечественной, но и мировой юстиции. На данном же суде второстепенные лица обвинялись в том, что по заданию Троцкого они прибыли в СССР не только для связи с «центром», но и для осуществления непосредственно террористических акций. Это обвинение неизбежно давило и на их содельцев — крупных политических деятелей.

На процессе присутствовало более тридцати иностранных корреспондентов. По их описанию, все подсудимые «выглядели бледными и измотанными». И особенно Зиновьев, вдруг сразу постаревший, с одутловатым лицом и большими отечными мешками под глазами.

На вопрос председательствующего, желают ли подсудимые иметь защитников, все единодушно ответили отрицательно — верный признак смещения акцентов процесса с юридической в политическую плоскость.

После оглашения пространного обвинительного заключения прозвучал еще один обязательный вопрос председательствующего к подсудимым: признают ли они себя виновными? Длинной чередой последовали стереотипные ответы:

— Да, признаю полностью.

Этот ответ с несущественными вариациями повторился четырнадцать раз. И лишь Смирнов и Гольцман нарушили монотонные, безвольные, безучастные ответы. Иван Никитич Смирнов, которого некогда называли «сибирским Лениным», хотя и признал свое участие в подпольной троцкистской организации, категорически отверг обвинение в организации актов террора. Эдуард Соломонович Гольцман, член партии с 1903 года, признал лишь факты передачи «центру» инструкции Троцкого, участие же в террористических акциях решительно отрицал.

Для опровержения показаний Смирнова Вышинский одного за другим поднимает со скамьи за барьером обреченных подсудимых.

Встает Зиновьев:

— Разница между нами в том, что я решил твердо и до конца в эту последнюю минуту сказать всю правду, между тем как Смирнов принял, как видно, другое решение.

Поднимается Каменев:

— Это смешные увертки, создающие только комическое впечатление.

Вскакивает Дрейцер:

— Я удивлен заявлениями Смирнова, который, по его словам, одновременно и знал и не знал, и говорил и не говорил, и действовал и не действовал. Это неправда.

Вышинский обращается к Смирнову:

— Когда вы покинули «центр»?

— У меня не было намерения покидать, не было что покидать.

— «Центр» существовал?

— Какой там «центр»?!

Заканчивать на этой ноте Вышинскому, разумеется, не хотелось. И он поднимает других подсудимых, сломленных и сдавшихся:

— Мрачковский, «центр» был?

— Да.

— Зиновьев, «центр» был?

— Был.

— Евдокимов, «центр» был?

— Да.

— Бакаев, «центр» был?

— Да.

— Ну что, Смирнов,— с торжествующей интонацией в голосе обращается к нему Вышинский,— будете и теперь продолжать настаивать, что «центра» не было?

Иван Никитич Смирнов промолчал. Но когда товарищи по скамье подсудимых стали называть его «заместителем Троцкого в СССР», он не выдержал:

— Вы хотите вождя? Ну что ж, возьмите меня.

Другого примера столь мужественного поведения подсудимого на этом процессе не найти.

Полностью утратил самообладание Зиновьев. В первый же день процесса он принял на себя не только моральную и политическую, но и уголовную ответственность за убийство Кирова, подготовку других актов террора. Характерен в этом отношении следующий фрагмент его допроса Вышинским.

— В чем выражалась деятельность «центра»?

— Главное заключалось в подготовке террористических актов против руководства партии и правительства.

— Против кого?

— Против руководителей.

— То есть против Сталина, Ворошилова, Кагановича?

Опустив голову, Зиновьев молчит.

— Было ли организовано убийство Сергея Мироновича Кирова вашим «центром» или какой-нибудь другой организацией? — продолжает допрос Вышинский.

— Да, нашим «центром».

— В этом «центре» были вы, Каменев, Смирнов, Мрачковский, Тер-Ваганян?

— Да.

— Значит, вы организовали убийство Кирова?

— Да.

Несколько большую стойкость в начале процесса проявил Каменев. Он отверг, в частности, попытки Вышинского инкриминировать «центру» намерение физически устранить потенциальных свидетелей «заговора». Однако в дальнейшем Каменев не удержался на этой хоть в какой-то мере самостоятельной позиции. Чего стоит, например, его заявление по поводу подготовки убийства Кирова:

— Я не знал, как практически шла эта подготовка, потому что практическое руководство по организации этого террористического акта осуществлял не я, а Зиновьев.

Не станем давать моральную оценку этому заявлению. Право на нее имеет лишь тот, кто сам прошел через подобные испытания и выдержал их с честью. Отметим только в порядке констатации факта, что и другие обвиняемые держались не тверже.

ПАФОС ОБВИНИТЕЛЯ

Тем временем государственный обвинитель Вышинский с благородным негодованием в голосе патетически восклицал с судебной трибуны:

— В мрачном подполье Троцкий, Зиновьев и Каменев бросают подлый призыв: убрать, убить! Начинает работать подпольная машина, оттачиваются ножи, заряжаются револьверы, снаряжаются бомбы...

Мысленно прервем на мгновение поток прокурорского красноречия. И зададим простейший вопрос: а где же они, эти бомбы, револьверы, ножи? Равно как и покушения, выстрелы, взрывы? Единственный упоминавшийся на процессе револьвер фигурировал отнюдь не в виде вещественного доказательства, а опять же в признательных показаниях. По словам Н. Л. Лурье, во время одного из его приездов в Москву для совершения террористического акта этот револьвер был украден вместе с чемоданом. Других следов оружия, которым должна была располагать группа людей, пытавшихся на протяжении четырех лет совершить какой-либо террористический акт, в материалах дела нет.

А вот хроника неудавшихся покушений, как она фигурировала на процессе. Она любопытна прежде всего причинами неудач.

Берман-Юрин на XIII Пленуме Коминтерна собирался совершить покушение на Сталина, но... не достал входной билет.

Натан Лурье готовил покушение на Ворошилова и даже с двумя вооруженными соучастниками занял боевую позицию на пути следования автомобиля наркома, но... машина двигалась слишком быстро.

Тогда незадачливый террорист отправился в Ленинград с намерением во время первомайских праздников покончить со Ждановым, но... оказался слишком далеко от трибуны.

А чего стоит уже приводившийся эпизод с кражей револьвера! Он тоже, оказывается, явился причиной очередной неудачи тщательно спланированного преступления.

У суда не было ни малейших объективных данных для положительной оценки достоверности такого рода показаний в рамках предусмотренной законом процедуры, поскольку решительно никаких материальных следов подготовляемых преступлений в деле не оказалось. Впрочем, суд и не стремился выяснить этот вопрос.

Казалось, все идет, как предусматривалось судебным сценарием: подсудимые дружно признаются в самых невероятных злодеяниях, обвинитель с неподражаемым пафосом клеймит позором и обзывает их самыми непотребными словами, публика в зале безмолвно внимает каждому слову действующих лиц судебной драмы. И лишь однажды в стройном ансамбле голосов явственно послышалась ложная нота.

Она прозвучала во время допроса подсудимого Гольцмана. Он признал, что в 1932 году встречался за рубежом со старшим сыном Троцкого Львом Седовым. В ответ на уточняющий вопрос Вышинского Гольцман сообщил, что названная встреча состоялась в копенгагенском отеле «Бристоль». Лишь только эти показания были опубликованы, как из датской столицы пришло сокрушительное для обвинения сообщение: отель с таким названием снесен еще в 1917 году. Более того, как выяснилось впоследствии, во время так называемой «встречи» с Гольцманом Седова не было не только в Копенгагене, но и вообще в Дании. В эти самые дни он сдавал экзамены в технической школе в Берлине, что зафиксировано документально.

Но все это стало известно лишь позднее. А пока Вышинский с пафосом держал свою обвинительную речь:

— Зиновьев и Каменев на ленинградском процессе 15—16 января разыграли очень неплохо одну из сцен своей коварной, вероломной маскировки... пытались обмануть нас, обмануть суд и всю страну, доказывая, что они никакого отношения не имеют к убийству Сергея Мироновича Кирова. Так же, как сейчас, буквально теми же словами, что и вчера, Зиновьев и Каменев тогда клялись в том, что они говорят правду. Можно сказать, что процесс 15—16 января 1935 года для Каменева и Зиновьева был своего рода репетицией нынешнего процесса, которого они, может быть, не ожидали, но от которого они, как от судьбы, не ушли.

В этой речи Вышинский, видимо, ощущая явный дефицит фактических данных, поставил в вину Каменеву даже его предисловие к книге Макиавелли. В нем под-

судимый осмелился назвать средневекового мыслителя «мастером политического афоризма и блестящим диалектиком». Тяжкое преступление!

И того больше досталось Зиновьеву. Вышинский пространно цитировал написанный подсудимым некролог на смерть Кирова и вдруг драматически вознес руки к небу:

— Злодей, убийца оплакивает свою жертву! Где и когда еще происходило что-либо подобное!

Таких восклицаний в речи Вышинского было немало. И, надо сказать, они производили впечатление. Разумеется, не на судей, которые обязаны были следовать объективным фактам, а не патетическим эмоциям. Но на них они и не были рассчитаны. Восклицательные знаки, которыми щедро украшал свою обвинительную речь Вышинский, предназначалась публике в зале, а через нее — общественному мнению страны.

К судьям же государственный обвинитель обратился в совсем иной тональности:

— Я позволю себе напомнить о вашей обязанности, признав этих людей, всех, виновными в государственных преступлениях, применить к ним в полной мере и те статьи закона, которые предъявлены им обвинением.

Вдумаемся в смысл этой тирады: государственный обвинитель говорит ни более и ни менее как об «обязанности» (!) суда признать подсудимых виновными. Это редчайший в судебной практике Вышинского случай, когда он допустил столь очевидный юридический промах. Ведь сама идея правосудия предполагает независимость суда, что полярно противоположно возложению на него такого рода «обязанности», на которой настаивал государственный обвинитель. В связи с этим очевидным противоречием неизбежно возникает вопрос: а кто же персонально вопреки закону возложил на суд под председательством Ульриха (ведь именно к нему обращался Вышинский) обязанность вынести обвинительный приговор? Разумеется, вопрос этот риторический. Но не отражает ли невольный промах государственного обвинителя реального факта давления на суд?

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Сегодня, много десятилетий спустя после того памятного процесса, появилась наконец возможность ответить на этот вопрос. Как установлено Комитетом партийного контроля при ЦК КПСС, Прокуратурой СССР и

КГБ СССР, «Л. М. Кагановичу, замещавшему И. В. Сталина на время его отпуска, неоднократно представлялись на согласование составленные до окончания судебного заседания председателем Военной коллегии Верховного суда СССР В. В. Ульрихом различные варианты проектов приговора по делу. После рассмотрения Л. М. Кагановичем последнего варианта приговора в него были вновь внесены поправки».

Этот документально установленный компетентной комиссией факт дает наглядное представление и о степени «независимости» суда, и о характере возложенной на него «обязанности», и о действующих лицах этой закулисной сделки.

Обратим внимание: проект приговора вопреки категорическому предписанию уголовно-процессуального закона был составлен не в совещательной комнате суда, а в кремлевском кабинете, и отнюдь не после судебного совещания, а задолго до его окончания. Поэтому вся последующая процедура уже не имела ни смысла, ни значения. Но этого подсудимые знать не могли. Поэтому еще надеялись на снисхождение.

Из последнего слова подсудимого Зиновьева:

— Партия видела, куда мы идем, и предостерегала нас. В одном из своих выступлений Сталин подчеркнул, что эти тенденции среди оппозиции могут привести к тому, что она захочет силой навязать партии свою волю. Но мы не внимали этим предупреждениям... Мой искаженный большевизм превратился в антибольшевизм, а через троцкизм я пришел к фашизму...

Последнее слово предоставляется подсудимому Каменеву:

— В третий раз я предстал перед пролетарским судом... Дважды мне сохранили жизнь. Но есть предел великодушию пролетариата, и мы дошли до этого предела...

Закончив выступление, Каменев попросил у суда разрешения обратиться с несколькими словами к своим детям. Ульрих согласно кивнул.

— Какой бы ни был мой приговор, я заранее считаю его справедливым. Не оглядывайтесь назад. Идите вперед. Вместе с советским народом следуйте за Сталиным.

Здравицы в честь Иосифа Виссарионовича провозгласили и другие подсудимые. И лишь Иван Никитич Смирнов снова отрицал свое участие в актах террора. Не было в его устах и славословий в адрес Сталина. Троцкого

же подсудимый назвал врагом, стоящим «по ту сторону баррикады».

После вечернего заседания 23 августа суд удалился на совещание. Оглашение приговора ожидалось к полудню следующего дня. Однако еще глубокой ночью подсудимые снова были доставлены в Октябрьский зал Дома союзов. В 2 часа 30 минут Ульрих огласил приговор. Все подсудимые признавались виновными по ст. 58—8 (совершение террористических актов) и ст. 58—11 (организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению контрреволюционных преступлений) Уголовного кодекса РСФСР. Все приговаривались к высшей мере так называемой социальной защиты — расстрелу с конфискацией всего лично им принадлежащего имущества.

По закону осужденные к смертной казни имели право в течение 72 часов обратиться в Президиум ЦИК СССР с ходатайством о помиловании. Не воспользовался такой возможностью один лишь Иван Никитич Смирнов.

Президиум ЦИК проявил исключительную оперативность, и немногим более суток спустя после оглашения приговора появилось официальное сообщение о приведении его в исполнение. Зиновьева люди Ягоды несли на расстрел на носилках. До последнего мгновения он просил свидания со Сталиным, молил о пощаде. Каменев не просил ни о чем и принял смерть молча. Спокойно и твердо держался Смирнов. Рассказывают, что перед казнью он произнес: «Мы заслуживаем этого за наше недостойное поведение на суде».

Не станем упрощать историю, исправлять, а тем более канонизировать главных подсудимых, проходивших по этому делу. Тот же Зиновьев несет тяжкую ношу исторической ответственности за массовые репрессии в Петрограде. Из памяти людей не вытравить трагические факты произвольных арестов и преступных расстрелов заложников, проводившихся с санкции тогдашнего всесильного председателя Петроградского Совета. Но не за это отвечал Зиновьев на процессе 1936 года. Тогда о его собственном участии в репрессиях никто и не вспоминал, ведь такого рода акции в те годы впору было поставить не в вину, а в заслугу. Его истинная вина осталась за пределами судебного процесса, а сам он пал жертвой тех же методов расправы без доказанных юридических оснований, к которым неоднократно прибегал и сам.

Но не забудем и другое. Не кто иной, как Каменев, на XIV съезде партии осмелился открыто заявить:

«Я пришел к убеждению, что товарищ Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба... Мы против теории единоначалия, мы против того, чтобы создавать вождя!»

Согласитесь, подобные слова в глаза всемогущему генсеку — это нечто совершенно иное, чем наши сегодняшние бесстрашие и безудержные попытки разоблачить никому более не опасного Сталина. Тогда же после этого заявления Каменев был обречен. С этого мгновения начинается его неуклонное скольжение вниз — к последнему подвалу Ягоды на Лубянке.

6. ДЕЛО «ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ЦЕНТРА»

ТРАГЕДИЯ ЮРИЯ ПЯТАКОВА

У каждого события, помимо фактической стороны, есть и сторона нравственная. Уникальным примером этой очевидной истины может служить яркая и трагическая судьба Юрия Пятакова — одного из весьма немногих членов ЦК, которых Ленин упомянул в своем политическом завещании наряду со Сталиным, Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Бухариным. «Пятаков — человек несомненно выдающейся воли и выдающихся способностей,— писал Ильич,— но слишком увлекающийся администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом вопросе». Соответственно этой характеристике Пятакову всегда поручали дела, требующие максимальной концентрации воли, которая могла подавить не только сопротивление подлинных или мнимых врагов, но и собственные нравственные сомнения...

В конце гражданской войны после изгнания белых из Крыма была объявлена регистрация бывших офицеров. Им обещали амнистию и работу. Множество молодых людей, лишь совсем недавно по врангелевской мобилизации сменивших студенческую форму на офицерский мундир, доверчиво явились на регистрационные пункты. Но по решению чрезвычайной «тройки» под председательством Пятакова все они были вывезены за город и расстреляны из пулеметов.

Председательствовал Пятаков и на первом из длинной серии так называемых показательных судебных процессов — по громкому делу правых эсеров в 1922 году. И снова оправдал доверие ЦК.

Поэтому когда при назначении обвинителя на процесс Зиновьева и Каменева выбор пал на Пятакова, все восприняли это как должное: непримиримость его к «врагам народа» была общеизвестна. Вскоре, однако, это решение было отменено. Поводом к столь неожиданному повороту событий послужили показания некоего Н. В. Голубенко, который на допросе в Киеве сообщил, что Пятаков руководил украинским троцкистским центром. Ежов тут же проинформировал об этом Сталина. Едва ли не одновременно с этим последовал новый удар — в ночь с 27 на 28 июля 1936 года была арестована жена Пятакова, у которой изъята обширная переписка и другие материалы мужа. Это уже был сигнал тревоги.

Наглядное представление о дальнейших событиях дает сохранившаяся в архивах собственноручная записка Ежова.

«Тов. Сталину.

Пятакова вызвал. Сообщил ему мотивы, по которым отменено решение ЦК о назначении его обвинителем на процессе троцкистско-зиновьевского террористического центра. Зачитал показания Рейнгольда и Голубенко. Предложил выехать на работу начальником Чирчикстроя.

Пятаков на это реагировал следующим образом:

1. Он понимает, что доверие ЦК к нему подорвано. Противопоставить показаниям Рейнгольда и Голубенко, кроме голых опровержений на словах, ничего не может. Заявил, что троцкисты из ненависти к нему клевещут, Рейнгольд и Голубенко — врут.

2. Виновным себя считает в том, что не обратил внимания на контрреволюционную работу своей бывшей жены и безразлично относился к встречам с ее знакомыми. Поэтому решение ЦК о снятии с поста замнаркома и назначении начальником Чирчикстроя считает абсолютно правильным. Заявил, что надо было наказать строже.

3. Назначение его обвинителем рассматривал как акт огромного доверия ЦК и шел на это «от души». Считал, что после процесса, на котором он выступит в качестве обвинителя, доверие ЦК к нему укрепится, несмотря на арест бывшей жены.

4. Просит предоставить ему любую форму (по усмотрению ЦК) реабилитации. В частности, от себя вносит предложение разрешить ему лично расстрелять всех приговоренных к расстрелу по процессу, в том числе и свою бывшую жену. Опубликовать это в печати.

Несмотря на то что я ему указал на абсурдность его

предложения, он все же настойчиво просил сообщить об этом в ЦК...

11/VIII—36 г. Ежов».

Как видим, Пятаков избрал необычный способ защиты. Во всяком случае, среди многочисленных трагических документов прошлого нам не удалось найти ни единого, в котором бы содержались подобные предложения. Теперь уже никто не расскажет, какие нравственные страдания выпали на долю этого человека, преступившего незримый рубеж, за которым начинается моральная изоляция.

Много лет голос Пятакова неизменно звучал всякий раз, когда на политическом горизонте страны возникала тень «врагов народа». Не смолк он и сейчас. Еще продолжается процесс Зиновьева и Каменева, еще не закончено судебное следствие, не заслушаны все показания, не начались судебные прения, а Пятаков уже выступает с публичным заявлением в «Правде»:

«Не хватает слов, чтобы полностью выразить свое негодование и омерзение. Это люди, потерявшие последние черты человеческого облика. Их нужно уничтожать, как падаль, заражающую чистый, бодрый воздух Советской страны, падаль опасную, могущую причинить смерть нашим вождям и уже причинившую смерть одному из самых лучших людей нашей страны — такому чудесному товарищу и руководителю, как С. М. Киров».

В заявлении Пятакова нашлось место и славословию в адрес НКВД:

«Хорошо, что органы НКВД разоблачили эту банду. Хорошо, что ее можно уничтожить,— честь и слава работникам НКВД!»

Если бы автор этого восклицания мог предвидеть свою собственную участь...

Уже на следующий день после публикации заявления Прокурор СССР Вышинский сообщил о том, что им отдано распоряжение начать расследование в отношении Пятакова и некоторых других лиц.

Привлечение к уголовной ответственности члена ЦК не могло быть осуществлено без согласия Политбюро. Поэтому неизбежно возникает вопрос: каковы же подлинные причины выдачи Пятакова на расправу НКВД? Ведь его высоко как специалиста и организатора производства ценил Сталин. К нему дружески относился Орджоникидзе, фактически передавший руководство Наркоматом тяжелой промышленности своему первому за-

местителю. Пятаков никогда не стремился к политической власти, поэтому не мог представлять опасности для тех, кто ее имел. Правда, в 20-х годах он входил в состав троцкистской оппозиции, однако давно порвал со своим прошлым, публично отрекся от троцкизма и с тех пор неизменно разделял и поддерживал сталинскую «генеральную линию партии».

Все эти факты биографии Пятакова, как видим, не дают ответа на вопрос о подлинных причинах уголовного преследования. Быть может, подлинного ответа мы не узнаем никогда. И тем не менее достоянием истории стал один характерный эпизод, который дает повод если не для однозначного утверждения, то, во всяком случае, для обоснованного предположения.

Из донесения НКВД Сталину стало известно высказывание Пятакова в узком кругу друзей: «Я не могу отрицать, что Сталин является посредственностью и что он не тот человек, который должен бы стоять во главе партии; но обстановка такова, что, если мы будем продолжать упорствовать в оппозиции Сталину, нам в конце концов придется оказаться в еще худшем положении: наступит момент, когда мы будем вынуждены повиноваться какому-нибудь Кагановичу. А я лично никогда не соглашусь подчиняться Кагановичу!»

Подобных высказываний Сталин не прощал.

ТАЙНА ПРИЗНАТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ

10—11 сентября 1936 года путем опроса членов Центрального Комитета ВКП(б) принимается решение о выводе Ю. Л. Пятакова из состава ЦК и исключении из партии. Несколько часов спустя ему предъявляется подписанный Вышинским ордер на арест.

Так возникло дело «параллельного антисоветского троцкистского центра». Как докладывал Ежов в Политбюро, эта глубоко законспирированная организация создавалась в качестве резервной структуры «объединенного троцкистско-зиновьевского центра». По его сообщению, во главе «параллельного центра» наряду с Ю. Л. Пятаковым стояли и другие видные деятели партии и государства. В их числе бывший кандидат в члены Политбюро Г. Я. Сокольников; бывший член Оргбюро, секретарь ЦК и секретарь Президиума ВЦИК Л. П. Серебряков; бывший секретарь Исполкома Коминтерна К. Б. Радек. К этой основной группе обвиняемых по признаку личных и

служебных отношений присоединили еще 13 человек. Вскоре наименее стойкие из них стали давать признательные показания. Для непосвященных производство по делу стало приобретать некоторую видимость юридической процедуры.

Между тем тайну признательных показаний надежно хранили лубянские подвалы. Первый слабый луч осветил эту тайну два года спустя, когда за должностные преступления был арестован заместитель наркома внутренних дел СССР М. П. Фриновский. В своих показаниях он отметил, что лица, проводившие следствие по делу «параллельного антисоветского троцкистского центра», начинали допросы, как правило, с применения физических мер воздействия, которые продолжались до тех пор, пока подследственные не давали навязываемых им показаний.

Показания замнаркома дополнили в 1961 году своими объяснениями бывшие сотрудники НКВД Л. П. Газов, Я. А. Иорш, А. И. Воробин, имевшие прямое отношение к расследованию дела «параллельного антисоветского троцкистского центра». По их словам, к арестованным широко применялись ночные изнурительные по продолжительности допросы с использованием так называемой «конвейерной системы» и многочасовых стоек.

Юрий Пятаков держался тридцать три дня. В течение этого мучительно долгого в условиях непрерывных допросов времени он вообще отказывался разговаривать со следователями. И лишь беседа с ним Орджоникидзе все решительно изменила. Пятаков стал давать показания. Он признал факт существования «параллельного троцкистского центра», свое участие в нем, приверженность террористическим средствам борьбы. Он признал все, что требовали от него люди Ежова.

История не сохранила достоверных сведений о содержании беседы Орджоникидзе с Пятаковым. Известно лишь, что их встреча состоялась с глазу на глаз в здании НКВД на Лубянке. Хочется думать, что Серго Орджоникидзе искренне боролся за жизнь своего друга и заместителя по Наркомтяжпрому. Есть сведения о том, что он добился у Сталина согласия на исключение из списка участников процесса жены Пятакова и его личного секретаря Москалева. Что же касается самого Пятакова... Здесь член Политбюро, видимо, оказался бессилен.

Трудно предположить, что Орджоникидзе в данном случае выступал адептом Сталина и вел беседы с подследственным по поручению генсека с провокационной

целью вырвать ложные показания. Такое предположение противоречило бы репутации открытого, честного, принципиального большевика, которую всегда имел в партийной среде «пламенный Серго». Скорее он сам пал жертвой заблуждения. Есть некоторые основания полагать, что во время встречи с Пятаковым Орджоникидзе от имени Сталина гарантировал ему жизнь в случае, если он в интересах партии выйдет на процесс с полным признанием и разоблачением «центра».

Когда же выяснилось, что такого рода гарантия — не более чем лукавая уловка, Орджоникидзе не мог не воспринять это как личную нравственную трагедию. Ведь в сложившейся ситуации он неизбежно должен был возложить на себя бремя ответственности за судьбу доверившегося ему человека, тяжесть невольной вины перед ним. Такого бремени Орджоникидзе не вынес. Спустя несколько дней после вынесения приговора он покончил жизнь самоубийством.

Не беремся утверждать, что между этими двумя событиями существует однозначная причинно-следственная связь. Быть может, это лишь случайное совпадение по времени. Но для объективной оценки исторических фактов и такое предположение имеет право на существование. Несомненно, у Орджоникидзе были и другие причины добровольно уйти из жизни. Однако в тугом узле этих причин нельзя исключить и трагедию несдержанного слова.

ПОДСЛЕДСТВЕННЫЙ КАРЛ РАДЕК

Колоритнейшей фигурой среди обвиняемых по делу «параллельного центра», несомненно, был Карл Радек. Блестящий полемист, остроумный оратор, эрудит и интеллектуал, он пользовался широкой известностью не только внутри страны, но и за рубежом как один из лидеров Исполкома Коминтерна. Впрочем, все это парадоксальным образом сочеталось в нем с некоторыми личностными чертами совершенно иного свойства. По воспоминаниям современников, среди большевистской «старой гвардии» он не пользовался особым уважением, «старые большевики считали его не особенно серьезным человеком. Хотя он и вращался в среде выдающихся деятелей нашей эпохи, ни для кого не было секретом, что ему присущи чрезмерная болтливость, склонность к хвастовству и нелепому фиглярничеству. В речах и докладах он имел

обыкновение удаляться от темы и разглагольствовать о своей персоне. При этом в погоне за популярностью он начинал потешать аудиторию неуместными шутками не всегда приличного свойства. Эти дешевые приемы, впрочем, снискали ему популярность, однако не среди партийной верхушки, а в кругах молодых партийцев и комсомольцев».

В середине 20-х годов Карл Радек активно поддерживал Троцкого. После разгрома оппозиции отправился в сибирскую ссылку. Оттуда обратился в ЦК с заявлением о раскаянии и готовности все силы положить во имя торжества «генеральной линии». Отныне не было у Троцкого более яростного и шумного противника, чем Радек. Предатель, прихвостень, Иуда — это еще не самые сильные выражения, которыми он награждал своего бывшего кумира — лидера оппозиции. Немало словесных помоев выплеснул на Троцкого бывший троцкист, но еще больше елея на Сталина. Однако это не помогло. Старых грехов генсек не забывал.

Оказавшись в подземелье внутренней тюрьмы НКВД, Радек поначалу держался на удивление твердо. По непроверенным данным, он нашел в себе силы некоторое время сопротивляться даже в условиях так называемого «следственного конвейера». Тогда ему устроили очную ставку с Сокольниковым, который сдался сразу, как только следователи Ежова намекнули на возможность расправы с женой и сыном. Протокол очной ставки не дает возможности реконструировать содержание разговора двух обвиняемых в кабинете следователя. В нем отмечено лишь, что в ответ на заданные ему вопросы Сокольников свою личную вину признал полностью и указал на Радека как на активного деятеля «параллельного центра». Реакция Радека протокольно не зафиксирована, из чего можно сделать вывод, что она была негативной.

Пример Сокольникова был для него недостаточен. Карл Радек стремился получить надежные гарантии сохранения жизни. Только при этом условии он готов был подписать признательные показания. Из тюремной камеры Радек неоднократно писал Сталину. Просил о личной встрече. По имеющимся сведениям, такая встреча состоялась. Генсек специально для этого случая прибыл в здание НКВД и имел продолжительную беседу с подследственным в присутствии Ежова. Содержание этой беседы не известно, но ее общую направленность можно представить, если принять во внимание результат — Карл Радек

немедленно обнаружил желание всемерно сотрудничать со следствием и давать все необходимые показания.

Из протокола допроса обвиняемого К. Б. Радека 4 декабря 1936 года:

«...Я выбираю путь откровенного признания фактов, которые я отрицал из чувства стыда за совершенные преступления перед партией и страной. Я признаю себя виновным в принадлежности на день моего ареста к действующему параллельному центру троцкистско-зиновьевского блока, созданного в 1932 году по директиве Троцкого и ставившего своей задачей захват власти путем террористической борьбы с руководством ВКП(б) и Советского правительства...»

Карл Радек оказал серьезные услуги следствию. Его неистощимая фантазия рождала такие сюжетные линии, перед которыми меркли самые смелые следственные версии. По свидетельству одного из ответственных сотрудников НКВД того периода, А. Орлова, «Радек сделался личным консультантом Ежова по совершенствованию легенды о заговоре». Это с его подачи в фабуле дела появился эпизод о передаче им через гитлеровского дипломата предложения «параллельного центра» германскому правительству о переговорах по поводу территориальных уступок. Это Карл Радек предложил версию о переговорах Сокольникова по тому же вопросу с японским дипломатом, которую вынужден был признать бывший заместитель наркома иностранных дел. Радеку же была доверена пожалуй, самая сложная тактическая задача следствия — добиться признательных показаний Николая Муралова, героя гражданской войны, бывшего командующего Московским военным округом. Более семи месяцев непоколебимо стоял этот человек под сокрушающим давлением следователей, упорно отрицая свою вину, отказываясь оговаривать своих товарищей по партии. А здесь не выдержал. Что говорил, какие аргументы приводил в пользу признательных показаний Карл Радек Николаю Муралову во время организованных следователем личных встреч двух арестованных во внутренней тюрьме НКВД, мы не узнаем, видимо, никогда. Известно лишь, что после этих встреч несокрушимый доселе герой гражданской войны покорно подписал протокол допроса с признанием в совершении многочисленных тяжких преступлений.

СУДЕБНЫЙ ДЕМАРШ ТРОЦКОГО

Итак, признательные показания получены, начинается непосредственная подготовка к судебному процессу. Было составлено три варианта обвинительного заключения. Каждый из них направлялся для просмотра лично Сталину. В сопроводительном письме от 9 января 1937 года, подписанном Н. И. Ежовым и А. Я. Вышинским, читаем:

«Направляем переработанный согласно Ваших указаний проект обвинительного заключения по делу Пятакова, Сокольникова, Радека и других...»

Окончательный проект этого процессуального документа отредактирован Сталиным собственноручно. Уже одного этого факта с юридической стороны достаточно для того, чтобы признать незаконной всю последующую судебную процедуру. Ведь независимость прокуратуры и ее исключительные полномочия в части определения объема и характера обвинения — безусловные требования закона.

Однако это нарушение оказалось отнюдь не самым грубым. Дальнейшие события явили образцы бесцеремонного попрания законности.

23 января 1937 года в Октябрьском зале Дома союзов началось слушание дела «параллельного антисоветского троцкистского центра». Заседание открыл председатель Военной коллегии Верховного суда СССР В. В. Ульрих. Обвинение поддерживал Прокурор Союза ССР А. Я. Вышинский.

Первым для дачи показаний вызывается Юрий Пятаков. Со скамьи подсудимых поднимается высокий, худой человек с редкими прядями бесцветных волос и близоруким прищуром глаз. Он принимает на себя ответственность за организацию вредительства в различных отраслях промышленности. Однако в чем конкретно это проявляется? Вот характерные фрагменты из показаний Пятакова:

— Прежде всего, был составлен совершенно неправильный план развития военно-химической промышленности...

Но ведь этот план рассматривался и утверждался высшим руководством страны. Так кому же отвечать?

— ...Работа (вредительская.— *В. К.*) состояла в основном во вводе в эксплуатацию негодных коксовых печей...

Вот это действительно имело место. Многочисленные

недоделки при вводе в эксплуатацию промышленных объектов и сегодня, как и десятилетия назад, составляют неотъемлемый элемент нашей системы хозяйства. Однако не умышленные вредительские действия тому причиной. Уже в те времена по каждому такому факту создавались компетентные комиссии, которые рассматривали их как результат нарушений производственной и технологической дисциплины, низкого качества работы. В иных случаях, быть может, и за это надо судить. Но не по статье же о вредительстве! Советское уголовное законодательство всегда предусматривало ответственность за хозяйственные и должностные преступления. Однако на данном процессе о такого рода общеуголовных «мелочах» речь даже не шла. Решающее значение имел политический смысл процесса. Провалы в экономике — результат вредительской деятельности враждебных социализму группировок. Только такая постановка вопроса удовлетворяла руководство страны. А значит, и Ульриха, возглавлявшего «пролетарский суд», и Вышинского, поддерживающего государственное обвинение.

— За последнее время,— продолжал между тем подсудимый Пятаков,— вредительство приобрело новые формы. Несмотря на то, что завод с двух-трехлетним опозданием начал переходить к эксплуатационному периоду, Марьясин создал невыносимые условия работы, создал склоку...

Так безвестный склочник Марьясин нашел новую форму вредительства. И, надо сказать, немало в этом преуспел: виртуозов склоки несть числа и в наши дни. Только теперь за это не судят. А тогда же склочный характер Марьясина неизбежно подводил его под статью о вредительстве.

Прервем на этом показания Пятакова. Все остальные его покаянные признания были того же рода. Но как только государственный обвинитель касался конкретных эпизодов контрреволюционной деятельности, подсудимый словно стряхивал с себя тяжелое оцепенение, и присутствовавшие на короткое мгновение могли снова видеть некогда несгибаемого большевика Юрия Пятакова.

— Теперь вы припоминаете разговор с Ратайчаком о шпионаже? — расставляет сети Вышинский.

— Нет, я это отрицаю.

— А с Логиновым?

— Это я тоже отрицаю.

— Но эти члены вашей организации были связаны

с иностранными разведками? — не отступает обвинитель.

— Что касается факта существования таких связей, я этого не отрицаю; но что я знал, что были установлены...

Подсудимый не закончил фразу. Но мысль ясна. Пятаков готов принять на себя ответственность в самой общей форме; когда же речь заходит о конкретных фактах шпионской, террористической, вредительской деятельности, подсудимый твердо произносит «нет». Такой способ защиты можно было бы признать достаточно эффективным, поскольку суд обязан вынести решение именно на основе конкретных фактов, а не общих рассуждений. Однако эта посылка верна лишь для подлинного правосудия, когда во внимание принимаются только материалы дела, а не указания властей предержащих. Здесь же, в Октябрьском зале Дома союзов, в январе 1937 года ситуация была иной.

Лишь однажды подсудимый отступил от избранной им линии защиты. Речь идет об одном из центральных эпизодов обвинения — встрече Пятакова с Троцким в Норвегии. Подсудимый подтвердил версию обвинения и показал, что в декабре 1935 года во время командировки в Западную Европу специально вылетел в Осло для встречи с лидером оппозиции. Пятаков охотно отвечал на уточняющие вопросы прокурора, сообщил, в частности, о том, что самолет приземлился на аэродроме Хеллер под Осло, осветил все подробности маршрута.

Вышинский решит тут же закрепить несомненный успех обвинения:

— В разговоре с Троцким в декабре 1935 года он изложил вам свои установки. Вы их восприняли как директиву или просто как ни к чему не обязывающий разговор?

— Конечно, как директиву.

— Следовательно, можно считать, что вы согласились с этими установками?

— Можно считать, что я их выполнил.

— И выполнили их.

— Не «и выполнил их», а «выполнил их».

— Здесь нет никакой разницы.

— Для меня разница есть.

Тонкое различие действительно существует. Еще раз углубимся в текст стенограммы. Соединительный союз «и» логически объединяет «согласие» с установками Троцкого и их «выполнение». Исключая этот союз, Пя-

таков тем самым не подтверждал своего согласия с ними, ограничиваясь одним лишь выполнением. С точки зрения уголовного права это различие имеет существенное значение для установления субъективной стороны состава преступления, отношения подсудимого к совершенному деянию, а следовательно, и определения меры наказания.

Однако такого рода юридические моменты, появившись в ходе судебного заседания, так и не стали предметом внимания суда. Впрочем, как раз в это время возникло чрезвычайно неприятное для организаторов процесса обстоятельство, которое немедленно поглотило все их внимание.

В норвежской прессе появилось сообщение о том, что согласно регистрационных документов ни один самолет гражданской авиации в декабре 1935 года на аэродроме Хеллер не приземлялся.

Это сообщение вызвало в зарубежной прессе целую лавину разоблачительных материалов. Под сомнение ставились не только признательные показания Пятакова, но и вся юридическая основа этого и предыдущих политических процессов. С публичным заявлением выступил проживавший в то время в Норвегии Троцкий. Он потребовал тщательной проверки показаний Пятакова. «Если выяснится,— писал лидер оппозиции,— что Пятаков действительно побывал у меня, значит, я окажусь безнадежно скомпрометирован. Если же, напротив, я смогу доказать, что история нашей встречи вымышлена от начала до конца,— полной дискредитации подвергнется вся система «добровольных признаний» обвиняемых. Показания Пятакова должны быть проверены немедленно, пока он еще не расстрелян».

Не ограничиваясь этим, Троцкий пошел на беспрецедентный шаг. Он предложил Сталину потребовать у норвежского правительства высылки Троцкого из страны и выдачи его советской стороне для предания суду в качестве сообщника Пятакова и других обвиняемых по делу. Этот отчаянно смелый шаг был, однако, весьма тщательно рассчитан. Смысл этого демарша заключался в том, что по норвежским законам выдача могла состояться не иначе, как в случае, если факт прилета Пятакова к Троцкому будет юридически доказан в норвежском суде. На это Советское правительство не пошло по причинам, которые говорят сами за себя. Ведь в случае возбуждения дела об установлении юридически значимого факта в норвежском суде разоблачение московской инсценировки было бы неизбежно.

Тем не менее какие-то контрмеры для нейтрализации тяжелого удара из-за рубежа по престижу сталинского правосудия были необходимы. И вот на судебном заседании 27 января слово для заявления берет государственный обвинитель Вышинский:

— Я интересовался этим обстоятельством и попросил Народный комиссариат иностранных дел обеспечить меня справкой, ибо я хотел проверить показания Пятакова и с этой стороны. Я получил официальную справку, которую прошу приобщить к делу.

И Вышинский огласил следующий документ:

«Консульский отдел Народного комиссариата иностранных дел настоящим доводит до сведения Прокурора СССР, что, согласно полученной полпредством СССР в Норвегии официальной справке, аэродром в Хеллере около Осло принимает круглый год, согласно международных правил, аэропланы других стран и что прилет и отлет аэропланов возможен и в зимнее время».

Вот такое документальное доказательство представил суду государственный обвинитель. Однако что именно оно доказывает, какой факт подтверждает? Даже беглого взгляда на представленный документ достаточно, чтобы убедиться: о полете Пятакова там нет ни слова. В лучшем случае эту справку можно принять как доказательство технической возможности совершения такого полета. Но от возможности до действительности дистанция огромного размера. И не возможность является предметом судебного разбирательства, а факт, имевший место в действительности. Но именно он и не был достоверно установлен судом.

Уж не на этот ли результат, не на эффект ли бумеранга дальновидно рассчитывал Юрий Леонидович Пятаков, когда вопреки избранной линии защиты столь охотно признал факт своего воздушного путешествия в Норвегию к Троцкому?

Вся эта конфузная история нанесла существенный моральный урон позиции обвинения, поэтому Вышинский поспешил перейти к исследованию других обстоятельств дела.

ПОКАЗАНИЯ ПОДСУДИМЫХ

С очевидной целью нейтрализации неблагоприятного для обвинения предыдущего судебного эпизода для дачи показаний вызывается подсудимый Карл Радек. Стены

Октябрьского зала Дома союзов, повидавшие не один судебный процесс, еще не знали таких драматических эффектов. Подсудимый не просто рассказал все известное ему по делу, он обнаружил недюжинный актерский талант и тонкое понимание общественной психологии. В его выступлении были все атрибуты сценического мастерства: выразительные жесты и модуляции голоса, взрывы страстей и бессильно падающие руки, благородное негодование и искреннее раскаяние, разительный сарказм и невольные слезы... Весь этот актерский реквизит подсудимый использовал для того, чтобы дать суду наглядное представление о якобы терзавших его мучительных сомнениях, душераздирающих нравственных страданиях, которые испытал он, когда стал осознавать, что логика фракционной борьбы неизбежно подталкивает его к преступлению против партии и народа. Но не только самобичевание составляло содержание показаний Радека, в его устах явственно прозвучало и обвинение в адрес своих товарищей, сидящих с ним на одной скамье подсудимых. И не только их: в этом же контексте он произнес имя Бухарина. Как бы по касательной прозвучало имя Тухачевского...

Словом, Вышинский мог быть доволен показаниями подсудимого Радека, которого лично готовил к процессу. Сохранились свидетельства очевидцев о том, что Вышинский заставил Радека переписать в соответствии со своими указаниями заблаговременно подготовленный им текст выступления в суде. Впрочем, и в этих условиях изворотливый ум Радека подсказал ему некоторую словесную форму для выражения прозрачного намека на действительное положение дел.

Так, в одном из эпизодов процесса Вышинский, видимо, желая усилить впечатление от показаний Радека, напомнил, что тот в течение длительного времени на предварительном следствии отказывался признаться в преступном заговоре.

— Можно ли после этого всерьез принимать то, что вы тут говорили о своих колебаниях и сомнениях? — неосторожно спросил Вышинский и получил неожиданный ответ:

— Да, если игнорировать тот факт, что о программе заговорщиков и об указаниях Троцкого вы узнали только от меня, тогда, конечно, принимать всерьез нельзя.

Стало ясно: никакими иными доказательствами преступного заговора, помимо признательных показаний, обвинение не располагает.

И не случайно в этом месте судебного заседания Ульрих поспешил объявить перерыв.

Следующим допрашивается Сокольников. Этот мужественный человек был известен в партии как единственный, кто осмелился в 1925 году с трибуны XIV съезда ВКП (б) поддержать требование Каменева об отставке Сталина с поста Генерального секретаря. Теперь же перед собравшимися в зале судебного заседания предстал человек, совершенно подавленный обрушившимся на него несчастьем. Он согласно кивал головой в ответ на самые беспощадные вопросы Вышинского. А тот всячески настаивал на подробном изложении связей «параллельного центра» с другими контрреволюционными силами. Ничего конкретного по этому вопросу Сокольников поведать суду не мог, поэтому старался отвечать в самых общих выражениях:

— ...Указывалось на то, чтобы найти бывшие вредительские организации среди специалистов.

— Среди бывших вредителей периода Промпартии, Шахтинского процесса? — подсказывает «правильный» ответ Вышинский.— Какая же по отношению к ним была принята линия?

— Троцкистская линия, позволяющая вредительским группам блока устанавливать контакт с теми бывшими группами.

Далее показания давал Серебряков. Он говорил в основном о вредительстве на железнодорожном транспорте, в подобострастных выражениях отозвался о деятельности Кагановича, назначение которого на должность наркома якобы нанесло решающий удар по вредительским организациям в отрасли.

Долго допрашивали Муралова. Вышинский донимал его вопросами о причинах продолжительного упорства на предварительном следствии, когда обвиняемый в течение долгих месяцев категорически отказывался признать свою виновность. Характерен ответ Муралова (приводится по неправленой стенограмме):

— ...Я думал так, что если я дальше останусь троцкистом, тем более что остальные отходили — одни честно и другие бесчестно... то я могу быть знаменем контрреволюции. Это меня страшно испугало... И я сказал тогда себе, после чуть ли не восьми месяцев, что да подчинится мой интерес интересам того государства, за которое я боролся в течение двадцати трех лет, за которое я сражался активно в трех революциях, когда десятки раз моя жизнь висела на волоске...

После такого заявления подсудимого Вышинский, казалось, вполне мог рассчитывать на приемлемые для обвинения ответы Муралова. Однако эти ожидания прокурора оправдались лишь частично. Когда один из обвиняемых по тому же делу, бывший управляющий цинковым рудником в Кемеровской области А. А. Шестов, дал показания об участии Муралова в подготовке покушения на Орджоникидзе, Муралов выступил с заявлением:

— Категорически заявляю, что это относится к области фантастики Шестова. Таких указаний я никогда не давал.

— Он путает? — пытается смягчить впечатление от непримиримости позиции подсудимого Вышинский.

— Я не знаю, путает он или просто дает волю своей фантазии.

Как ни пытался прокурор, но сбить Муралова с его твердой позиции по этому эпизоду обвинения ему так и не удалось. И в этом есть определенная загадка, поскольку другие, не менее тяжкие обвинения такого рода Муралов полностью признал. Так, он признал, например, свое участие в подготовке покушения на Молотова и Эйхе. Уже одного этого было бы более чем достаточно для смертного приговора. Еще один эпизод ничего уже не прибавлял. И Муралов не мог этого не сознавать. Так чем же в таком случае было вызвано его упорное противодействие Вышинскому, противодействие, которое с учетом предыдущих признательных показаний уже ничего практически не сулило подсудимому?

На этот счет сегодня можно лишь строить предположения. Наиболее обоснованными представляются два. Одно из них нравственного свойства. Серго Орджоникидзе в то время имел репутацию рыцаря революции, человека, олицетворяющего совесть партии. Кроме того, Муралова связывали с ним теплые товарищеские отношения. В этих условиях отрицание этого эпизода обвинения могло представляться подсудимому единственной возможностью если не в общественном мнении, то хотя бы в собственных глазах удержаться на каком-то минимальном нравственном уровне, если не предотвратить, то хотя бы замедлить безостановочное падение. Другое предположение тактического свойства. Нельзя исключить, что Муралов рассчитывал на помощь Орджоникидзе. С учетом их личных отношений такая мысль, как представляется, не могла не возникнуть у подсудимого. В этом случае поведение Муралова вполне понятно и совершенно логично.

А может быть, стойкость подсудимому противостоять давлению Вышинского придавали оба эти фактора — и нравственный, и тактический. Такое предположение представляется, пожалуй, наиболее близким к истине.

И еще один фрагмент допроса Муралова оказался для Вышинского неожиданным Речь шла о событиях на одной из кемеровских шахт.

— Знали ли вы, что на кемеровских угольных шахтах троцкисты загазовали штреки и создали абсолютно невыносимые условия труда? — допрашивает подсудимого председательствующий Ульрих.

— Я не знал, что они взяли курс на загазовку шахты... Это случилось, когда я уже был в тюрьме.

Но от поднаторевшего в судебных баталиях армвоенюриста Ульриха не так просто отделаться:

— В ваших показаниях содержится следующая фраза: «На кемеровской шахте троцкисты загазовали штреки и создали невыносимые условия для рабочих».

— Я узнал об этом, когда был в тюрьме...

Это заявление подсудимого ставило обвинение в чрезвычайно неловкое положение. Сразу же возникало обоснованное сомнение в достоверности и других признательных показаний, вырванных у подследственных на Лубянке. И ни Ульриху, ни Вышинскому вплоть до конца судебного заседания так и не удалось это сомнение рассеять.

ОБВИНЕНИЕ БЕЗ ЗАЩИТЫ

Очевидный недостаток аргументов Вышинский решил восполнить риторической патетикой. Его обвинительная речь то и дело взрывалась восклицаниями:

— Вот бездна падения! Вот предел, последняя черта морального и политического разложения! Вот дьявольская безграничность преступлений!

В своей речи Вышинский не обошелся, разумеется, и без реверансов в адрес вождя всех народов:

— Предсказания товарища Сталина полностью сбылись. Троцкизм действительно превратился в центральный сборный пункт всех враждебных социализму сил, в отряд простых бандитов, шпионов, убийц, которые целиком предоставили себя в распоряжение иностранных разведок, окончательно и бесповоротно превратились в лакеев капитализма, в реставраторов капитализма в нашей стране.

Однако все эти словесные пассажи, несмотря на повышенную эмоциональность, с которой они произносились,

ни в коей мере не могли заменить строгих юридических доказательств виновности подсудимых. Опытный юрист Вышинский не мог этого не сознавать. Поэтому в его обвинительной речи появился и такой фрагмент:

— Приписываемые обвиняемым деяния ими совершены... Но какие существуют в нашем арсенале доказательства с точки зрения юридических требований?.. Можно поставить вопрос так: заговор, вы говорите, но где же у вас имеются документы?.. Я беру на себя смелость утверждать, в согласии с основными требованиями науки уголовного процесса, что в делах о заговорах таких требований предъявлять нельзя.

С точки зрения науки уголовного процесса, на которую любил ссылаться Вышинский, подобное заявление — образец юридического невежества. И если Вышинский все же допустил такое высказывание, то у него, несомненно, были свои соображения. Во всяком случае, в наивности Прокурора СССР можно усомниться. Попытка реанимировать давно отвергнутую мировой судебной практикой идею «царицы доказательств», придававшую решающее значение в уголовном процессе признательным показаниям обвиняемого, казалась ему, несмотря на всю свою уязвимость, единственным способом хоть в какой-то мере оправдать отсутствие других доказательств по делу.

В конце своей обвинительной речи Вышинский словно походя обронил знаменательную фразу:

— Если можно сказать о недостатках данного процесса, то этот недостаток я вижу только в одном: я убежден, что обвиняемые не сказали и половины той правды, которая составляет кошмарную повесть их страшных злодеяний против нашей страны, против нашей великой Родины.

Если вспомнить, что на этом процессе будто исподволь уже произносились имена Бухарина и Тухачевского, то смысл приведенного фрагмента из обвинительной речи Прокурора СССР становится очевидным: этот суд над «врагами народа» не последний.

Заключительные слова своей обвинительной речи Вышинский уже не произнес, а выкрикнул:

— Я не один! Пусть жертвы погребены, но они стоят здесь рядом со мною, указывая на эту скамью подсудимых, на вас, подсудимые, своими страшными руками, истлевшими в могилах, куда вы их отправили! Я обвиняю не один! Я обвиняю вместе со всем нашим народом,

обвиняю тягчайших преступников, достойных только одной меры наказания — расстрела, смерти!

Расправившись таким образом с поверженными «врагами народа», Вышинский с сознанием хорошо выполненного долга опустился наконец в свое кресло. Место судебного оратора занял защитник Брауде:

— Товарищи судьи, я не буду скрывать от вас того исключительно трудного, небывало тяжелого положения, в котором находится в этом деле защитник. Ведь защитник, товарищи судьи, прежде всего — сын своей Родины, он также гражданин великого Советского Союза, и чувство великого возмущения, гнева и ужаса, которые охватывают сейчас всю нашу страну от мала до велика, чувство, которое так ярко отобразил в своей речи прокурор, эти чувства не могут быть чужды и защитникам... В настоящем деле, товарищи судьи, не может быть спора о фактах. Товарищ прокурор был совершенно прав, когда заявил, что со всех точек зрения — с точки зрения документов, собранных по делу, с точки зрения допроса вызванных в суд свидетелей и перекрестного допроса обвиняемых — мы лишены возможности оспаривать очевидность. Все факты подтверждены, и в этой части защита не имеет намерения входить в какое-либо противоречие с обвинением. Невозможно также оспаривать оценку прокурором политических и моральных аспектов дела. Здесь также дело настолько очевидно, политическая оценка, сделанная прокурором, настолько ясна, что защита может только целиком и полностью присоединиться к этой части его речи.

Как оценить такое выступление защитника в судебных прениях? Если «не может быть спора о фактах», «прокурор... совершенно прав», а «защита не имеет намерения входить в какое-либо противоречие с обвинением», то в чем же тогда заключается ее роль в процессе? При такой постановке вопроса становится совершенно очевидным, что в данном деле в лице адвоката подсудимые получили не защитника своих прав и законных интересов, а еще одного обвинителя.

Словом, если можно говорить о поддержке защитником своих подзащитных в этом процессе, то лишь в том смысле, в котором и скрученная в петлю веревка тоже может кое-кого «поддержать»...

По окончании судебных прений Ульрих предоставил подсудимым последнее слово. И они использовали эту возможность по-разному.

Не пытался защищаться Юрий Пятаков. Низко опустив голову и ссутулившись, он тихо произнес:

— Через несколько часов вы вынесете нам приговор. И вот я стою перед вами в грязи, раздавленный своими собственными преступлениями, лишенный всего по своей собственной вине, потерявший свою партию, не имеющий друзей, потерявший семью, потерявший самого себя...

Иначе построил свое выступление Карл Радек. В его последнем слове нашлось место и для политических обвинений в адрес Троцкого, и для чувствительных пинков товарищам по скамье подсудимых, и даже для выпадов против безвестных «полутроцкистов, четверть-троцкистов, троцкистов на одну восьмую, людей, которые нам помогали, не зная о террористической организации, но сочувствуя нам, людей, которые из либерализма, фрондируя против партии, оказывали нам помощь».

Организаторы этого процесса могли довольно потирать руки. Ведь подобное заявление в устах одного из лидеров бывшей троцкистской оппозиции могло быть использовано для политического оправдания продолжения преследований, расширения их масштабов за пределы непосредственных участников оппозиции. Теперь речь шла уже о виновности лиц, которые, по словам Радека, даже не знали о «троцкистской организации».

Обвинительному пафосу выступления подсудимого Карла Радека вполне мог позавидовать иной прокурор. Однако этот пафос весьма быстро испарился, как только подсудимый перешел к оценке своей собственной личности. Здесь Радек преобразился. Перед судом предстал изощренный политический боец, который и в сверхсложных условиях скамьи подсудимых сумел нанести весьма чувствительные удары по аргументации обвинения. Особенно в отношении шпионажа.

— Для этого факта какие есть доказательства? — повернувшись к Вышинскому, задает он резонный вопрос. И сам же на него отвечает: — Для этого факта есть показания двух людей — мое собственное признание в том, что я получал директивы и письма от Троцкого (которые, к сожалению, сжег), и показания Пятакова, который говорил с Троцким. Все прочие показания дру-

гих обвиняемых покоятся на наших показаниях. Если вы имеете дело с чистыми уголовниками, шпионами, то на чем можете вы базировать вашу уверенность, что то что мы сказали, есть правда, незыблемая правда?

Вопрос, что называется, не в бровь, а в глаз. И он остался безответным. Председательствующий поспешил объявить перерыв.

Глубокой ночью 30 января 1937 года подсудимые были внезапно разбужены, выведены из камер, погружены на машины и снова доставлены в здание суда. В три часа утра Ульрих огласил приговор. Все подсудимые признавались виновными. Большинство из них, как и было определено заранее в проекте приговора, приговаривались к высшей мере наказания — расстрелу. Однако были и исключения. Так, Г. Я. Сокольников и К. Б. Радек получили по десять лет тюремного заключения.

Осужденные встретили зловещие слова приговора достойно — без истерики и слез. Только тверже сжались губы, только резче пролегли складки на переносице, только на мгновение тяжелые веки прикрыли глаза... И лишь Радек не мог унять своего восторга. Зал судебного заседания осветила столь неуместная здесь счастливая улыбка...

Но остался вопрос: почему именно он да еще Сокольников удостоились снисходительной милости вождя? Поищем ответа на этот вопрос в документальных материалах, которые долгие десятилетия были недоступны непосвященным.

ЗА КУЛИСАМИ ПРОЦЕССА

В архиве ЦК КПСС сохранился уникальный документ от 28 января 1937 года. Это проект приговора по делу «параллельного троцкистского антисоветского центра». Он составлен председателем Военной коллегии Верховного суда СССР В. В. Ульрихом и адресован в ЦК ВКП(б) на имя Н. И. Ежова для согласования. Обращение высшего судебного органа страны за санкцией на вынесение приговора в партийную инстанцию наглядно показывает, кто вершил в ту пору правосудие. Вместе с тем этот факт дает достаточное представление о не более чем декоративном значении закрепленного в Конституции страны принципа независимости судей и подчинения их только закону. И наконец, он убеди-

тельно свидетельствует о тайной роли Ежова не только в расследовании, но и в судебной деятельности.

Как же отреагировал нарком на представленный проект? Сравнение его текста с вынесенным позднее приговором показывает, что окончательный вариант значительно смягчен по отношению к первоначальному. Если в проекте, представленном Ульрихом, фигурировала лишь одна мера наказания — расстрел, то в приговоре предусматривались и другие санкции. С учетом того, что этот документ прошел через руки Ежова, такой либерализм «железного наркома» кажется необъяснимым. Однако реальные факты не всегда укладываются в однажды заданную схему. Быть может, и вошедшая в легенду жестокость Ежова была не безграничной. А может, просто нашелся субъект (в данном случае человек-загадка Ульрих), который по этому качеству превосходил самого Николая Ивановича. Впрочем, возможно и более очевидное объяснение: проект приговора по уголовно-политическому делу, за судебным разбирательством которого пристально следил Сталин, едва ли мог миновать бдительного ока вождя. В этом случае мнение Ежова уже не могло иметь сколько-нибудь решающего значения, а факт смягчения приговора придется связать с позицией Сталина.

Последнее предположение хорошо согласуется и с дальнейшими событиями. Три недели спустя после процесса состоялся пленум ЦК. На одно из его заседаний под охраной доставили Радека и Сокольникова, которые выступили с разоблачительными показаниями против Бухарина и Рыкова. Уж не этому ли выступлению и обязаны двое осужденных относительно мягким приговором?

Если это предположение справедливо и они именно таким путем надеялись спасти свои жизни, то их надежды оказались преждевременными. После выступления на пленуме двое осужденных уже ни для кого не представляли интереса. А если так, то и не было более оснований как-то выделять их из среды приговоренных к смерти товарищей-однодельцев. И вот финал: в мае 1939 года Сокольников и Радек были убиты сокамерниками в тюрьме.

Так была поставлена последняя точка в деле «параллельного антисоветского центра». Но прозвучавшие на процессе имена Бухарина и Рыкова не были оставлены без внимания. На этих дрожжах всходил новый, еще более грандиозный судебный процесс.

7. «Я ТРЕБУЮ РАССТРЕЛЯТЬ — ВСЕХ ДО ОДНОГО»
(Дело «правотроцкистского блока»)

ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ ПЛЕНУМА

Один из основных вопросов повестки дня печально знаменитого февральско-мартовского (1937 г.) Пленума ЦК ВКП(б) был сформулирован в выражениях, более подходящих для судебно-следственных материалов, чем для документов политической партии: «Уроки вредительства, диверсий и шпионажа японо-немецко-троцкистских элементов». По этому вопросу с докладами выступили трое — Молотов, Каганович, Ежов.

Молотов сообщил о количестве осужденных по статьям о контрреволюционных преступлениях в аппаратах более чем двух десятков наркоматов. По его словам, к 1 марта 1937 года было осуждено: по Наркомтяжпрому — 585 человек, по Наркомпросу — 228, по Наркомлегпрому — 141, по НКПС — 137, по Наркомзему — 102... С педантичностью профессионального бухгалтера Молотов долго перечислял цифры, называл фамилии, подводил итоги. И завершил свой доклад призывом усилить борьбу с вредительством и другими контрреволюционными преступлениями.

Каганович осветил этот вопрос применительно к железнодорожному транспорту... Нарком путей сообщения объявил вредительством нарушение графиков перевозок грузов, срыв планов внедрения новых паровозов, противодействие стахановскому движению. Лазарь Каганович требовал суровой кары и за препятствия превышению технических норм, и за аварии, которые неизбежно сопровождали любую попытку такого превышения. Столь своеобразная логика наркома не оставляла его подчиненным никакой возможности уцелеть при любом образе действий.

Необычным было выступление Ежова:

— За несколько месяцев,— заявил он,— не помню случая, чтобы кто-нибудь из хозяйственников и руководителей наркоматов по своей инициативе позвонил бы и сказал: «Товарищ Ежов, что-то мне подозрителен такой-то человек, что-то там неблагополучно, займитесь этим человеком». Таких фактов не было. Чаще всего, когда ставишь вопрос об аресте вредителя, троцкиста, некоторые товарищи, наоборот, пытаются защищать этих людей.

В устах наркома внутренних дел это прозвучало как зловещая угроза. И отнюдь не рядовым «вредителям».

На этот раз речь шла о руководителях наркоматов, то есть лицах, которые в большинстве своем входили в состав ЦК и присутствовали на этом Пленуме. Иначе говоря, Ежов бросил свою недвусмысленную угрозу прямо в лицо собравшимся. Вполне понятно, что такого рода заявление у значительной части аудитории не могло вызвать симпатий к оратору. Не здесь ли впервые в некоторых ответственных головах мелькнула тайная мысль о свержении зарвавшегося выскочки?

Но тогда эта мысль казалась лишь призрачной надеждой. Настолько призрачной, что ни один из присутствовавших на Пленуме членов ЦК не решился выступить за строгий партийный контроль за деятельностью НКВД. В результате было принято специальное постановление, которое обязывало ведомство Ежова «довести дело разоблачения и разгрома троцкистских элементов до конца, с тем чтобы подавить малейшие проявления их антисоветской деятельности». Знать бы членам ЦК, что, голосуя за это постановление, многие из них становились заложниками Ежова...

Осознание этого придет позже, а пока они единогласно принимают постановление, в котором есть и такие пункты:

«б) Отмечается плохая постановка следственной работы. Следствие часто находится в зависимости от преступника и его доброй воли дать исчерпывающие показания или нет...

в) Создан нетерпимый режим для врагов Советской власти. Их размещение часто более походит на принудительные дома отдыха, чем тюрьмы...»

Вскоре многим членам ЦК, голосовавшим за это постановление, на собственном опыте доведется проявить «добрую волю» на следствии и отдохнуть в «домах отдыха» ГУЛАГа. Но это будет позже, а пока... Пленум продолжается. На трибуну снова поднимается Николай Ежов. В напряженной тишине зала зловеще звучат его слова о том, что в материалах уголовного дела «параллельного троцкистского антисоветского центра» имеются данные об участии в контрреволюционной деятельности Бухарина и Рыкова.

Реакция Бухарина была отчаянной.

— В НКВД есть люди, которые, прикрываясь авторитетом партии, творят невиданный произвол,— резко выкрикнул он в зал.

— Ну вот мы тебя туда и пошлем, ты и посмотришь,— бросил реплику Сталин.

После этих слов генсека Бухарин был обречен. И первым это почувствовал Ежов. Он предлагает проект решения: «Исключить Бухарина и Рыкова из состава кандидатов в члены ЦК и членов партии, с преданием их суду военного трибунала, с применением высшей меры наказания — расстрела».

Эта уникальная в своем роде формула является своеобразным манифестом беззакония. Ведь установление виновности, а тем более назначение меры наказания — исключительная прерогатива суда. Если же, как в данном случае, мера наказания определяется задолго до судебного разбирательства, то к правосудию это не имеет никакого отношения. И называется такая акция иначе — санкционированное убийство. Другого термина для определения подобного действия человечество не знает.

Такого рода соображения едва ли приходили в голову Ежова, когда он предлагал свой проект решения. Иное дело Сталин. Его можно обвинить в чем угодно, но в проницательности ему не откажешь. Он сразу понял, что подобная резолюция принесет возглавляемому им режиму значительно больше вреда, чем пользы. Ведь беззаконие — отнюдь не та реальность, которую следует выставлять напоказ перед всем миром. И Сталин вносит иной проект резолюции: «Исключить из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б) и членов ВКП(б) Бухарина и Рыкова; суду их не предавать, а направить дело Бухарина и Рыкова в НКВД».

С точки зрения формальной процедуры такое решение представлялось несравненно более демократичным и гуманным. Любопытно, что некоторые члены ЦК продолжали требовать крови даже после предложения Сталина, и в этом смысле были, как говорят, католиками в большей степени, чем сам папа римский. Так, первый секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Косарев и командующий войсками Киевского военного округа Иона Якир выступили за первоначальное предложение Ежова — «исключение, суд и расстрел». Знать бы им, что уже отлиты пули, которые вскоре унесут и их жизни...

А что же Ежов, столь неожиданно для себя оказавшийся в невольной оппозиции по отношению к самому Сталину? Он сориентировался быстро и тут же снял свое первоначальное предложение. В связи с этим в сложном положении оказались активно поддержавшие его Косарев и Якир. И решили не упорствовать: предложение Сталина принимается единогласно.

Так возникло грандиозное дело «правотроцкистского блока» — кульминация судебных репрессий 30-х годов. На скамье подсудимых оказались: три члена ленинского состава Политбюро — Бухарин, Рыков, Крестинский; один из лидеров Интернационала — болгарский революционер Раковский; секретарь ЦК партии большевиков Белоруссии Шарангович; секретарь ЦК партии большевиков Узбекистана Икрамов и председатель Совнаркома Республики Ходжаев; председатель Центросоюза Зеленский; три врача Лечсанупра Кремля — Казаков, Левин, Плетнев; несколько ответственных сотрудников различных наркоматов. Особое место на скамье подсудимых занимал руководитель НКВД Генрих Ягода, одиозная фигура которого резко контрастировала с другими обвиняемыми.

Невиданный по масштабам и историческому значению судебный процесс состоялся в марте 1938 года в Октябрьском зале Дома союзов. Его открыл все тот же Василий Ульрих, зарекомендовавший себя непревзойденным режиссером такого рода публичных представлений. Роль других членов суда И. О. Матулевича и Б. И. Иевлева была чисто номинальной. Во всяком случае, стенограмма процесса не сохранила следов их деятельности — ни вопросов, ни реплик, ни каких-либо иных свидетельств их участия в деле.

В качестве государственного обвинителя на процессе выступил А. Я. Вышинский. К этому судебному делу он готовился с особенной тщательностью. Чувствовал: в его прокурорской карьере наступает звездный час.

ВЫШИНСКИЙ – БУХАРИН: СУДЕБНЫЙ ПОЕДИНОК

Едва ли не во всех публикациях об открытом судебном процессе Бухарина авторы как бесспорный факт принимают утверждение о том, что подсудимый полностью признал свою вину и на протяжении всего судебного разбирательства безропотно, без борьбы ожидал решения своей участи. Вопрос якобы состоит лишь в том, почему, несмотря на отсутствие достаточных доказательств, он тем не менее пошел на это. В чем причина? Психологическое давление или физические методы воздействия? Обещания сохранить жизнь или угроза расправы над близкими? Наркотики или гипноз? А может быть, это одна из сталинских инсценировок судебного

процесса и вовсе не Бухарин сидел на скамье подсудимых, а его хорошо натасканный двойник? Вот примерный круг вопросов, вокруг которых неизменно вращаются различного рода предположения.

Но соответствует ли истине исходный факт? Действительно ли Бухарин появился на суде с низко склоненной головой, подавленный обстоятельствами и внутренне сломленный? Внимательное изучение материалов дела не дает никаких оснований для подобных сомнений. Бухарин не только признавал и каялся. Было и это. Но значительно чаще он отрицал и отвергал, требовал предъявления доказательств и настаивал на соблюдении своих процессуальных прав. Со страниц протоколов судебных заседаний перед нами предстает мужественный человек, защищающий свою жизнь решительно, умело и без всякого пиетета по отношению к государственному обвинителю. В этом процессе Вышинский столкнулся с опытным политическим бойцом, который не единожды в ходе судебного разбирательства наносил прокурорскому самолюбию чувствительные удары.

Судебный поединок Бухарина с Вышинским представляет значительный исторический интерес. И не только с психологической точки зрения. Не меньшее значение имеет и его юридическая составляющая, в которой ярко проявились полярные представления сторон о социалистической законности и процессуальных правах, о презумпции невиновности и состязательности процесса, о доказательственном значении признательных показаний и критериях оценки доказательств...

Давно ожидавшийся судебный поединок «обвиняемого номер один» и государственного обвинителя начался на вечернем заседании 5 марта 1938 года, когда председательствующий Ульрих объявил о том, что суд приступает к допросу подсудимого Бухарина.

Не успел Ульрих задать свой первый вопрос, как обвиняемый обратился к суду с ходатайством предоставить ему «возможность свободного изложения» своих показаний. Такая постановка вопроса вызвала немедленную и резкую реакцию Вышинского:

— Если обвиняемый Бухарин предполагает ограничить как-нибудь право государственного обвинителя задавать вопросы в процессе его объяснений, то я думаю, что товарищу председателю надлежит разъяснить Бухарину, что право обвинителя задавать вопросы основано на законе. Поэтому я прошу отклонить это ходатай-

ство, как это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом.

Обратимся к кодексу, на который ссылался Вышинский. Статья 138 УПК РСФСР 1923 года, действовавшего во время этого судебного процесса, в императивной форме закрепила процессуальный порядок, в соответствии с которым вопросы допрашиваемому могут последовать лишь «после дачи обвиняемым показаний».

Совершенно очевидно, что ходатайство Бухарина вполне соответствует требованиям закона. Что же касается протеста Вышинского, то государственный обвинитель просто подменил тезис: подсудимый Бухарин отнюдь не возражал против вопросов прокурора как таковых (в подобной ситуации это выглядело бы достаточно нелепо), он лишь ходатайствовал о возможности воспользоваться правом, которое ему принадлежит по закону. Поэтому он имел все основания не согласиться с аргументацией Вышинского.

— Я не так понимал свое ходатайство,— заявил Бухарин.

Но для Ульриха это уже не имело значения. Отказывая подсудимому в реализации его бесспорного процессуального права на свободное изложение обстоятельств дела перед судом в той форме, которую он считает для себя наиболее приемлемой, председательствующий сразу же пресек инициативу Бухарина.

«Допрос обвиняемого начинается предложением рассказать все ему известное по делу» — таково требование ст. 138 УПК РСФСР, которой должен был руководствоваться суд.

Как же поступил Ульрих?

Допрос он начал так:

— Первый вопрос подсудимому Бухарину: подтверждаете ли вы ваше показание на предварительном следствии об антисоветской деятельности?

Достаточно беглого взгляда на текст приведенной статьи, чтобы сразу же заметить вопиющее противоречие между императивным требованием закона и действиями председательствующего высшего судебного органа страны. На поставленный Ульрихом вопрос Бухарин ответил утвердительно, свою виновность признал. Однако сделал это в выражениях, которые допускали достаточно широкое толкование:

— Я признаю себя виновным в том, что я был одним из крупнейших лидеров этого «правотроцкистского бло-

ка». Я признаю себя, следовательно, виновным в том, что вытекает непосредственно отсюда, виновным за всю совокупность преступлений, совершенных этой контрреволюционной организацией независимо от того, знал ли я или не знал, принимал или не принимал прямое участие в этом или ином акте, потому что я отвечаю как один из лидеров, а не как стрелочник этой контрреволюционной организации.

Как видим, признание сформулировано абстрактно, на уровне самых общих положений. Однако хорошо известно, что истина всегда конкретна, тем более истина, устанавливаемая в суде. Но стоило Вышинскому обратиться к некоторым конкретным проявлениям преступной деятельности подсудимого, как от признательных показаний не осталось и следа.

Обсуждается вопрос о вредительстве. Вышинский настойчиво пытается установить его конкретные формы.

— А также путем ослабления обороноспособности? — задает он наводящий вопрос Бухарину.

— Видите ли, этот вопрос не обсуждался, по крайней мере в моем присутствии.

Не вышло. Вышинский пытается зайти с другой стороны.

— Как вы видите из процесса, обстановка была достаточно конкретной. Вы с Ходжаевым разговаривали о том, что мало вредят, что плохо вредят?

— Насчет того, чтобы форсировать вредительство, разговоров не было,— снова не признает конкретных фактов Бухарин.

И тогда Вышинский прибегает к одному из своих самых ударных аргументов — он напоминает подсудимому о его собственном признании на предварительном следствии о том, что «правотроцкистский блок» выступал за террор против руководящей партии и государства. И в связи с этим задает вопрос об убийстве Кирова: было ли оно совершено по указанию «блока»?

— Это мне не было известно,— твердо отвечает Бухарин.

— Я спрашиваю: с ведома и по указанию «правотроцкистского блока» совершено было это убийство?

— А я повторяю, что это мне неизвестно, гражданин прокурор.

Результат, как видим, тот же. Ничего не добившись, Вышинский предпринимает еще одну попытку. Речь идет о дореволюционном прошлом Бухарина.

— Вы в Австрии жили?
— Жил.
— Долго?
— 1912—1913 годы.
— У вас связи с австрийской полицией не было?
— Не было,— с очевидным презрением бросает Бухарин.
— В Америке жили?
— Да.
— Долго?
— Долго.
— Сколько месяцев?
— Месяцев семь.
— В Америке с полицией связаны не были? — Вышинский строго выдерживает избранную линию допроса.
— Никак абсолютно,— отвергает намек государственного обвинителя подсудимый.
— Из Америки в Россию вы ехали через...
— Через Японию,— уточняет Бухарин.
— Долго там пробыли?
— Неделю.
— За эту неделю вас не завербовали?
— Если вам угодно задавать такие вопросы...— не выдержал Бухарин.

Но его тут же прервал государственный обвинитель:
— Я имею право на основании Уголовно-процессуального кодекса задавать такие вопросы.

Вышинского поддержал Ульрих:
— Прокурор тем более имеет право задавать такой вопрос, что Бухарин обвиняется в попытке убийства руководителей партии еще в 1918 году, в том что он еще в 1918 году поднял руку на жизнь Владимира Ильича Ленина.

Ответить на это чудовищное обвинение Бухарину не дали.
— Я не выхожу за рамки Уголовно-процессуального кодекса,— поспешил вставить свою реплику Вышинский.— Угодно — вы можете сказать «нет», а я могу спрашивать.
— Совершенно правильно,— вдруг сник Бухарин.
— Согласие подсудимого не требуется,— снова одернул его Ульрих.
— Никаких связей с полицией не завязывалось? — продолжил допрос государственный обвинитель.
— Абсолютно,— пожал плечами подсудимый.

— Тогда почему так легко вы пришли к блоку, который занимался шпионской работой?

— Я относительно шпионской работы совершенно ничего не знаю.

— Как не знаете?

— Так.

— А чем блок занимался?

— Здесь прошло два показания о шпионаже — Шарангович и Иванова, то есть двух провокаторов...

Подобное направление допроса ставило под сомнение важнейший тезис обвинения. Нужно было срочно принимать меры. И Вышинский нашелся:

— Подсудимый Бухарин, а Рыкова вы не считаете провокатором?

— Нет, не считаю.

— Подсудимый Рыков, вам известно, что «правотроцкистский» блок вел шпионскую работу?

— Я знаю, что были организации, которые вели шпионскую работу...

— А Бухарин не знал?

— По-моему, знал и Бухарин.

— Итак, обвиняемый Бухарин, об этом говорит не Шарангович, а ваш дружок Рыков,— торжествующе провозглашает Вышинский.

Но Бухарин держится.

— Но тем не менее я не знал.

Стойкость Бухарина в этом эпизоде, видимо, повлияла и на Рыкова. Когда Вышинский предложил ему подтвердить осведомленность Бухарина относительно связей организаций, входивших в блок, с польской разведкой, Рыков сказал только о себе лично.

— Я знал об организациях, которые ведут шпионскую работу,— с акцентом на первом слове промолвил подсудимый.

— То, что Бухарин сидел в разных тюрьмах, не помешало ему одобрить связь с польской разведкой своих сообщников. Вы это понимаете? — настаивает Вышинский.

— Нет, не понимаю,— уходит от ответа Рыков.

— Бухарин это понимает.

— Я понимаю, но я это отрицаю,— стоит на своем Бухарин.

Не добившись результата, Вышинский снова и снова возвращается к тому же вопросу о связях подсудимого с иностранной разведкой. На утреннем заседании 7 марта произошел следующий диалог:

— Подсудимый Бухарин, вы признаете себя виновным в шпионаже?

— Я не признаю.

— А Рыков что говорит, а Шарангович что говорит?

— Я не признаю.

— Когда организовывалась в Белоруссии организация правых, вы возглавляли ее, вы это признаете?

— Я вам сказал,— отмахнулся Бухарин.

— Я вас спрашиваю, признаете вы или нет? — повышает голос Вышинский.

— Я белорусскими делами не интересовался.

— Вы интересовались шпионскими делами?

— Нет.

— А кто интересовался?

— Я об этого рода деятельности не получал никакой информации.

Снова все вернулось к исходной точке. И этот допрос не принес результатов. С подобным упорством подсудимого на открытых политических судебных процессах Вышинскому, кажется, еще не доводилось встречаться. И он предпринимает еще одно усилие. По его ходатайству в суде оглашаются показания Рыкова, данные им на предварительном следствии. В них Рыков признавал осведомленность Бухарина в связях «блока» с польской разведкой. Такого рода досудебным признаниям Вышинский придавал особое значение и неоднократно манипулировал ими в ходе процесса. Однако на этот раз возникла неожиданная ситуация: Рыков вдруг стал горячо доказывать, что его показания на предварительном следствии относительно осведомленности Бухарина носили характер предположения, а не констатации факта. Вышинский не согласился с подобным толкованием Рыковым своих собственных показаний и попытался заставить его отказаться от оговорок. Но этого не получилось: Рыков стоял на своем. Тогда государственный обвинитель прервал диалог с вышедшим из-под контроля подсудимым и снова обратился к Бухарину. От него Вышинский потребовал объяснений по факту, изложенному в письменных показаниях Рыкова до суда.

— Меня на предварительном следствии об этом не спрашивали ни единого слова, и вы, гражданин прокурор, в течение трех месяцев не допросили меня, ни одного слова.

— Я вас сейчас допрашиваю. Это мое право.

— Но на предварительном следствии...

— Будьте любезны, не поучайте меня, как вести предварительное следствие, тем более что вы в этом ничего не понимаете. Вы больше понимаете в тех делах, за которые вы очутились на скамье подсудимых.

Сказано с сарказмом. Ну а по существу? Приведенный эпизод свидетельствует о том, что по окончании предварительного следствия часть материалов уголовного дела не была предъявлена обвиняемому. Между тем ст. 207 УПК РСФСР (в редакции 16 октября 1924 года) требует предъявить обвиняемому в случае его о том просьбы «все производство по делу». Известно, что по окончании предварительного следствия обвиняемый Бухарин соответствующее ходатайство заявил. Так что сарказм Вышинского в данном случае вряд ли уместен. Достаточно взглянуть на текст приведенной статьи закона, и станет ясно: Бухарин имел все основания поспорить с многоопытным юристом и по сугубо юридическим вопросам предварительного следствия.

И приведенный случай — не единственный эпизод такого рода. На том же утреннем заседании 7 марта подсудимый Ходжаев показал, что они с Бухариным имели намерения связаться с английской разведкой через Афганистан.

Вышинский тут же обратился к Бухарину:

— Вы это отрицаете?

— Отрицаю. Меня никто об этом не спрашивал.

— Вот я вас и спрашиваю.

— За год моего сидения в тюрьме меня об этом ни разу не спрашивали.

— Мы вас спрашиваем здесь на гласном пролетарском суде, мы спрашиваем здесь на этом суде перед всем миром.

— Но раньше вы не спрашивали об этом.

— Я еще раз спрашиваю на основании того, что здесь было показано против вас: не угодно ли вам признаться перед советским судом, какой разведкой вы были завербованы — английской, германской или японской?

Подобный вопрос в альтернативной форме в устах государственного обвинителя звучит несколько странно. Не свидетельствует ли он о том, что ответа на него нет и у обвинения? И не на предварительном ли следствии необходимо было устранить возникшие сомнения? Ведь в противном случае закон просто запрещает передавать в суд дело, не завершенное расследованием.

Но скрупулезному исследованию фактов Вышинский явно предпочитал эффектные риторические приемы.

— Я прошу суд разъяснить обвиняемому Бухарину, что он здесь не философ, а преступник.

Вот так задолго до окончания судебного разбирательства определился статус Бухарина. И некому было разъяснить самому Вышинскому значение принципа презумпции невиновности в уголовном процессе...

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ

Поединок Вышинского и Бухарина продолжался и после завершения допроса подсудимого, когда на вечернем заседании 7 марта суд приступил к исследованию свидетельских показаний. Согласно закону подсудимый имел право задавать свидетелям вопросы (ст. 277 УПК РСФСР 1923 года). Интересно проследить, как воспользовался этим процессуальным правом подсудимый Бухарин.

Для дачи показаний вызывается свидетельница Яковлева. Председательствующий Ульрих предлагает изложить суду все известное ей по делу. Свидетельница сообщает, что еще до заключения Брестского мира Бухарин был одним из организаторов заговора «левых коммунистов» и «левых эсеров» против Советской власти.

Подсудимый Бухарин просит разрешения задать свидетельнице несколько вопросов.

— Теперь я хочу спросить, знала ли свидетельница Яковлева, что к «левым коммунистам» принадлежали Куйбышев, Менжинский и Ярославский?

— Я прошу отвести этот вопрос как не относящийся к делу,— тут же обращается к суду Вышинский.

Ульрих охотно согласился.

— Можете не отвечать на этот вопрос как не относящийся к делу.

Свидетельница облегченно вздыхает.

— Тогда я прошу гражданина председательствующего,— обращается к Ульриху Бухарин,— разъяснить мне, имею ли я право задавать те вопросы, какие я хочу, или же мои вопросы определяет гражданин прокурор?

— Подсудимый Бухарин,— подчеркнуто ровным голосом разъясняет Ульрих,— Яковлева была вызвана сюда для того, чтобы давать показания о вашей антисоветской деятельности, деятельности Бухарина Николая Ивановича. Вы, в связи с ее показаниями, хотели задать ей несколько вопросов в отношении дел, касающихся вас, а не в отношении каких-либо других лиц.

— Тогда я прошу гражданина председательствующего суда разъяснить мне, имеет ли отношение к делу вопрос о составе центральной группы «левых коммунистов» или нет?

Вопрос по существу. И парировать его логическими доводами непросто. Поэтому Ульрих даже не пытался этого сделать. Аргументам он предпочел волевое решение:

— Я устраняю совершенно ваш вопрос. У вас есть вопросы к свидетельнице Яковлевой, в частности касающиеся вас, или нет?

— Да, у меня есть вопросы. Я прошу сказать, отрицает ли свидетельница Яковлева, что в ЦК перед Брестским миром большинство голосов принадлежало «левым коммунистам» плюс троцкистам?

— Какое отношение имеет этот вопрос к вашей преступной роли? — уже с некоторым раздражением вопрошает Ульрих.

Характерный момент процесса — судья задолго до окончания судебного разбирательства квалифицирует деятельность подсудимого как преступную. Но в таком случае вся последующая судебная процедура превращается в имитацию правосудия, ибо обвинительный приговор предопределен.

— То отношение,— заявляет Бухарин,— что этим я хочу мотивировать и объяснить, что совершенно бессмысленно было стремиться к заговору.

Бухаринская логика в данном случае безупречна. Вышинский даже не пытается ее опровергнуть. На помощь к нему снова приходит Ульрих:

— Суд интересует ваша роль в заговоре, и об этом идут сейчас показания.

— Хорошо,— соглашается Бухарин,— тогда разрешите мне задать следующий вопрос... Отрицает ли Яковлева, что я был одним из членов президиума съезда в Москве, одним из членов президиума, который арестовал во время убийства Мирбаха фракцию «левых эсеров»?

— Этот вопрос,— спешит отреагировать Ульрих,— никакого отношения не имеет к вашей преступной деятельности. (Как сказать. Если вспомнить, что в данном случае Бухарина обвиняют в заговоре с «левыми эсерами», то признать факт, наглядно характеризующий отношение подсудимого к этой партии, не имеющим значения для дела можно, разве что предав забвению элементарные основы логики. И тем не менее Ульрих этот вопрос Бухарина отвел.)

Но со скамьи подсудимых снова раздается вопрос:

— Отрицает ли свидетельница Яковлева, что в 1919 году я был ранен на собрании московского комитета «левоэсеровской» бомбой?

— Вопрос никакого отношения не имеет к обвинению вас в заговоре,— Ульрих начеку.— Тоже устраняю этот вопрос.

У присутствующих в зале судебного заседания могло возникнуть недоумение: к чему было это «левым эсерам» покушаться на жизнь своего верного сторонника? Впрочем, быть может, этой мелочи никто и не заметил. Логика абсурда, царившая на этом процессе, допускала и не такие противоречия.

Все попытки Бухарина реализовать предусмотренное законом право подсудимого задавать вопросы показывающим против него свидетелям председательствующий Ульрих фактически блокировал. В этом отношении характерен следующий эпизод судебного заседания.

Показания дает свидетель Осинский. У Бухарина к нему целая серия вопросов. Но председательствующий начеку.

— Зачем нужны эти вопросы? — допытывается Ульрих.

— Это мне нужно для защиты, потому что потом я уже не смогу получить ответы на эти вопросы.

Ранее Вышинский при помощи Ульриха всегда решительно пресекал малейшие попытки подсудимого поставить перед свидетелями трудные вопросы. Сейчас же он проявил неожиданное благодушие. То ли последний вопрос Бухарина показался ему достаточно легким, то ли он посчитал, что подсудимому уже ничего помочь не может, но как бы там ни было, Вышинский позволил себе высказывание в весьма либеральном духе:

— Если обвиняемый Бухарин заявляет, что эти вопросы ему нужны для защиты, то, имея в виду, что по нашим законам каждый обвиняемый имеет право на защиту в полном объеме, я ходатайствую не устранять этого вопроса.

Подобные сентенции Вышинский произносил мастерски — с благородной модуляцией голоса, с приличествующим случаю апломбом. Вот и на этот раз все было рассчитано: зал должен оценить объективность прокурора, несокрушимо стоящего на страже социалистической законности.

— Тогда я ходатайствую возобновить все вопросы,

которые судом раньше были отклонены,— с вызовом бросил Бухарин.

Такого Вышинский явно не ожидал. Это был сильный удар закаленного в политических схватках бойца. Как поступить обвинителю? Заявить возражение? Но лишь минуту назад он сам подтвердил обоснованность бухаринского ходатайства. Выхода не было — пришлось уступить.

— Если обвиняемый Бухарин нуждается в постановке всех этих вопросов для своей защиты, я как обвинитель не возражаю против того, чтобы эти вопросы были здесь поставлены.

Но тут инициативу перехватывает Ульрих:

— А суд возражает против постановки этих вопросов как не относящихся к делу.

— Подчиняюсь решению суда,— с облегчением выдохнул Вышинский.

Прокурор и судья мгновенно поняли друг друга.

ПОСЛЕДНИЙ ДИАЛОГ

После окончания судебного следствия суд перешел к прениям сторон. Поскольку Бухарин от помощи защитника отказался, ему предоставили право произнести защитительную речь. Он объединяет ее с последним словом.

Присутствующие в зале судебного заседания услышали покаянную речь. Бухарин полностью признал свою вину, подробно рассказал об идейной платформе «правотроцкистского блока». Казалось, последнее слово подсудимого так и завершится на этой угасающей ноте. И вдруг:

— Гражданин прокурор разъяснил в своей обвинительной речи, что члены шайки разбойников могут грабить в разных местах и все же ответственны друг за друга. Последнее справедливо, но члены шайки разбойников должны знать друг друга, чтобы быть шайкой, и быть друг с другом в более или менее тесной связи. Между тем я впервые из обвинительного акта узнал фамилию Шаранговича и впервые увидел его на суде. Впервые узнал о существовании Максимова. Никогда не был знаком с Плетневым, никогда не был знаком с Казаковым, никогда не разговаривал с Раковским о контрреволюционных делах, никогда не разговаривал о сем же предмете с Розенгольцем, никогда не разговаривал о том же с Зеленским, никогда в жизни не разговаривал с Булановым и так далее.

Этим заявлением Бухарин фактически дезавуировал свое собственное признание о существовании «блока». О каком «блоке» могла идти речь, если его члены не поддерживали отношений, а в некоторых случаях даже не подозревали о существовании друг друга?

На этом последнее слово Бухарина не завершилось. Он потребовал доказательств по каждому пункту предъявленного обвинения. Подсудимый категорически отрицал свою причастность к шпионажу, не признавал связей с Троцким. Решительно отверг обвинение в участии в убийстве Кирова, Куйбышева, Менжинского, Горького. Отрицал подготовку покушения на Ленина и Сталина...

Но тогда возникает вопрос, что же имел в виду Бухарин, признавая свою вину? Исчерпывающий ответ на этот вопрос теперь уже не даст никто. Но повод для размышления на эту тему можно найти в показаниях самого Бухарина:

— Это у меня не моя защита, это у меня самообвинение. Я ни одного слова в мою защиту не сказал. Если формулировать практически мою программную установку, то это будет в отношении экономики — государственный капитализм, хозяйственный мужик-индивидуал, сокращение колхозов, иностранные концессии, уступка монополии внешней торговли и результат — капитализация страны.

По этому поводу между Бухариным и Вышинским состоялся показательный диалог.

— К чему сводились ваши цели? Какой общий прогноз вы давали?

— Прогноз сводился к тому, что будет большой крен в сторону капитализма.

— А оказалось?

— А оказалось совсем другое.

— А оказалась полная победа социализма. И полный крах вашего прогноза?

— И полный крах нашего прогноза.

С позиций сегодняшего дня в этих словах Бухарина можно обнаружить определенный иронический смысл. Но тогда за это полагались ежовские застенки и пуля в затылок. Этим выстрелом и закончился поединок Прокурора СССР и бывшего члена Политбюро ЦК ВКП(б) на крупнейшем в истории Советского государства судебно-политическом процессе. Итог этого поединка — и политический, и правовой, и нравственный — подведен лишь в наше время.

В нескончаемом ряду обреченных, прошедших через ежовские застенки и скамью подсудимых на судебных процессах 30-х годов, одной из самых трагических фигур, безусловно, является Николай Николаевич Крестинский. В течение многих десятилетий это имя вычеркивалось из истории партии, вытравлялось из сознания людей и, казалось, навсегда предано забвению. Между тем Николай Крестинский — личность крупнейшего исторического масштаба. Достаточно вспомнить, что еще при Ленине он был единственным секретарем Центрального Комитета, который одновременно входил в состав Политбюро и Оргбюро ЦК. Иначе говоря, задолго до Сталина Крестинский стал высшим должностным лицом в партии большевиков.

И вот в марте 1938 года на скамье подсудимых Октябрьского зала Дома союзов рядом с Бухариным и Рыковым занял место бледный, нездорового вида человек в стальных круглых очках. Арест и длительное пребывание в ежовских застенках тяжело сказались на его физическом и моральном состоянии. Подсудимый Крестинский выглядел потрясенным и подавленным.

Оглашается обвинительное заключение по делу так называемого «правотроцкистского блока». В гулкой тишине Октябрьского зала звучит бесстрастный голос председательствующего Ульриха:

— «...Обвиняемый Крестинский Н. Н. по прямому заданию врага народа Троцкого вступил в изменническую связь с германской разведкой в 1921 году...»

Председательствующий еще долго зачитывал подготовленный Ежовым и Вышинским многостраничный следственный документ, в котором пунктуально перечислялись многочисленные обвинения, выдвинутые против каждого из 21 подсудимых. Но вот процедура оглашения окончена, и Ульрих задает обязательный в суде вопрос: признают ли они себя виновными? Принципиальный момент процесса. Вся последующая тактика защиты в значительной мере определяется ответом подсудимого. Лишь отрицательный ответ дает возможность продолжать борьбу если не за освобождение (такого рода иллюзий никто из подсудимых не питал), то по крайней мере за доброе имя. Но — увы! Все сидящие на скамье подсудимых охотно признают свою виновность, без борьбы соглашаются с выводами обвинительного заключения.

— Признаю.

— Да, признаю.

— Признаю полностью...

Казалось, никто и ничто не может нарушить обреченного однообразия этих ответов. С монотонностью маятника Ульрих продолжает задавать свои вопросы:

— Подсудимый Крестинский, вы признаете себя виновным в предъявленных вам обвинениях?

И вдруг:

— Я не признаю себя виновным. Я не троцкист. Я никогда не был участником «правотроцкистского блока», о существовании которого я не знал. Я не совершил также ни одного из тех преступлений, которые вменяются лично мне, в частности я не признаю себя виновным в связях с германской разведкой.

В зале суда напряженная пауза. Нахмурился за столом государственного обвинителя Вышинский. Открыл том уголовного дела Ульрих. Для такого случая у него наготове достаточно ядовитый вопрос:

— Ваше признание на предварительном следствии вы подтверждаете?

— Да, на предварительном следствии признавал, но я никогда не был троцкистом.

Ответ подсудимого явно не устраивает председательствующего:

— Повторяю вопрос, вы признаете себя виновным?

— Я до ареста был членом Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) и сейчас остаюсь таковым.

Нарушившее плавное, размеренное течение процесса упорство подсудимого начинает заметно раздражать Ульриха:

— Вы признаете себя виновным в участии в шпионской и в террористической деятельности?

— Я никогда не был троцкистом, я не участвовал в «правотроцкистском блоке» и не совершил ни одного преступления.

В тот памятный первый день процесса Ульриху так и не удалось вырвать из уст Крестинского слова признания. Подсудимый стоял непоколебимо.

Тогда за дело принялся Вышинский. Видимо, почувствовав, что справиться с Крестинским столь прямолинейным натиском в открытом судебном процессе будет непросто, обвинитель предпринял обходный маневр. После перерыва он не стал задавать вопросы Крестинскому, а предпочел допросить другого подсудимого — Бессонова,

бывшего советника советского посольства в Берлине. В этом была существенная психологическая тонкость. Люди Ежова еще на предварительном следствии намекнули Бессонову, что его оговорил именно Крестинский. Поэтому на суде бывший дипломат дал волю чувствам и поведал о своем содельце много такого, что Вышинский мог быть доволен результатами допроса. Бессонов, в частности, показал, что Крестинский поручил ему поддерживать связь с Троцким.

Тогда Вышинский потребовал объяснений по этому факту у Крестинского. Тот признал, что неоднократно встречался с Бессоновым, в том числе и за рубежом, однако ни о чем подобном разговор никогда не возникал.

— А о троцкистских делах? — допытывался Вышинский.

— Мы с ним не говорили. Я троцкистом не был.

— Никогда не говорили?

— Никогда.

— Значит, Бессонов говорит неправду, а вы говорите правду? Вы всегда говорите правду?

— Нет.

— Не всегда. Подсудимый Крестинский, нам придется с вами разбираться в серьезных делах, и горячиться не нужно. Следовательно, Бессонов говорит неправду?

— Да.

— Но вы тоже не всегда говорите правду. Верно?

— Не всегда говорил правду во время следствия,— вносит существенное уточнение подсудимый.

— А в другое время всегда говорите правду?

— Правду.

— Почему же такое неуважение к следствию: когда ведут следствие, вы говорите неправду? Объясните.

«Крестинский молчит»,— отмечено в протоколе судебного заседания. Каждый раз, когда речь заходила о следствии в застенках Ежова, подсудимые немели.

— Ответов не слышу,— торжествует Вышинский.— Вопросов не имею.

Но спустя непродолжительное время он вновь возвращается к Крестинскому, как коршун кружит над своей жертвой:

— Вы не были троцкистом?

— Не был.

— Никогда?

— Нет, я был троцкистом до 1927 года,— уточняет подсудимый.

Для обвинения это уже кое-что. К допросу немедленно подключается председательствующий:

— В начале судебного заседания на мой вопрос вы ответили, что никогда троцкистом не были. Вы это заявили?

— Я заявил, что я — не троцкист.

Вновь вступает Вышинский.

— Итак, вы до 1927 года были троцкистом? — обвинитель спешит зафиксировать этот факт, которому на процессе придается особое значение.

— Был,— отвечает подсудимый.

Вышинский выразительно разводит руками, подчеркивая важность полученного признания.

Однако можно ли считать это показание признательным? Ведь до 1927 года троцкизм существовал как легальное политическое течение в ВКП(б). Сам же Троцкий в этот период занимал ряд высших постов в партии и государстве. Так что Крестинский контактировал не с «врагом народа», а с членом Политбюро ЦК, председателем Реввоенсовета Республики, наркомом по военным и морским делам. А это принципиально меняло ситуацию. Политический залп обвинителя оказался холостым.

ПОДСУДИМЫЙ ПЕРЕХВАТЫВАЕТ ИНИЦИАТИВУ

Опытный юрист Вышинский и сам, несомненно, вполне осознавал недостаточность такого рода «признания» подсудимого. Поэтому на следующем этапе допроса всячески старался добиться показаний о том, что и после 1927 года, когда XV съезд ВКП(б) признал принадлежность к троцкистской оппозиции несовместимой с пребыванием в партии, Крестинский не порвал с троцкизмом. Однако подсудимый упорно стоял на своем:

— Я датирую мой разрыв с Троцким и троцкизмом 27 ноября 1927 года, когда я... направил Троцкому резкое письмо с резкой критикой.

— Письма этого у нас в деле нет,— объявляет Вышинский.— У нас есть другое письмо — ваше письмо на имя Троцкого.

— Письмо, о котором я говорю, находится у... следователя, потому что оно изъято у меня при обыске, и я прошу о приобщении этой переписки,— заявляет ходатайство Крестинский.

— В деле есть письмо от 11 июля 1927 года, изъятое у вас при обыске,— не обращает внимания на ходатайство подсудимого Вышинский.

— Там же есть письмо и от 27 ноября,— настаивает подсудимый.

— Нет такого письма,— резко бросает Вышинский, чувствуя, как незаметно парадоксальным образом переменились роли: привыкшему задавать вопросы государственному обвинителю в данном случае самому приходится от них отбиваться.

— Не может быть,— не отступает Крестинский.

Приведенный диалог показателен по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, он свидетельствует о том, что в ходе допроса подсудимому фактически удалось перехватить инициативу. Вышинский не нашел ничего лучшего, как прибегнуть к немотивированному отрицанию. Во-вторых, что более важно, вопрос, поднятый Крестинским, сразу же поставил под сомнение объективность предварительного следствия. Ведь неприобщение к делу изъятых во время обыска вещественных доказательств — серьезное нарушение требований ст. 183, 184 УПК РСФСР 1923 года. При некоторых же обстоятельствах такое нарушение может даже образовать состав должностного преступления.

Все это Вышинский, как опытный юрист высочайшей квалификации, безусловно, учитывал. И дело не в том, что он опасался ответственности за подобного рода нарушение процессуального режима собирания доказательств: следственная практика того времени хранит и не такие тайны. Значительно больше его заботила декоративная сторона процесса, который перед лицом общественного мнения должен был выглядеть с точки зрения законности безупречным. Иначе не стоило затевать открытое судебное разбирательство, приглашать корреспондентов, иностранных наблюдателей. Вполне можно было обойтись испытанными средствами, когда люди в застенках Ежова исчезали бесследно без всякого суда. Но если уж было принято решение о проведении открытого, гласного судебного процесса, то престиж власти должен был быть обеспечен безусловно. Вот за это Вышинский отвечал персонально. Поэтому уже на следующий день он выступил в суде со специальным заявлением:

— По моему требованию сейчас были проверены документы, изъятые при обыске у Крестинского. Среди них имелась копия его письма, на которое ссылался вчера Крестинский...

Этим заявлением Прокурор СССР фактически признал факт нарушения требований уголовно-процессуаль-

ного закона при производстве предварительного следствия. Статья 183 УПК РСФСР 1923 года содержит императивное требование: «Все отбираемые при обыске и выемке документы и другие предметы должны быть предъявлены понятым и другим присутствующим лицам и перечислены в особой описи, составляемой на месте обыска или выемки, и приобщены к протоколу». В данном же случае в материалах уголовного дела изъятого при обыске документа не оказалось. Причину этого нетрудно понять, если ознакомиться с содержанием документа: он полностью подтверждал показания Крестинского о разрыве с Троцким.

Весь этот эпизод можно рассматривать как частный, но безусловный процессуальный успех Крестинского. И государственному обвинителю стоило немалых трудов нейтрализовать его значение. Так, Вышинский утверждал, что письмо от 27 ноября 1927 года с резкой критикой Троцкого было написано Крестинским исключительно в целях конспирации и маскировки действительных отношений. Однако каких-либо доказательств в пользу этой версии обвинитель привести не смог, поэтому дискредитировать документ не удалось.

ДОПРОС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Когда нет доказательств, то лучший способ добиться успеха — попытка опорочить личность оппонента. Этот нехитрый прием, известный еще со времени инквизиционных процессов, Вышинский, видимо, усвоил неплохо. И стал нажимать на моральную сторону ложных показаний Крестинского.

— Когда я вас допрашивал на предварительном следствии, вы мне говорили правду?

— Нет,— односложно отвечает подсудимый.

— Почему вы мне говорили неправду? Я вас просил говорить неправду?

— Нет.

— Я вас просил говорить правду?

— Просили.

— Почему же, когда я вас прошу говорить правду, вы все-таки говорите неправду и заставляете следователя писать это, а потом подписываете? Почему?

— Я дал прежде, до вас, на предварительном следствии неправильные показания.

Здесь, казалось бы, неизбежно со стороны государ-

ственного обвинителя должен был последовать вопрос о причинах ложных показаний обвиняемого на предварительном следствии. Но это направление допроса Вышинского совершенно не интересует.

— И потом держались? — уходит он от опасной темы.

— И потом держался,— подхватывает Крестинский,— потому что на своем личном опыте пришел к убеждению, что до судебного заседания, если таковое будет, мне не удастся опорочить эти мои показания.

— А теперь вы думаете, что вам их удалось опорочить?

— Нет, но не это важно. Важно то, что я заявляю, что не признаю себя троцкистом. Я не троцкист.

Снова все вернулось в исходную точку. Вышинский ничего не добился. Нужно было менять тактику допроса. И прокурор решает сосредоточиться на отдельных инкриминирующих обвиняемого деталях его показаний на предварительном следствии. Он долго листает материалы дела и после некоторой паузы продолжает допрос:

— Вы сообщали, что вы находились на особо конспиративном положении. Что это значит — «особо конспиративное положение»?

— Вы же знаете...

— Вы меня в качестве свидетеля не привлекайте к этому делу. Я вас спрашиваю, что значит — на особо конспиративном положении?

— Это было сказано в моем показании...

— Вы не хотите отвечать на мои вопросы?

— Эта фраза о том, что я нахожусь на особо конспиративном положении, есть в моем показании от 5 или 9 июня, которое от начала до конца является неправильным.

— Я не об этом вас спрашиваю, поэтому прошу не спешить с ответами. Я спрашиваю, что значит — «нахожусь на особо конспиративном положении»?

Этот фрагмент допроса характерен для стиля Вышинского: отказ обвиняемого от своих показаний игнорируется, причины такого отказа не выясняются, любые попытки поставить под сомнение материалы предварительного следствия решительно пресекаются.

Но Крестинский стоит на своем:

— Это не соответствует действительности.

— Это мы будем потом выяснять. Я хочу понять смысл заявления о том, что вы находитесь на особо конспиративном положении.

Логика абсурда: прокурор хочет «понять смысл заявления», которое «не соответствует действительности». И упорно при этом ничего не желает слушать о том, что же ей соответствует. Такая тактика, однако, приносит свои плоды. Крестинский начинает объяснять:

— Если бы это соответствовало действительности, то это означало бы, что я, будучи действительно троцкистом, принимаю все меры для того, чтобы скрыть свою принадлежность к троцкизму.

Обратим внимание: сказано в сослагательном наклонении. Крестинский отнюдь не подтверждает своего «особо конспиративного положения», а лишь объясняет смысл самого термина. Но прокурор придает словам подсудимого иное, утвердительное значение:

— Прекрасно, а чтобы скрыть, надо отрицать свой троцкизм?

— Да,— вынужден согласиться Крестинский.

Этим немедленно воспользовался прокурор.

— Сейчас вы заявляете, что вы не троцкист. Не для того ли, чтобы скрыть, что вы троцкист?

На такие логические ловушки фантазия Вышинского неистощима.

«Крестинский молчит»,— снова появляется протокольная запись. Наконец он отвечает:

— Нет, я заявляю, что я не троцкист.

Тогда Вышинский обращается к суду:

— Можно спросить обвиняемого Розенгольца? Обвиняемый Розенгольц, вы слышали этот диалог?

— Да,— следует ответ со скамьи подсудимых.

— Как вы считаете, обвиняемый был троцкистом?

— Он троцкист.

— Обвиняемый Крестинский, прошу слушать, а то потом вы будете заявлять, что не слышали.

Последние слова прокурора он действительно уже почти не слышал — острая боль пронзила сердце.

— Мне стало нехорошо,— скорее прошептал, чем сказал Крестинский.

— Если обвиняемый заявляет, что ему нехорошо, я не имею права его допрашивать.

Широким жестом прокурора подсудимый, однако, не воспользовался:

— Мне нужно только принять таблетку, и я могу продолжать.

— Вы просите вас пока не допрашивать? — осведомился Вышинский.

— Несколько минут,— тихо произнес подсудимый. В этом месте судебного заседания согласно элементарным этическим и нравственным нормам следовало немедленно объявить перерыв. Но... Ульрих безмолвствует. Зато проявляет повышенную активность Вышинский:

— А вы можете слушать, как я буду допрашивать других?

— Могу,— едва прошептал Крестинский.

— Обвиняемый Розенгольц, какие у вас данные, что Крестинский — троцкист и, следовательно, он говорит здесь неправду?

Розенгольц сообщает то, что требуется обвинителю. Крестинский не опровергает. На это уже нет сил.

Прокурор вызывает для допроса подсудимого Гринько. Тот тоже дает показания против Крестинского.

Сердечный приступ постепенно отступает. Лишь только поутихла боль и появилась физическая возможность защищаться, Крестинский тут же заявляет свои возражения. Однако обвинитель напоминает ему содержание его показаний на предварительном следствии. Подсудимый отвечает, что они не соответствуют действительности.

— Когда мы на предварительном следствии спрашивали у вас, как вы говорили по этому поводу? — задает вопрос Вышинский.

— Давая показания, я не опровергал ни одного из своих прежних показаний, которые я сознательно подтверждал.

— Сознательно подтверждали. Вы вводили прокуратуру в заблуждение. Так или нет?

— Нет.

— Зачем вам нужно было вводить меня в заблуждение?

— Я просто считал, что если я расскажу то, что я сегодня говорю, что это не соответствует действительности, то это мое заявление не дойдет до руководителей партии и правительства.

Заявление достаточно красноречивое. Помимо всего прочего, оно вполне убедительно свидетельствует о том, что во время следствия возможности обратиться к высшему руководству у Крестинского не было.

— Но ведь протокол вы подписывали?

— Подписывал.

— Вы помните, что я вам прямо поставил вопрос,

нет ли у вас какого-либо заявления или претензии к следствию. Было так? — настаивает Вышинский.

— Да, было.

— Вы мне ответили?

— Да,— подтверждает подсудимый.

— Я спрашивал, есть ли у вас претензии или нет?

— Да, я ответил, что претензий нет,— согласился Крестинский.

— Если спрашивают, есть ли претензии, то вам надо сказать, что есть.

— Есть в том смысле, что я не добровольно говорил.

Это уже не прозрачный намек. Это решительное заявление о незаконных методах предварительного следствия. Тема для государственного обвинителя достаточно опасная. Ее дальнейшее развитие грозило срывом процесса. Поэтому Вышинский предпочел на этом прекратить допрос Крестинского и заняться другими, более покладистыми подсудимыми.

...Для дачи показаний вызывается подсудимый Алексей Иванович Рыков.

— Выходит, что Крестинский говорит здесь неправду и пытается отвертеться от связи с троцкистами? — задает явно наводящий вопрос Вышинский.

В таком вопросе — очевидная подсказка. И подсудимый понял, что от него требуется. Более того, в своем ответе он пошел гораздо дальше рубежа, который указал своим наводящим вопросом обвинитель.

— Он не только говорит неправду,— произнес Рыков,— а хочет спутать ту правду, которая здесь есть.

— Обвиняемый Крестинский, вы слышите это? — вопрошает обвинитель с полным удовлетворением от предыдущего ответа.

— Да, слышал.

— Вы не подтверждаете это?

— Я не подтверждаю, что я говорил неправду, и не подтверждаю, что хочу спутать правду.

И этот натиск Вышинского не дал результатов. Николай Крестинский по-прежнему тверд. И тогда обвинитель решил сделать ставку на чувства, которые должен был испытать подсудимый, услышав не просто от однодельца, но от друга показания, которые губили Крестинского непоправимо. Быть может, он в порыве праведного возмущения поведением друга и его увлечет с собой в могилу?

— У меня вопрос к Крестинскому,— объявляет об-

винитель.— Но вам известно было, что Рыков занят подпольной борьбой?

— Нет,— раздается твердый ответ со скамьи подсудимых.

— Неизвестно? — Вышинский явно разочарован, замысел не удался.

— То есть я знал об этом из тех сообщений, которые делались на пленуме Центрального Комитета,— уточняет Крестинский.

— Ах, только так,— не может скрыть неудовольствия государственный обвинитель.

— Только так,— упорно твердит подсудимый.

Этим диалогом заканчивается недолгая, но мужественная борьба Крестинского в зале судебного заседания. Он ни в чем не уступил Прокурору СССР, за спиной которого стояла мощь целого государства. Его не сломили долгие месяцы предварительного заключения в застенках Ежова. Он не стал перед судом оговаривать своих товарищей по несчастью.

ПОСЛЕ НОЧИ В ЗАСТЕНКАХ ЕЖОВА

Если бы процесс этим и завершился, то Крестинский, безусловно, вошел бы в историю судебных репрессий как явление исключительное и уникальное... Но... увы. Не составил исключения и он. Уже на следующий день Крестинского было не узнать. На скамье подсудимых появился небрежно одетый человек с явными признаками душевной депрессии. Глубокая апатия прерывалась нотами отчаяния, которые явственно слышались в его голосе.

— У меня один вопрос к Крестинскому,— начал очередной вопрос Вышинский,— что значит... ваше вчерашнее заявление, которое нельзя рассматривать иначе, как троцкистскую провокацию на процессе?

Опустив голову и глядя в пол, Крестинский тихо произнес:

— Вчера под влиянием минутного острого чувства ложного стыда, вызванного обстановкой скамьи подсудимых и тяжелым впечатлением от оглашения обвинительного акта, усугубленным моим болезненным состоянием, я не в состоянии был сказать правду, не в состоянии был сказать, что я виновен. И вместо того чтобы сказать — да, я виновен, я почти машинально ответил — нет, невиновен.

— Машинально? — переспрашивает Вышинский.

— Я не в силах перед лицом мирового общественного мнения сказать правду, что я вел все время троцкистскую борьбу. Я прошу суд зафиксировать мое заявление, что я целиком и полностью признаю себя виновным по всем тягчайшим обвинениям, предъявленным лично мне, и признаю себя полностью ответственным за совершенные мною измену и предательство.

— У меня больше вопросов к подсудимому Крестинскому пока нет.

Вышинский поспешил допрос на этом завершить. Между тем невыясненные вопросы остались. И важнейший среди них вот уже более полустолетия составляет неразгаданную тайну этого процесса: что случилось со второго на третье марта 1938 года в ежовских застенках на Лубянке? Какое событие столь разительным образом повлияло на бывшего члена Политбюро и секретаря ЦК? В чем причина этой невероятной метаморфозы?

За истекшие десятилетия на этот счет высказано множество догадок и предположений. Выдвигается, например, версия о том, что Крестинский присутствовал в зале судебного заседания лишь в первый день процесса. Потом его место на скамье подсудимых занял специально подготовленный двойник. Подобную версию разделяет, в частности, Камил Икрамов, сын одного из обвиняемых по этому делу, А. И. Икрамова... «Даже по стенограмме процесса,— пишет он,— это видно: другая фразеология, другая лексика и совсем невероятные объяснения».

У автора настоящей публикации не сложилось такого впечатления от чтения стенограммы. Стилистические и лексические различия речи вполне могут быть объяснены душевной депрессией. Что же касается невероятных объяснений, то это не единственный случай на процессе, где царила логика абсурда. Впрочем, все высказывания действующих лиц судебного разбирательства воспроизведены дословно, поэтому внимательный читатель при желании вполне может составить свое мнение на этот счет самостоятельно.

Существует и другая версия: вся история с отказом Крестинского признать свою виновность, а затем полным раскаянием в совершении тяжких преступлений — заранее отрепетированный спектакль. Такая инсценировка понадобилась якобы для того, чтобы придать больше убедительности процессу. Лучшее средство для этого — демонстрация противоборства сторон. Однако на поверку

и эта версия оказывается маловероятной. Достаточно обратиться хотя бы к приведенным фрагментам допроса, как это становится совершенно очевидным. В самом деле, разве хоть в малой степени напоминают они согласованные и отрепетированные диалоги? И разве могло быть заранее запланировано, например, разглашение подсудимым неприглядной истории о сокрытии следственными органами важного вещественного доказательства? Или его заявление о том, что свое признание на предварительном следствии он сделал «не добровольно»? Все эти вскрывшиеся на суде факты серьезно дискредитируют процесс, поэтому предположение о том, что такого рода акция заранее планировалась, представляется по меньшей мере противоречащим здравому смыслу.

Значительно более обоснованной представляется иная версия. Сохранились свидетельства очевидцев о методах воздействия на Николая Крестинского, которые применяли люди Ежова на предварительном следствии. Так, бывший начальник санчасти Лефортовской тюрьмы Розенблюм во время допроса в 1956 году показал:

«Крестинского с допроса доставили к нам в санчасть. Он был тяжело избит, вся спина представляла из себя сплошную рану, на ней не было ни одного живого места. Пролежал, как помню, он в санчасти три дня в очень тяжелом состоянии».

Это показание не может служить прямым доказательством событий, происшедших в ночь со второго на третье марта, поскольку относится к несколько более раннему периоду. Однако в качестве косвенного доказательства оно вполне допустимо, так как характеризует методы воздействия, применявшиеся к Крестинскому.

Есть и другие сведения такого же рода. Так, немецкий инженер Ганс Метцгер, отбывавший наказание в советских лагерях, по возвращении в Германию рассказывал, что в 1939 году ему довелось ехать в одном тюремном эшелоне с Бессоновым. Тем самым, который проходил по одному делу с Крестинским и был осужден к 15 годам лишения свободы. От Бессонова Метцгер узнал, что Крестинского той ночью пытали, вывихнули левое плечо.

Наконец, нельзя исключить и возможность использования в качестве средства давления на подсудимого угроз по отношению к его дочери.

Однозначный ответ на вопрос о том, что же случилось в ту трагическую ночь в ежовских застенках на Лубянке,

видимо, уже не удастся дать никогда. Как никогда не будет найдена и безвестная могила Николая Николаевича Крестинского.

Смертный приговор, подписанный Ульрихом в марте 1938-го, отменен в части, касающейся Крестинского, еще в середине 50-х годов. Но лишь сегодня возвращается историческая правда о трагедии одного из немногих, кто под угрозой смерти посмел оказать сопротивление.

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ ГЕНРИХ ЯГОДА

В марте 1938 года, когда на открытый судебный процесс в Октябрьском зале Дома союзов вывели последнюю большую группу сподвижников Ленина, рядом с Рыковым и Бухариным, Крестинским и Раковским на скамье подсудимых отстраненно и угрюмо сидел человек, который еще вчера допрашивал и казнил Зиновьева и Каменева, а сегодня объявлен их тайным сторонником.

Вечернее заседание 5 марта 1938 года. Прокурор СССР Вышинский допрашивает Бухарина и Рыкова. Оба подсудимых категорически отрицают свое участие в убийстве Кирова. Тогда прокурор обращается к Ягоде. Тот с полуслова понимает, что от него требуется:

— И Рыков, и Бухарин говорят неправду...

— Имели ли к этому отношение правые?

— Прямое, так как блок правотроцкистский.

— Имели ли к этому убийству отношение, в частности, подсудимые Рыков и Бухарин?

— Прямое.

— Имели ли к этому убийству отношение вы, как член «правотроцкистского блока»?

Минутное замешательство.

— Имел,— вздыхает Ягода.

Впрочем, бывший нарком тут же спохватился и стал горячо доказывать, что лично он категорически возражал против террористического акта в отношении Кирова.

— Почему? — спрашивает Вышинский.

— Я заявил, что никаких террористических актов не допущу. Я считал это совершенно ненужным.

— И опасным для организации? — тут же подсказывает ответ государственный обвинитель.

Ягода не чувствует западни.

— Конечно,— подтверждает он.

Вышинский мог быть доволен. Мотивы, которыми руководствовался обвиняемый, теперь выглядят совершенно

иначе: одно дело — возражать против террористического акта по принципиальным соображениям, другое — из опасения поставить под удар организацию.

— Вы лично после этого приняли какие-нибудь меры, чтобы убийство Сергея Мироновича Кирова осуществилось? — продолжает допрос Вышинский.

— Я лично? — в смятении переспрашивает Ягода.

— Да, как член блока.

— Я дал распоряжение...— подсудимый запнулся.

— Кому? — последовал стимулирующий вопрос обвинителя.

— В Ленинград Запорожцу,— ответил Ягода. И, немного помолчав, вдруг добавил: — Это было немного не так.

— Об этом будем после говорить,— поспешил одернуть подсудимого Вышинский.

Такая реакция опытнейшего прокурора кажется необъяснимой. Ведь совершенно очевидно, что подлинные обстоятельства убийства Кирова имели первостепенное значение. И уж, казалось, кому, как не организатору этого преступления, их знать. Но... Вышинский не обнаруживает ни малейшего любопытства. И к этому вопросу, вопреки своему обещанию, больше не возвращался.

— Сейчас мне нужно выяснить участие Рыкова и Бухарина в этом злодействе,— изменяет направление допроса государственный обвинитель.

Но Ягоде нечего сказать об этом. Он снова о своем:

— Я дал указание Запорожцу. Когда был задержан Николаев...

— В первый раз? — уточняет Вышинский.

— Да,— подтверждает подсудимый.— Запорожец приехал и доложил мне, что задержан человек...

— У которого в портфеле...— подсказывает обвинитель.

— Были револьвер и дневник,— продолжает Ягода.— И он его освободил.

— А вы это одобрили?

— Я принял это к сведению.

— А вы дали потом указания не чинить препятствий тому, чтобы Сергей Миронович Киров был убит?

— Да, дал...— отвечает Ягода. И вдруг взрывается: — Нет, не так.

— В несколько иной редакции? — осторожно направляет подсудимого Вышинский.

— Это было не так, но это неважно.

Приведенный фрагмент допроса производит впечатление явной недосказанности. Трудно избавиться от ощущения, что тайна убийства Кирова где-то рядом. Но она ускользает, причем не столько в результате запирательства подсудимого, сколько в связи с абсолютным нежеланием государственного обвинителя получить важнейшую информацию.

Что это — профессиональная ошибка прокурора? Но вся предыдущая и последующая деятельность Вышинского начисто отвергает такое предположение. Сегодня, когда историческая правда высветила немало страниц отечественной истории, во многом можно обвинять Вышинского, во многом, но... только не в отсутствии профессионализма. Юристом он был первоклассным. Иное дело, на службу какому молоху Вышинский поставил свое несомненное дарование? Но этот вопрос далеко выходит за пределы нашей темы. А в ее контексте можно лишь с высокой степенью вероятности констатировать: в приведенном эпизоде с Ягодой Вышинский сознательно отказался от выяснения подлинных обстоятельств убийства Кирова. Почему? Для ответа на этот вопрос потребовалось бы вступить в область умозрительных предположений. А это нарушило бы логику основанного на строгих документальных данных исследования. Поэтому ограничимся сказанным и в порядке информации к размышлению отметим лишь некоторые достоверно установленные факты.

Между Кировым и Ягодой всегда существовали довольно сложные, а порой и напряженные отношения. Очередное их обострение произошло незадолго до смерти Сергея Мироновича. В сентябре 1934 года во время пребывания в Казахстане Киров обнаружил факты злоупотреблений сотрудников НКВД в отношении раскулаченных переселенцев. Он тут же сообщил об этом Ягоде и потребовал наказать виновных. Но следы вели слишком высоко...

Быть может, в этом же контексте межличностных отношений уместно упомянуть и о том, что Ягода в период своего неуклонного продвижения по иерархической лестнице власти едва ли не был заинтересован в уменьшении влияния Кирова на генсека. В связи с этим в печати уже высказывалось предположение, что к убийству секретаря ЦК Ягода по крайней мере «мог иметь отношение».

Такая версия в части ее мотивации нам представ-

ляется малообоснованной. Не исключая возможности участия Ягоды в убийстве Кирова, вместе с тем нельзя не признать, что мотивы такого преступления по логике вещей должны были быть более высокого порядка. Сегодня они от нас пока ускользают, как ускользает и многое другое в понимании подлинных причин и движущих сил этого убийства. Поэтому остановимся там, где нет достоверного знания, не станем ступать на зыбкую почву слабо документированных предположений, а продолжим обозрение материалов судебного процесса.

ПО ОБВИНЕНИЮ В «МЕДИЦИНСКИХ УБИЙСТВАХ»

Утреннее заседание 8 марта. Суд приступает к исследованию обстоятельств так называемых «медицинских убийств». Подсудимым инкриминировалось несколько таких эпизодов, в том числе убийства Менжинского, Горького, его сына Максима Пешкова и других. Допрошенные по этим эпизодам врачи Левин, Казаков, Плетнев свою вину признали полностью и при этом достаточно согласованно изобличали Ягоду как организатора всех этих преступлений.

Бывший секретарь наркома внутренних дел подсудимый Буланов показал, что Ягода держал на службе несколько токсикологов, имел особый шкаф, в котором хранились флаконы с ядами. По мере необходимости шеф НКВД якобы передавал их своим агентам.

Подсудимый доктор Левин подробно рассказал суду, при каких обстоятельствах он был завербован бывшим наркомом, и привел разговор, который, по его словам, имел место между ними еще в 1932 году:

— Он сказал: «Учтите, что не повиноваться мне вы не можете, вы от меня не уйдете... Вы никому не сможете об этом рассказать. Вам никто не поверит. Не вам, а мне поверят. Вы в этом не сомневайтесь. Вы это сделайте. Вы обдумайте, как можете сделать, кого можете привлечь к этому. Через несколько дней я вызову вас». Он еще раз повторил, что невыполнение этого грозит гибелью и мне, и моей семье. Я считал, что у меня нет другого выхода, я должен ему покориться.

Сходные с этим показания дал и подсудимый Казаков. Личность этого кремлевского врача представляет несомненный интерес. В свое время он пользовался благожелательным расположением Сталина, был одним из

весьма немногих специалистов, кому вождь доверял лечение своих болезней.

Много лет спустя бывший министр здравоохранения СССР Б. В. Петровский рассказывал:

«С молодых лет Сталин страдал псориазом — хронической кожной болезнью. Еще в тридцатые годы он прошел курс лечения белковыми препаратами — лизатами у некоего доктора Казакова. Инъекции этого малоэффективного, по сути, знахарского препарата несколько помогли Сталину, и тогда по велению вождя весьма посредственному врачу Казакову срочно создали специальный «Институт обмена веществ», оснастили первоклассным дорогостоящим импортным оборудованием... Доктор Казаков буквально процветал. Но произошло непредвиденное. Пятно, поразившее кожу генсека, стало вновь увеличиваться. Казаков, только что вкусивший славы, был арестован...»

И вот теперь этот так и не оправившийся от нервного потрясения человек, запинаясь, рассказывал суду о том, как однажды доктор Левин передал ему распоряжение Ягоды немедленно явиться в НКВД. Во время встречи нарком якобы предложил ему умертвить своих высокопоставленных пациентов. По словам Казакова, Ягода при этом добавил: «Имейте в виду, что если вы попытаетесь не подчиниться мне, то я сумею вас быстро уничтожить».

Государственный обвинитель предлагает Ягоде дать объяснение по этому факту.

— Подсудимый Ягода, давали вы поручение Левину о вызове к вам Казакова для разговора?

— Я этого человека вижу первый раз здесь.

Двусмысленный ответ: то ли вообще не видел до этого ни разу, то ли никогда ранее не встречался в этом зале...

— Значит, такого поручения вы Левину не давали?

— Я давал поручение Левину переговорить...

— С кем? — торопит Вышинский.

— С Казаковым, но сам лично его не принимал.

— Я вас не спрашиваю, принимали вы его или нет, а я спрашиваю, давали вы поручение Левину переговорить с Казаковым?

— Поручения переговорить с Казаковым я не давал.

— Вы только что сказали, что давали Левину такое поручение.

Вышинский не случайно слыл крупнейшим профессионалом своего дела — допросы он вел мастерски: умело

набрасывал логическую петлю, не прощал малейших промахов, из неточных выражений умел сделать содержательные выводы. Вот и сейчас Ягода был уличен в явном противоречии. Но какова его природа? Действительно ли подсудимый пытался скрыть свои преступные связи с доктором Казаковым, или противоречие в показаниях чисто логического свойства? Материалы дела не дают оснований для однозначного вывода. Но вот что невольно обращает на себя внимание: по версии обвинения, на роль убийц Ягода избрал совершенно посторонних людей, да и еще влиял на них исключительно путем грубого давления. И кому же он вздумал угрожать? Доктору Левину, например, врачу, который лечил Сталина и его семью. Словно умышленно подставляя себя под угрозу разоблачения, вопреки элементарным требованиям конспирации Ягода все переговоры с ним вел лично, без посредников, нимало не опасаясь, что одно лишь слово врача своему всемогущему пациенту... Словом, более чем сомнительно, чтобы опытнейший специалист тайных операций, прошедший школу ВЧК—ГПУ—ОГПУ—НКВД с первых дней образования этой системы, мог избрать столь примитивный, опасный, практически обреченный на неминуемое разоблачение способ совершения преступления.

Но это лишь предположение. А вот факт: подпись доктора Левина стоит под медицинским заключением о причинах смерти Орджоникидзе. Как выяснилось уже в наше время, это заключение было сфальсифицировано. Относится же оно к периоду, когда Ягода уже несколько месяцев как был отстранен от должности руководителя НКВД. Следовательно, существовала другая, быть может, более могущественная рука, которая направляла деятельность доктора Левина. Но это стало ясно лишь теперь, когда приоткрылась тайна гибели Орджоникидзе. А тогда, на мартовском процессе 1938 года, показания доктора Левина и других врачей в отношении Ягоды, как мы уже имели возможность убедиться, ни у кого не вызывали сомнения. Тем более что сам Ягода путался в своих показаниях, недоговаривал и просил разрешения суда не отвечать на некоторые вопросы обвинения.

Характерен в этом отношении допрос подсудимого Ягоды по инкриминируемому ему эпизоду «медицинского убийства» председателя ОГПУ Менжинского. Государственный обвинитель оглашает показания Ягоды на предварительном следствии, в которых он признал себя виновным в совершении этого преступления.

— Вы это показывали, обвиняемый Ягода?

— Я сказал, что показывал, но это неверно.

Вышинский снова обращается к протоколу допроса на предварительном следствии:

— «Я вызвал Казакова к себе, подтвердил ему мое распоряжение... Он сделал свое дело, Менжинский умер». Показывали это, обвиняемый Ягода?

— Показывал.

— Значит, вы встречали Казакова?

— Нет.

— Почему вы показывали неправду?

— Разрешите на этот вопрос не отвечать.

Вышинский охотно разрешает.

— Вы отрицаете, что вы организовали убийство Менжинского?

— Отрицаю.

— В том показании вы это признали?

— Да.

— Когда вас допрашивал Прокурор Союза, то вы как ответили на этот вопрос о своем отношении к убийству Менжинского?

— Тоже подтвердил.

— Подтвердили. Почему вы подтвердили?

— Разрешите на этот вопрос не отвечать.

Вышинский снова не настаивает.

— Тогда ответьте на последний вопрос. Вы заявляли какие-нибудь претензии или жалобы по поводу предварительного следствия?

— Никаких.

— Сейчас тоже не заявляете?

— Нет.

— Садитесь,— Вышинский удовлетворен.

Суд переходит к исследованию обстоятельств смерти сына Горького Максима Пешкова. Согласно обвинительному заключению, по приказу Ягоды личный секретарь Горького Крючков систематически спаивал Максима Пешкова и однажды оставил его в нетрезвом состоянии на всю ночь на садовой скамейке. Когда же Пешков простудился и тяжело заболел, к нему направили врачей Левина, Виноградова, Плетнева, которые опять же по приказу Ягоды залечили своего пациента насмерть.

Все допрошенные по этому эпизоду врачи свою вину признали полностью. При этом они единодушно показывали на Ягоду как на инициатора и организатора преступления. Несколько особняком в этом отношении стоят

показания Крючкова. В отличие от других подсудимых он заявил, что пошел на убийство Максима Пешкова не только в результате давления со стороны Ягоды, но и по соображениям личных корыстных интересов. По его словам, со смертью сына Горького он рассчитывал остаться самым близким писателю человеком, что позволяло впоследствии рассчитывать на его литературное наследство.

Такое заявление имело для обвинения особое значение, поскольку это был практически единственный случай в ходе процесса, когда просматривалась хоть какая-то личная заинтересованность подсудимого в инкриминируемых ему действиях. Безмотивных умышленных преступлений, как известно, не бывает. Это Вышинский всегда учитывал. Поэтому всячески поощрял такого рода показания Крючкова, не без основания полагая, что установление судом мотивов его преступления повлияет и на оценку достоверности его показаний в отношении Ягоды, главного действующего лица в этом эпизоде. Вышинский всячески подводил суд к тому выводу, что преступные цели наркома совпадали с личными корыстными интересами непосредственного исполнителя. А это уже цепь фактов, составляющих основу процесса доказывания в уголовном судопроизводстве.

И Ягода не смог эту цепь разорвать. Между тем показания Крючкова о своей корыстной заинтересованности в убийстве сына Горького не выдерживают проверки элементарной логикой. На какое наследство мог рассчитывать скромный секретарь писателя при наличии у Горького многочисленных ближайших родственников, в том числе жены, невестки, двух внучек? Не говоря уж о том, что литературное наследие писателя признавалось всенародным достоянием и поступало под контроль государства?! Так что мотивировка Крючкова при ближайшем рассмотрении оказывалась совершенно несостоятельной.

Но Ягода ни о чем таком на процессе не говорил. Он просто отрицал. Упорно, яростно и даже, как отмечали впоследствии присутствовавшие в зале судебного заседания, «со злобой».

— Так что все, что говорит Крючков...

— Все ложь,— прерывает Вышинского Ягода.

— Вы ему такого поручения о Максиме Пешкове не давали?

— Я заявлял, гражданин прокурор, что в отношении

Максима Пешкова никаких поручений не давал, никакого смысла в его убийстве не вижу.

— Так что Левин врет?

— Врет.

— Казаков говорит ложь?

— Ложь.

— Крючкову по поводу смерти Максима Пешкова поручений не давали? Вы на предварительном следствии...

— Лгал.

— А сейчас?

— Говорю правду.

— Почему вы лгали на предварительном следствии?

— Я вам сказал. Разрешите на этот вопрос вам не отвечать.

По утверждению присутствовавших на процессе зарубежных наблюдателей, в этом месте произошел эпизод, не вошедший в протокол судебного заседания. Когда в допрос включился председательствующий суда Ульрих и стал настаивать на ответе, Ягода, повернувшись к нему лицом, вдруг тихо произнес:

— Вы можете на меня давить, но не заходите слишком далеко. Я скажу все, что хочу сказать... Но... слишком далеко не заходите.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПОДСУДИМОГО ЯГОДЫ

После перерыва на вечернем заседании 8 марта Ягода выглядел уже полностью сломленным. Запинаясь, он читал свои показания с листа, который дрожал в его руках. По свидетельству очевидцев, «читал так, словно видел текст в первый раз».

На этом заседании подсудимый признал свою вину и в связях с «правотроцкистским блоком», и в так называемом «кремлевском заговоре» с Енукидзе, и в организации убийства Кирова, Куйбышева, Горького. Вопреки своим показаниям на предыдущем судебном заседании, он принял на себя ответственность и за убийство Менжинского. И лишь в отношении смерти Максима Пешкова по-прежнему стоял на своем.

Почему же именно по этому эпизоду, который в системе предъявленных Ягоде обвинений был отнюдь не главным и который сам по себе уже никак не мог повлиять на участь подсудимого, он проявил столь несокрушимое упорство?

Ответ на этот вопрос может быть только предполо-

жительный. Но и предположения для того, чтобы не превратиться в фикцию, должны основываться на реальных фактах. А они таковы. Имеются свидетельства того, что Ягода оказывал недвусмысленные знаки внимания жене Максима Пешкова Надежде. Как сообщил много лет спустя после описываемых событий бывший сотрудник личной охраны Сталина А. Рыбин, «Ягода в это время по ряду причин стал избегать встреч со Сталиным, в том числе из-за своих близких отношений с Н. Пешковой (женой сына М. Горького). Мне не раз приходилось сопровождать его на дачу к Горькому, в Горки-10, на дни рождения Пешковой. Она нередко и сама приезжала на службу к Ягоде. Если бы об этих отношениях узнал Сталин, то он бы, что называется, стер Ягоду в порошок из-за того, что тот разлагает семью Горького».

В этом контексте становится более понятным следующий фрагмент протокола судебного заседания.

— Подсудимый Буланов,— обращается Вышинский к бывшему секретарю Ягоды,— а умерщвление Максима Пешкова — это тоже дело рук Ягоды?

— Конечно.

— Подсудимый Ягода, что вы скажете на этот счет? — требует объяснений прокурор.

— Признавая свое участие в болезни Пешкова, я ходатайствую перед судом весь этот вопрос перенести на закрытое заседание.

В этом, быть может, проявилось своеобразное благородство Ягоды по отношению к женщине, имя которой неизбежно было бы замарано при публичном обсуждении этого вопроса. Бывают ситуации, когда доброе имя близкого человека дороже собственной судьбы. Если именно этим руководствовался подсудимый и двигало им стремление во что бы то ни стало избежать дискредитации и позора любимой женщины, то нравственная сторона этого побуждения не может не вызвать уважения.

Что же касается туманной фразы Ягоды о своем «участии в болезни Пешкова», то смысл ее так и остался неясным. На эту сторону вопроса тут же обратил внимание Вышинский, пытаясь внести в показания подсудимого необходимую в процессе определенность:

— Признаете ли вы себя виновным или не признаете?

— Разрешите на этот вопрос не отвечать.

Генрих Ягода остался верным избранной линии защиты.

Упорство подсудимого при исследовании эпизода, связанного со смертью Максима Пешкова, впрочем, может иметь и другое объяснение. Оно значительно менее романтично, чем только что изложенное, но, пожалуй, более рационально. В нем не присутствуют ни женщина, ни интимная история, ни рыцарское благородство. Зато в полной мере проявляется суровая реальность судебного процесса. Уж не потому ли Ягода, признавшись в многочисленных убийствах крупнейших деятелей партии и государства, продолжал настойчиво отрицать свое участие в отнюдь не решающем эпизоде — убийстве Максима Пешкова, что допрашивавший его государственный обвинитель не очень-то и настаивал? Быть может, в грандиозном судебном спектакле, умело срежиссированном Вышинским, запирательство подсудимого по частному вопросу было необходимым элементом сценария. В самом деле, какой же это суд без борьбы, попыток обвиняемого опровергнуть обвинение, избежать ответственности? И не лучше ли допустить возражения подсудимого по частному вопросу, чем по существу обвинения в целом? Тем более что такие возражения, не влияя на результат судебного разбирательства, создавали впечатление подлинности происходящего, состязательности процесса.

Если именно такими соображениями руководствовался Вышинский, то надо признать, что своей цели он достиг. Многих удалось ввести в заблуждение относительно подлинной сущности судебного разбирательства в Октябрьском зале Дома союзов.

Однако более внимательный взгляд непременно обнаружит, что концы с концами не всегда сходятся. В показаниях того же Ягоды немало фрагментов, которые ставят под сомнение достоверность представленных в суд материалов дела. Вот один из них.

Ягоду допрашивает защитник Левина адвокат Брауде.

— Позвольте спросить, какими методами вы добивались согласия Левина на осуществление этих террористических актов?

— Во всяком случае, не такими, как он здесь рассказывал.

— Вы подробно сами говорили об этом на предварительном следствии. В этой части вы подтверждаете ваши показания?

— Они утрированы, но это не имеет значения.

Сразу возникает масса вопросов. Кем утрированы? Самим обвиняемым? Но тогда по какой причине? Что

могло заставить обвиняемого «утрировать показания» себе во вред? Или кто? А может быть, они «утрированы» следователем?

В попытках инкриминировать подсудимому как можно больше преступлений Вышинскому подчас изменяла в целом в высокой степени присущая ему логичность мышления. Так, на процессе он обвинил Ягоду в связях с немецкими фашистами. Это еврея-то (!) в 1938 году, когда Германия уже покрылась сетью концентрационных лагерей по уничтожению еврейского населения, а взгляды расистов в фашистской форме все пристальнее обращались к Востоку?! Но Вышинский, видимо, и сам почувствовал абсурдность такого обвинения. Во всяком случае, в дальнейшем он не стал развивать эту тему.

В последнем слове Ягода свою вину признал, однако при этом заявил, что никогда не входил в состав руководства «правотроцкистского блока». По словам подсудимого, его лишь ставили в известность о решениях центра и требовали неукоснительного их исполнения.

Завершая свое последнее в жизни выступление, Ягода произнес знаменательную фразу:

— Граждане судьи! Я был руководителем величайших строек — каналов. Сейчас эти каналы являются украшением нашей эпохи. Я не смею просить пойти работать туда хотя бы в качестве исполняющего самые тяжелые работы...

Но даже там места ему уже не было. На рассвете 13 марта 1938 года суд огласил приговор. Подсудимый Генрих Ягода признавался виновным и подлежал высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение в подвале того же большого дома, где осужденный некогда чувствовал себя полновластным хозяином...

В феврале 1988 года Пленум Верховного суда СССР полностью реабилитировал Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова и других обвиняемых по делу «правотроцкистского блока». За единственным исключением: протест на приговор в отношении бывшего наркома внутренних дел Г. Ягоды Прокуратурой СССР не вносился и судом не рассматривался. И тому есть основательные причины. Хотя в материалах дела отсутствуют достаточно достоверные доказательства виновности обвиняемых, в том числе и Ягоды, вина его неоспорима. Но состоит она в другом: в репрессиях середины 30-х годов он был одним из главных действующих лиц. Нельзя отождествлять жертв репрессий и их палачей.

ОПРАВДАНИЕ ПРОИЗВОЛА

А. ГРОМЫКО

ПАШУКАНИС ПРОТИВ ВЫШИНСКОГО

Когда я в начале тридцатых годов приехал в Москву, то не только в Академии наук СССР, но и в других кругах столичной интеллигенции много толковали об отношениях между Пашуканисом и Вышинским. Да и в целом информация об их серьезных столкновениях в области понимания права находила широкое распространение.

Кем же был Пашуканис?

Правовед Евгений Брониславович Пашуканис в двадцатые и тридцатые годы пользовался большим авторитетом в среде ученых-юристов. Его имя было известно также практическим работникам прокуратуры и суда.

На протяжении ряда лет между ним и Прокурором СССР А. Я. Вышинским существовала самая настоящая вражда. Я редко встречал людей, которые высказывались бы одобрительно о взглядах Вышинского. Зато труды Пашуканиса оценивались высоко.

Надо учесть, что все это происходило во время поляризации мнений в науках, имевших отношение к праву. Все больше давал о себе знать культ личности Сталина.

После одной из лекций Пашуканиса ему задали вопрос:

— Как вы оцениваете кредо Вышинского: признание — царица доказательства вины?

Пашуканис ответил:

— К истине иногда ведет долгий путь, даже тогда, когда обвиняемый, кажется, сложил оружие и ему нечего больше привести в доказательство своей правоты.

Такой ответ, конечно, не представлял собой категоричное осуждение позиции Вышинского, но ведь надо учесть, что тогда было за время. В судебных процессах меч карал не тех, кто совершал преступления в угоду культу личности, а тех, кто искал справедливости.

С той кафедры ответ Пашуканиса прозвучал все же как вызов организаторам необоснованных репрессий.

Перед учеными-правоведами встал вопрос, с кем они.

Пашуканис не покривил душой. Свою принципиальность, научную добросовестность он не стал приносить в жертву антинаучной преступной концепции, которой присягнул Вышинский. Жестоко за это поплатился честный ученый Евгений Брониславович Пашуканис — своей жизнью.

Позже я узнал, что труды Пашуканиса высоко оценивались и за рубежом. Специфика тогдашней советской действительности не помешала ученым других стран увидеть в работах Пашуканиса много ценного для мировой юридической науки, особенно по общей теории права, а также по истории права и политических учений.

М. ИШОВ

ЖЕСТОКОСТЬ И ЛОЖЬ

Бывший работник военной прокуратуры М. М. Ишов был арестован в сентябре 1938 года. Арест санкционировал Вышинский. 17 сентября 1939 года решением особого совещания Ишов был признан виновным в проведении антисоветской агитации и заключен в исправительно-трудовые лагеря сроком на пять лет. Освободился лишь по отбытии полного срока назначенного наказания. Реабилитирован в 1955 году. В своих воспоминаниях он рассказывает о встрече с Вышинским весной 1938 года.

Когда в апреле 1938 года я вернулся из Москвы в Сибирь, началась горячая пора. Усилив борьбу с нарушителями советского закона, я был вынужден снова перенести вопрос об этом в областной комитет партии, приводя в подтверждение сотни фактов грубейшего нару-

шения прав человека. Как я понял, секретари обкома все чувствовали, видели и знали, но к великой печали, были не в силах что-либо изменить. Я начал убеждаться, что я борюсь с ветряными мельницами и что руководящие партийные работники обкома также находились под неослабным наблюдением и контролем НКВД. Партийных руководителей райкомов, обкомов, крайкомов с необычной легкостью арестовывали и заключали в тюрьму. Страшный ярлык «врага народа» продолжал навешиваться на честных людей.

Мои усилия в борьбе за законность практически оказывались тщетными. Ничего изменить я не мог, если не считать нескольких десятков невиновных людей, освобожденных мною из тюрьмы, и ареста немногих мерзавцев, фабриковавших уголовные дела. Все это было каплей в море.

Во мне все восставало против клеветы и издевательств. Непрерывно мучила мысль, как же выйти из создавшегося тупика. Ведь отчетливо было видно, как вся государственная машина активно работает на такое страшное зло. Но одновременно с этим я не переставал верить в доброту и справедливость. Мечталось о правде, а число фактов нарушения и искажения законов росло с каждым днем.

Бороться с фальсификаторами становилось все труднее и труднее. И вот в июле 1938 года я принял решение добиться свидания с Генеральным прокурором СССР Вышинским, для чего выехал в Москву, захватив с собой собранный мною материал о фактах грубейшего нарушения законности. За каждым документом стоял живой человек.

Кроме того, произведенные к тому времени аресты членов ЦК, секретарей ЦК Украины Косиора, Хатаевича, видного политического деятеля Постышева, вожака питерской комсомолии и секретаря Ленинградского обкома партии Петра Смородина, о ком слагались поэмы, секретаря ЦК комсомола Косарева, наркома просвещения Бубнова, крупного военачальника Дыбенко и многих других — заставили серьезно и очень о многом задуматься. Творившееся беззаконие зашло слишком далеко, приняв огромные размеры.

Вскоре я узнал об аресте еще ряда видных государственных деятелей, таких, как Крыленко и Антонов-Овсеенко. Тогда же стало известно об аресте Карахана, Калмыкова, Шацкого, Рудзутака, Сосновского, Михаила

Кольцова, Бруно Ясенского, Эйхе и многих-многих других.

Еще острее я почувствовал результаты произвола и беззакония, от которого бессмысленно гибнут лучшие ленинские кадры, а их и так с каждым днем оставалось все меньше и меньше.

Итак, в июле 1938 года со всеми материалами я приехал в Москву. Некоторые товарищи в Главной военной прокуратуре убеждали меня в нецелесообразности встречи с Вышинским, говоря при этом, что он уже давно обо всем происходящем знает и мой разговор с ним ничего не даст. Однако мое стремление увидеться с Вышинским было велико, и отказаться от него я не пожелал. Я добивался намеченной цели, и через несколько дней мне сообщили о времени приема.

К назначенному часу, не без внутреннего волнения, я приехал в Прокуратуру СССР, захватив с собой весь материал, с которым рассчитывал ознакомить Вышинского. Вместе со мной на приеме у Генерального прокурора был Розовский. С большими надеждами и не меньшим волнением я входил в огромный кабинет Вышинского. Непрерывно сверлила мысль: как Вышинский воспримет доклад, как отнесется ко всему, что я ему сообщу? Когда мы вошли в кабинет, Вышинский, указав мне место у своего рабочего стола, предложил сесть и спросил, по какому поводу и «с чем именно» я к нему приехал.

Вынув из портфеля документы, я попросил меня выслушать, сказав при этом: «Андрей Януарьевич, прошу вас ознакомиться с документами, которые неопровержимо свидетельствуют о создании фиктивных дел, об аресте и расстрелах невиновных, честных коммунистов и беспартийных». Кроме того, я попросил Вышинского обратить особое внимание на способы и приемы получения ложных показаний: избиения, издевательства, применение методов средневековой инквизиции.

Выслушав меня, Вышинский обратился ко мне со словами, засевшими в моей памяти на всю жизнь: «Товарищ Ишов, с каких это пор большевики приняли решение либерально относиться к врагам народа? Вы, прокурор Ишов, утратили партийное и классовое чутье. Врагов народа гладить по голове мы не намерены. Ничего плохого нет в том, что врагам народа бьем морду. И не забывайте, что великий пролетарский писатель М. Горький сказал: «Если враг не сдается, его уничтожают». Врагов народа жалеть не будем».

С трудом справившись с охватившим меня волнением, я все же решился высказать Вышинскому, что против преследования действительных врагов народа я не восстаю, но где гарантия, что, избивая всех поголовно, вы безошибочно бьете только врагов народа? Ведь любого человека, если избивать до потери сознания, применяя к нему нечеловеческие пытки, можно заставить подписать какой угодно документ, можно его заставить, вынудить «признаться» в несовершенном им преступлении. Далее, стремясь доказать Вышинскому свою правоту, я высказал мысль, что, ежели человек арестован, то, по всей вероятности, имеются достаточно веские изобличающие его доказательства. Ну а при наличии неопровержимых улик нет нужды избивать людей. Если нет никаких доказательств в виновности человека, то работники, ведущие следствие, чтобы оправдать незаконные аресты, будут путем избиения и издевательств вымогать нужные им ложные показания, что, собственно, и делается. Где и в чем гарантия, что не будет тяжелых ошибок, что следователи не будут избивать, калечить людей в целях получения нужных им ложных показаний?

Мои (как выразился Розовский) «смелые высказывания» в то время удивили Вышинского. Тогда же он веско сказал: «В эпоху построения коммунизма, в эпоху роста социалистических сил классовый враг ожесточается, обостряет и усиливает свою борьбу. Капиталистически настроенные элементы в последней ожесточенной схватке с коммунизмом способны на любое преступление».

Такое объяснение было для меня непонятным и бездоказательным. «Как же это так получается,— думал я,— строим социализм, переходим к построению коммунизма, а враги народа все растут. Коммунисты, рабочие, трудящиеся, активно строящие коммунистическое общество, вдруг оказываются «капиталистически настроенными элементами» и переходят в стан «врагов народа». Самое главное и совершенно непостижимое, что эта «капиталистическая, враждебно настроенная группа врагов народа, растет не по дням, а по часам».

Долг прокурора заставил меня доказывать Вышинскому порочность применяемых физических методов при допросах. Хотя я чувствовал, что мои доказательства ни к чему не приводят, все же продолжал настаивать на своем, на что-то надеясь. И вдруг я почувствовал ледe-

нящий душу холодок, который стоял в зрачках Вышинского и даже проступал сквозь стекла очков. Этот холодок был в лице, голосе, в обращении, он чувствовался даже в рукопожатии.

Когда я выходил от Вышинского он, обращаясь к Розовскому сказал: «Ну что ж, нужно проверить изложенные здесь товарищем Ишовым материалы и принять меры, а поскольку у тов. Ишова в Сибири создались обостренные отношения с руководством НКВД, то переведите его на работу в аппарат Главной военной прокуратуры, а там будет видно».

Так уж издавна повелось на свете: обманщики обманывают, а легковерные верят. Не отношу себя к категории особо легковерных, но в том, что Вышинский оказался чудовищным и к тому же коварным человеком, обманщиком, я убедился после отъезда из Москвы. Прошло немного дней, и я ясно увидел, что из всех «врагов народа», самый опасный тот, который прикинулся другом. У меня не было сомнения, что у самого Вышинского и вокруг него все дышало жестокостью и ложью.

А. ВЕНГЕРОВ

ЗАКОННОСТЬ, КАК ЕЕ ПОНИМАЛ ВЫШИНСКИЙ

До сих пор нет ни одной серьезной научной работы, где были бы, как говорится, «по совокупности» рассмотрены все «научные заслуги» Вышинского, выявлена его истинная роль в становлении теории и практики сталинизма. Вообще в последнее время он как бы ушел в тень, заслоненный зловещими фигурами Ягоды, Ежова, Берии, поток разоблачений почти его не коснулся. Естественно, возникает вопрос: может быть, и не было этой особой негативной, идеологической роли Вышинского?

Обратимся к истории. В 30-е годы в партии, да и в государстве именно Вышинский стал «главным юридическим теоретиком», идеологом, обеспечивавшим правовое прикрытие всем ныне хорошо известным преступлениям Сталина и его подручных. Тогда же был избран послушной Академией наук в свои действительные члены, минуя все другие степени и звания. Именно он сменил на посту директора Института права АН СССР «вредителя» Е. Пашуканиса, ныне полностью, но — увы! — посмертно реа-

билитированного. Вышинский, как сам он победно сообщал в одной из реляций Сталину, выкорчевал «разного рода антимарксистские извращения и фальсификации марксистско-ленинского учения о государстве и праве», которыми «засоряли юридическую литературу враги народа — агенты фашистских разведок».

«Незначительные теоретические ошибки», главная из которых — *всего лишь* преувеличение доказательственного значения признания обвиняемого, по сути дела, были теоретическим оправданием разворачивавшейся на полную мощь репрессивной прокурорско-судебной машины, которая помогала карательным органам перемалывать судьбы «раскулаченных» и просто «несогласных» крестьян, «вредителей»-рабочих и инженеров, «шибко умных» интеллектуалов, а порой, и своих, ужаснувшихся до протеста, служителей. Обвинительные речи Вышинского зажигали толпы на митингах и собраниях тех лет, исступленно оравшие «смерть врагам народа!», провоцировали статьи в газетах и журналах, призывавшие «расстрелять», «стереть с лица земли» [1], подписанные — увы! — теми, кто, казалось, должен был проходить по ведомству «совесть народа». А сплошь поддакивавшие главному правовому идеологу ученые-юристы? Только ли Сталин растлил их духовно и нравственно?

Нет, не на пустом месте возникло это всеобщее юридическое и социально-истерическое помрачение. Оно имело свои теоретические корни, идеологическую предысторию, свое *Слово*. Одним из первых, кто его произнес, кто исподволь готовил помрачение общественного сознания, был Вышинский. Не только фальсифицированные судебные процессы, другие преступления должны быть поставлены в исторический счет Вышинскому, но и его теоретическая работа по всеобщему юридическому оглуплению народа.

Конечно, дело вовсе не в том, чтобы сейчас, спустя столько лет, сводить счеты с усопшим, прах которого покоится в кремлевской стене — этом некрополе-загадке для будущих историков: так причудливо перемешались здесь и жертвы, и палачи. Дело в том, что если мы — немедленно и бескомпромиссно — не разберемся в теоретическом наследии *академика* по всему спектру вопросов государства, права, законности, если мы не откажемся от

---

[1] Некоторые кликуши пошли даже дальше. У них в лексиконе появилось словечко «размазать»!

тех юридических догм, которые он вбивал, подчас буквально, в мозги и души своих жертв, а также тех, кто «поддерживал», «одобрял», «призывал», мы не выберемся на дорогу, ведущую к демократическому и гуманистическому обществу, к правовому государству. Именно к Вышинскому прорастают корни многих предубеждений, догм, штампов, которые даже ныне довлеют над обществом, мешают нашему приобщению к общечеловеческим ценностям, не позволяют включиться полностью в мировой цивилизационный процесс.

Особенно это касается юридической науки. Несмотря на бесконечный поток очистительной и покаянной литературы, на исторические труды, политические лозунги и призывы, догматический и вульгарно-упрощенческий теоретический жернов, который Вышинский и его подпевалы от науки 30-х — начала 50-х годов повесили на шею юриспруденции, все еще давит ее, тянет назад, уводит от реальностей современного мира — и отечественных, и зарубежных.

Как часто в учебниках по праву, в иных «принципиальных» статьях мы еще и сейчас встречаем отголоски догматических постулатов, которыми так любил насыщать свои речи и доклады «эрудит» Вышинский. А подчас повторяется и вульгарно-догматическая логика его рассуждений, касается ли это правового государства, буржуазной и революционной законности, правоохранительных институтов, демократии, определения предмета права и его отраслей, оценки доказательств в судебной практике, роли репрессий и многих других государственно-правовых вопросов.

Одним из самых первых теоретических «достижений» Вышинского был скромный по меркам будущих речей и выступлений доклад защитникам в Московской области в 1933 году. Еще впереди утверждения новоявленного теоретика о том, что работа школы Пашуканиса в области теории права — «провокаторская, диверсионная работа в прямом смысле этого слова, т. е. в прямом смысле статьи 58-9 УК РСФСР», и что «ряд грубейших извращений и искажений по всем линиям науки советского права — это и составляло основное содержание работы разоблаченных ныне предателей». Еще не высказал автор доклада благодарность «замечательной сталинской разведке во главе с Николаем Ивановичем Ежовым за то, что не отдали всю нашу страну в разбойничьи лапы вредителей, террористов и диверсантов». Все это прозву-

чало позже, в том числе и на первом совещании научных работников права 16—19 июля 1938 года.

Но уже в 1933 г. обкатывались, «исправлялись и дополнялись» главные теоретико-юридические установки, в которых остро нуждались его бывший сокамерник и не очень грамотные юридически соратники вождя. Формулировались тезисы-догмы, необходимые для оправдания гипертрофии бюрократического централизма, взращивания неограниченной личной власти Сталина на почве, щедро удобренной сталинскими же идеями обострения классовой борьбы по мере успехов социализма, массовыми репрессиями и страхом...

Тезис-догма **первая:** *буржуазная законность полностью загнила, разложилась, распалась, сменилась прямым террором. Революционная, социалистическая законность непрерывно укрепляется, расцветает, служит трудящимся.*

Да, именно в таком вот упрощенном «бело-черном» изображении, в примитивном противопоставлении, в абстрактном огрублении и оглуплении представил Вышинский «правовую природу» законности — одну из самых болевых точек советского общества начала 30-х годов. Обратимся к тексту доклада.

«Буржуазная законность как сила, как рычаг в руках буржуазии регулирования общественных отношений одряхлела. Одряхлела буржуазия, одряхлела и буржуазная законность. Пришло время сдать ее в архив. На место законности, которая отслужила свое время в буржуазном обществе и которая, дряхлея, загнивая, клонясь к своему окончательному уничтожению и крушению, разделяет судьбу самого капиталистического общества, на место этой законности выступают неприкрытые методы прямой расправы буржуазии, неприкрытые никакими судебными приговорами, никакими судебными формулами, никакими статьями законов, кроме одних,— чрезвычайных законов» [1]. И далее: «Именно сейчас, когда покрывало этой (буржуазной — *А. В.*) законности сброшено, и когда ее звериная сущность разоблачена и обнажена до предела, отвратительные рубцы, покрывающие тело и лицо этой законности, становятся для всех ясными. Теперь они никого не могут обмануть, сколько бы «правовой» косметики на эти ланиты не было положено» [2].

[1] *Вышинский А. Я.* Революционная законность и задачи советской защиты. М. 1934. С. 15.

[2] Там же. С. 19.

А вот и аргументы: «Сколько убито за последний год по сравнению с 1930 г. в капиталистических странах?.. (Вышинский не снисходит до того, чтобы сказать, о каких странах идет речь и какими источниками он пользуется.) Оказывается, что в 1930 г. было казнено без суда 65,5 % всех убитых, казнено по суду 34,5 %. В 1931 г. казнено без суда 80,2 %, казнено по суду 19,8 %. В 1932 г. убито, т. е. казнено без суда, 97,7 %, казнено, т. е. убито по суду — 2,3 % (читатель уже может догадаться, что Вышинский попросту каждый раз добавляет разницу до 100 %)... В 1933 г. убито по суду 2 %, а без суда убито почти (?!) 98 %. А где же закон? Где же буржуазная законность?»[1],— лицемерно вопрошает автор доклада. (Увы, аналогичная статистика о жертвах 1937—1938 гг. в его собственной стране никогда не будет оглашена Вышинским.)

«Причины разложения и гибели буржуазной законности те же, что и причины разложения и гибели буржуазного парламентаризма и буржуазной демократии»[2],— делает вывод докладчик.

По Вышинскому, буржуазная законность повсюду, а стало быть и в США, Англии, Франции, перешла на путь внесудебного террора, буржуазный парламентаризм и демократия погибли. И он добавляет: «В 1932 г. в капиталистических странах (опять же — в каких: в фашистской Германии или в буржуазно-демократических скандинавских странах, или в Англии?) было убито 345 тыс. человек, ранено 250 тыс. человек, арестовано и брошено в капиталистические застенки 650 тыс. человек»[3]. Здесь нет утрировки. У Вышинского именно так: «Буржуазная законность погибает, сходит на нет... Она разделяет судьбу буржуазного общества, которое клонится к упадку, загнивает, переживает свои последние дни»[4].

Позволю себе сделать необходимое отступление. Такой огульно-примитивный, вульгарно-догматический подход, выдаваемый за классовый, демонстрирующий якобы марксистско-ленинскую чистоту, партийность обществознания, начал насаждаться в 30-е годы и господствовал до последнего времени в умах многих преподавателей-обществоведов. Способствовали этому и программы неко-

---

[1] *Вышинский А. Я.* Революционная законность и задачи советской защиты. М. 1934. С. 16.

[2] Там же. С. 19.

[3] Там же. С. 15.

[4] Там же. С. 19.

торых учебных курсов. Вот, например, программа, по которой годами, в том числе и даже в 1989 г., преподавали теорию государства и права. Почти в каждой теме значится: «Критика буржуазных взглядов на причины правонарушений и юридическую ответственность в социалистических государствах... Критика буржуазных концепций вечности государства и права... Критика буржуазных взглядов на соотношение права, морали и других социальных норм в социалистическом обществе... Критика буржуазных и ревизионистских взглядов на формы социалистического государства, разоблачение антикоммунизма по вопросам функциональной характеристики деятельности социалистического государства... Критика антикоммунизма по вопросам сущности государства и права... Кризис буржуазной законности в империалистических государствах. Критика взглядов буржуазных советологов и ревизионистов на социалистическую законность и правопорядок...» и т. д. и т. п. Сплошь критика, сплошь разоблачения. Ничего позитивного, никакого опыта, который было бы полезно перенять.

И действительно — зачем? Ведь еще со времен Вышинского все прояснено. Буржуазное право, законность, демократия, даже парламентаризм давно уничтожены, а то, что имеется — бесчеловечно, направлено против трудящихся. И разве можно было усомниться в правильности такого классового подхода, не рискуя еще и сейчас получить из уст иных «генералов» от научного коммунизма ярлык — сторонник конвергенции, ревизионист, а в недавние времена — и оргвыводы.

И Вышинский, и составители подобных учебных программ, помимо прочего, основывали свои аргументы на вырванных из контекста цитатах из трудов Маркса, Ленина, касающихся конкретно-исторических условий XIX — начала XX в., гражданской войны и т. п.

Вышинский особенно ловко манипулирует ссылками на основателей марксизма, приводит широко известное высказывание Ленина о том, что эпоха величайших революционных битв... по форме должна начаться (и начинается) растерянными потугами буржуазии избавиться от ею же созданной и для нее ставшей невыносимой законности; цитирует Энгельса: «стреляйте первые, господа буржуа». О Марксе же говорит следующее: «Маркс гениально предугадал путь, двигаясь по которому буржуазия должна была прийти к тому, к чему она в действительности и пришла в настоящее время, к ликвидации

своей «демократии» и своего парламентаризма, к открытому провозглашению своей звериной диктатуры, к отмене законности и утверждению голого бесправия» [1].

А что же революционная, социалистическая законность? Как она виделась в те годы «главному теоретику права»? Здесь были побиты все мыслимые рекорды демагогии и лицемерия: «На другом полюсе мы имеем подлинную законность пролетарского государства... С этой настоящей законностью,— потому-то она и называется социалистической законностью,— не могут идти ни в какое сравнение «законности» каких бы то ни было государств, каких бы то ни было периодов человеческой истории» [2]. В противоположность буржуазной законности «...в условиях пролетарской диктатуры мы можем констатировать процесс все большего и большего укрепления революционной законности. Там — процесс разложения, загнивания законности буржуазного государства; у нас — все большее и большее усиление, укрепление законности» [3].

Вспомним, когда это говорилось. Только что прошел пик коллективизации с бесконечными преступлениями и ее организаторов, и исполнителей. Незаконно применяется ст. 107 УК РСФСР, предусматривавшая ответственность за спекуляцию, для конфискации у крестьян зерна (25 % его передается доносителям — идет нравственное разложение общества). Только что завершились фальсифицированные процессы: промпартия, шахтинское дело, «союзное бюро» меньшевиков. Все последствия некомпетентного, административно-командного управления Сталина и его выдвиженцев списываются на мифических вредителей и диверсантов. Рабочий класс натравливается на интеллигенцию.

Во многих регионах страны — голод. Умирают сотни тысяч людей, а Вышинский утверждает: «Советское государство растет и крепнет» [4]. Без суда ссылаются на спецпоселение, на строительство каналов и прочих «маяков индустриализации» сотни тысяч граждан. А заместитель Прокурора СССР рисует благостные картины укрепления и усиления революционной, социалистической законности. Ни одного слова о народной трагедии. Лишь

---

[1] *Вышинский А. Я.* Указ. соч. С. 10.
[2] Там же. С. 7.
[3] Там же. С. 20.
[4] Там же. С. 21.

очень глухо, и то как о новых задачах борьбы с классовым врагом в деревне, звучат в докладе ее отголоски.

Впрочем, это была, по-видимому, общая нравственная глухота больших и малых руководителей в эпоху сталинщины. Не стоит, в частности, забывать, как вел себя примерно в то же время другой будущий академик, правда, надевший в конце-концов мученический венец — Н. Вознесенский [1], когда столкнулся с сигналом о страшном неблагополучии.

В одном из статистических отчетов о смертности населения Вознесенский в графе «причина смерти» увидел запись «умер с голоду». Он взял командировку и выехал на место, где проживал в свое время умерший человек. Как пишет автор апологетической биографии Вознесенского, его предположения подтвердились: запись оказалась ложной. Ее сделали те, кто хотел навести злостный поклеп на советскую власть. О поклепах и прочих искажениях отчетности впоследствии он доложил Совнаркому. Так что в 30-е годы уже очень многие видели лишь то, что хотел видеть Сталин [2]. Но вернемся к нашей теме.

О социалистической законности Вышинский выскажет еще несколько «важных» суждений. Одно из них — попытка отмежеваться от нэпа. «Совершенно неправильно некоторые буржуазные, да кое-кто и из наших ученых, историю революционной законности ведут от нэпа... Нужно решительно отклонить такое понимание революционной законности, которое самый ее источник видит в новой экономической политике, а не в диктатуре пролетариата...» [3] Очень уж хочется Вышинскому уйти от новой экономической политики, рожденной в мучительных социальных напряжениях начала 20-х годов — мятежи в Кронштадте, на Тамбовщине, в Поволжье, на Украине, в Сибири. Именно эти движения привели к нэпу, а вовсе не какое-то «озарение» сверху, как кое-кто пытается представить сейчас. Сам Ленин достаточно мужественно рассказал о сложном пути перехода к идеям о продналоге, товарно-денежных отношениях, хозрасчете, кооперации, о новой организации государственной власти и ее соотношении с партией, а также о крупных ошибках

---

[1] В те годы Н. Вознесенский руководил статистической группой в Центральной контрольной комиссии Рабоче-крестьянской инспекции.

[2] См.: *Колотов В. В.* Николай Алексеевич Вознесенский. М. 1976. С. 141.

[3] *Вышинский А. Я.* Указ. соч. С. 22.

на этом пути. Ведь нэп — еще и система новых законов, новое качество законности, возрождение адвокатуры, широкая демократизация. Вспомним хотя бы записки Ленина на сей счет, например «О«двойном» подчинении и законности».

В журнале «Революционная законность» его редактор В. Антонов-Саратовский рассказывает о том, как именно в условиях нэпа формировалась законность, как именно тогда наметился водораздел между двумя этапами в ее развитии [1]. «Особому оспариванию, — пишет В. Антонов-Саратовский, — подвергается принцип строгого и точного выполнения законов. Даже со стороны многих коммунистов сторонники этого принципа получают упреки в буржуазности... Казалось бы у нас не должно было быть двух мнений после замечательного письма Ильича о прокуратуре, в котором он в резкой формулировке дал линию строгой революционной законности, поставив тем самым грань между прошлыми периодами и настоящим... Но даже на XIV съезде партии т. Бухарину приходится убеждать кое-кого в необходимости у нас твердой революционной законности: «Когда, порой, некоторые товарищи, — стыдит Бухарин, — ополчаются против этого, видя в этом отход от славных революционных традиций, это — глупо»...

Вот о чем спорит Вышинский, и вот почему он старается перекинуть мост в первые послереволюционные годы, в диктатуру пролетариата, в революционное, ничем не ограниченное насилие. «Многие наши товарищи в деревне и в городе не учли новой обстановки, не сумели изменить своей тактики... На известном этапе этой борьбы становится гораздо труднее пользоваться теми методами и средствами, которые раньше полностью себя оправдывали» [2] (о том, что же это за методы, речь пойдет чуть позже).

Надолго идеологическим прикрытием всех извращений и деформаций общества — от «уже построенных основ социализма» в середине 30-х до «развитого социализма» 70-х — начала 80-х годов станет и другое положение Вышинского. Со ссылкой на Сталина, он скажет: главное в революционной законности — почему ее по праву называем социалистической — это то, что «ее основой является охрана и защита социалистической общественной

---

[1] См.: Революционная законность. 1926. № 3, 4.

[2] *Вышинский А. Я.* Указ. соч. С. 22.

собственности, потому что, как говорил Сталин, «основная забота революционной законности в наше время состоит, следовательно, в охране общественной собственности, **а не в чем-либо другом»** [1] (выделено мной.— *А. В.*).

Человек с его правами, свободами, обязанностями, ответственностью, с его социальной незащищенностью напрочь исчез у Сталина и Вышинского из сферы революционной законности. Аморальная, антигуманистическая сущность их «законности», именуемой социалистической, была глубоко чужда человеку, и она его, естественно, отторгала. Человек теоретически и практически превращался в «винтик» государственного механизма, был заслонен надолго «государственными интересами», «плановыми заданиями», «великими стройками», «социалистической собственностью», «укреплением и защитой социалистического строя». Сколько талантливых, предприимчивых людей пострадали от бюрократически понятых и приоритетно отстаиваемых «революционной законностью» государственных или общенародных интересов.

И только в последнее время, переосмысливая свои духовные ценности и приоритеты, наше общество поворачивается лицом к человеку, задумывается о реальном состоянии его юридической и социальной защищенности, а точнее, незащищенности.

Мудрый поэт Кайсын Кулиев когда-то писал:

Жизнь знает много радости и боли,
Слез и улыбок, но во все века
Людей, живущих трудно, было боле,
Чем тех, чья жизнь была легка.

Но ведь именно для того чтобы переменить это соотношение, и поднимаются массы на революцию. В возрождении человека видят ее смысл борцы за счастье народа, и только этим можно бы оправдать все социальные, столь обильно жертвенные, потрясения в нашей стране. И как же далеко надо было отступиться от гуманистических, демократических принципов построения государства и его правовых институтов, чтобы полностью исключить самого человека из сферы законности!

Тезис-догма **вторая:** *революционное насилие, самые резкие репрессии оправдываются высшими принципами, на которых строится новый общественный уклад, той целью, к которой стремится социалистическое общество.*

Рассуждая о революционной законности, Вышинский не мог обойти молчанием вопрос о методах и средствах,

---

[1] *Вышинский А. Я.* Указ. соч. С. 20.

с помощью которых она, по выражению Вышинского, «росла и укреплялась». Думаю также, что ему — хочешь-не хочешь — надо было отвечать и на ту социальную критику, которая не могла не присутствовать в общественной атмосфере 30-х годов. Критику, даже не всегда осознанную, придушенную, в основном на уровне обыденного сознания — архивы хранят сотни тысяч жалоб того времени. Ведь сколько зла и обид уже было сотворено! Необходимо было оправдать репрессии, насилие, и Вышинский взялся за их теоретическое обоснование.

«Почему,— рассуждал он,— буржуазная законность обречена на уничтожение? Почему ее лицо извращено и искажено злобой, ненавистью, связанной с применением насилия, подавления и уничтожения?.. Почему насилие пролетарской революции ... озарено светом будущего? Потому что это революционное насилие ... оправдывается теми высшими принципами, на которых строится новый, более высокий, чем капиталистическое общество, общественный уклад, которым прокладывается дорога к новому социалистическому обществу... В этом оправдание наших репрессий, как бы ни были они порой резки и решительны... В этом оправдание тех ударов нашего закона... которые мы бросаем на головы и наших врагов и недисциплинированных, непокорных пролетарскому государству сынов самого рабочего класса, трудящихся масс, подавляя сопротивляющихся государственным требованиям, принуждая их к дисциплине пролетарского государства, к повиновению государству Советов»[1].

Таким — с помощью репрессий, *озаренных светом будущего*,— видится Вышинскому строительство социалистического общества. Думаю, что не ошибусь, если замечу: в этом пункте доклад Вышинского приобретает историческое звучание. По существу, это программа, идеологическое обоснование одного из двух альтернативных путей социального движения советского общества. Пути, обеспечиваемого «сильной рукой», «железным кулаком», «порядком, установленным кнутом, а не пряником». (Разные выражения приходилось слышать!) Другой путь — управление на основе законов при опоре на демократические правовые институты государства. Не подавление репрессиями непокорных трудящихся масс, а привлечение их к идеалам социализма, прежде всего с помощью духовных и материальных его ценностей.

---

[1] *Вышинский А. Я.* Указ. соч. С. 27.

В этой альтернативе заключен, может быть, самый главный вопрос социальных революций — допустимо ли достижение праведных целей массово-репрессивными, а значит, по существу, глубоко аморальными средствами, не превращают ли недостойные средства и саму цель в нечто безнравственное? Вопрос как будто риторический, но он вновь и вновь возникает на крутых исторических поворотах, во время революций, реформ, перестроек и прочих социальных напряжений.

Альтернатива существовала с самых первых дней Октября. Но в годы гражданской войны, новая власть говорила об отсутствии у нее выбора, о необходимости защищать революцию. В 1919—1920 гг. Ленин формулирует понятие диктатуры революционного народа как власти, не ограниченной никакими законами. «Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть» [1]. Ленин допускает в этих условиях даже самосуд народа.

Ленин говорил о насилии, не ограниченном законами, в обстоятельствах социально-экстремальных. Но даже в этих условиях — в условиях гражданской войны — возникал вопрос о социальных издержках красного террора, использования института заложников, внесудебных расправ и т. п. Такие революционные защитные, ответные меры не принимали выдающиеся представители русской культуры. (Вспомним «Несвоевременные мысли» М. Горького, письма В. Короленко к А. Луначарскому.)

В 1921 г., с переходом к новой экономической политике, Ленин говорит уже о принципиально ином отношении к революционной законности, о чем и писал Антонов-Саратовский.

Вышинский же на шестнадцатом году советской власти призывает вновь вернуться к насилию, не ограниченному законами, оправдывает уже совершенные злодейства по отношению к крестьянству. И требует покорности и подчинения... государству, а если вдуматься, покорности и подчинения трудящихся бюрократическому аппарату, который олицетворяет это государство в сталинской модели социализма.

По Вышинскому, цель оправдывает средства. Цель и средства. Не первый раз в истории нашей страны возни-

---

[1] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 41. С. 383.

кал этот фатальный вопрос. В недавно вышедшей книге об Иване Грозном[1] ее автор подталкивает читателя к крупным историческим параллелям между двумя эпохами — Ивана Грозного и Сталина. В XVI в. перед Россией встала задача укрепления государства, централизма. В. Кобрин показывает, что была альтернатива: либо с помощью опричнины, т. е. неограниченных репрессий, террора, вседозволенности и безнаказанности аппарата подавления, либо с помощью избранной рады, т. е. феодально-демократического института, своего рода парламента. Иван Грозный избрал первый путь. Последствия были исторически трагичными: утвердилось крепостное право, общество сверху донизу пронизала психология холопства, разразился общегосударственный экономический кризис. «Аморальные деяния не могут привести к прогрессивным результатам. История опричнины еще раз наглядно демонстрирует справедливость этой утешительной истины», заключает автор книги.

Имеется у нас и другой трагический «опыт» — сталинские репрессии с их чудовищными «пиками», с сокрушительными социальными, экономическими, духовными потерями, которые дают о себе знать до сих пор. В сущности, перестройка — запоздалая реакция власти на этот самоубийственный исторический путь, мучительная, но жизненно необходимая попытка общества выбраться на иную дорогу — демократического, гуманистического, правового развития.

Конечно, исторические параллели очень условны. И отличие диктатуры Ивана Грозного от сталинской не только в том, что Малюта Скуратов сообщал хозяину, скольких бояр он «отделал», а Ежов и Вышинский — сколько они «выявили» или «выкорчевали» врагов народа. И вместе с тем как много общего!

В докладе Вышинский с умилением говорит о воспитательной роли насилия. В качестве примера приводит заключенных-строителей Беломорско-Балтийского канала, которые так «перековались» под влиянием «озаренных светом будущего» репрессий, что даже ордена получали вместе с Ягодой.

Совершает он и еще один теоретический пассаж. Оказывается, репрессии, революционное насилие, учреждения, которые эту «работу» выполняют, «поднимают человеческую культуру на более высокую ступень историче-

---

[1] *Кобрин В.* Иван Грозный. М., 1989.

ского развития» [1]. Не больше, не меньше. Вышинский приводит слова Ленина о том, что за законность надо бороться культурно. «И то, что говорил Ленин,— утверждает Вышинский,— уже делает Сталин. Сталин соединяет вопросы революционной законности с вопросами культуры» [2]. (Надо полагать, что если брошюра попалась на глаза Сталину, это место он читал с особым удовольствием.) Довольно своеобразное понимание культуры и у вождя, и у его главного юридического идеолога. Стоит только вспомнить мрачную, пыточную практику застенков НКВД, введенную по прямому указанию Сталина. Впрочем, впоследствии примерно такое же понимание «культурной революции» обнаруживалось и в других социалистических странах.

Тезис-догма **третья:** *буржуазное правовое государство — это олицетворение такого же кулачного права, как и в средневековье. Ему противостоит государство революционной, подлинно социалистической законности.*

Рассуждая об учреждениях, осуществляющих законность, их великой культуртрегерской роли в пролетарском государстве, Вышинский неизбежно выходил и на более крупную проблему — на понимание государства буржуазного и социалистического, на их оценку. И в этом случае он шел по пути примитивного «черно-белого» противопоставления, отрицая за правовым государством хоть какие-то общечеловеческие, демократические ценности. Именно с того периода и до самого последнего времени иной подход клеймился как «надклассовый, объективистский, ревизионистский».

У Вышинского: «Вот что представляет собой это хваленое «правовое государство» — олицетворение такого же, по существу, кулачного права, но только более утонченного, более рафинированного, более «цивилизованного», чем кулачное право варварского средневековья» [3]. Правовое государство превратилось в фашистское, сохранявшаяся до сих пор иллюзия правового государства окончательно исчезла и рассеялась, утверждает Вышинский. «Правовая почва», по его мнению, всегда была в этом отношении иллюзией, которой эксплуататорские классы пользовались для того, чтобы затемнить сознание трудящихся масс, для того, чтобы крепче держать их в повиновении.

---

[1] *Вышинский А. Я.* Указ. соч. С. 28.
[2] Там же.
[3] Там же. С. 7.

Думаю, что до сих пор еще мало кто осознал всю глубину того поворота в общественном сознании, в общественных науках, который должен произойти в связи с формированием в нашей стране правового государства. Ведь на протяжении многих десятилетий сама идея правового государства осуждалась, выдавалась за правовой камуфляж классовой сущности буржуазного государства.

Я убежден, что и в наше время многие щупальца тянутся от Вышинского. Резко критическое, уничижительное отношение к правовому государству — одно из таких щупалец. Даже в 1987 г. в одном из последних изданий учебника по теории государства и права можно было прочесть: «Настоящая цель создания и широкого использования концепции «социального правового государства» заключается в том, чтобы показать современное буржуазное государство и право в приукрашенном, идеализированном виде, попытаться с помощью пропагандистских средств внушить трудящимся массам, вопреки реальной действительности, мысль о том, что буржуазное, узкоклассовое по своей сути и направленности, право — это их общее право и что, собственно, буржуазное государство и его отдельные органы действуют в интересах всех классов и слоев населения» [1]. Снова упор на классовую сущность, снова критика, разоблачение. И ни слова о принципах правового государства: верховенство законов, разделение властей, равенство всех перед законом, взаимные права, обязанности и ответственность гражданина и государственных органов, независимый суд и т. п. И ничего о том общечеловеческом, демократическом, что накоплено и закреплено в формах правового государства и так ценно для нас, строящих правовое демократическое государство. А ведь именно последнее должно было бы стать восприемником оправдавших себя на практике государственно-правовых форм, точно так же как общество в целом должно стать восприемником всех духовных, организационно-производственных, политических ценностей, накопленных тысячелетним опытом человечества. При этом, разумеется, не следует пренебрегать и нашим отечественным государственно-правовым опытом (например, опытом организации работы Государственной думы).

Мои оппоненты могут возразить: но ведь классовую

---

[1] Теория государства и права (под редакцией М. Н. Марченко). М., 1987. С. 145.

сущность буржуазного правового государства раскрывали еще основоположники марксизма-ленинизма. Маркс, как известно, отрицательно относился к буржуазному правовому государству.

Но здесь ведь вопрос-то в другом. За классовой сущностью в научном анализе упускается из виду решающий для всякого государства вопрос о его формах: способ и организация государственной власти, «сдержки» и «противовесы» в политической системе, территориально-политическое устройство, политический режим, наконец. Исторический опыт показывает, что в рамках одного типа государственного устройства могут быть самые разные формы организации — от прогрессивных до реакционных. И, конечно, для нашего государства здесь нет исключения. Проецирование на него форм правового государства — важнейшая задача юридической науки, которую она явно не выполнила. Взять хотя бы несовместимость с теорией и практикой правового государства тоталитарных, тиранических, культовских форм личной политической власти. Вот почему, расчищая Сталину дорогу к личной диктатуре, Вышинский обрушивается на правовое государство, «вскрывает» его классовую сущность и уходит от вопроса о политико-правовых формах организации этого государства. Свои выводы он «подкрепляет» цитатами. О них стоит поговорить особо, ибо «эрудит» Вышинский явно страдал цитатоманией.

В рукописном наследии Маркса сохранилась заметка: «...буржуазным экономистам мерещится только, что при современной полиции можно лучше производить, чем, например, при кулачном праве. Они забывают только, что и кулачное право есть право, и что право сильного в другой форме (разрядка моя.— *А. В.*) продолжает существовать также и в их «правовом» государстве» [1]. О чем же писал Маркс? Да о том, что право сильного — экономически господствующего класса, т. е. капиталистов,— в буржуазном правовом государстве осуществляется в **другой форме**, чем кулачное право в феодальном обществе.

А что у Вышинского? «Правовое государство — это олицетворение такого же кулачного права»... Явная передержка. Зато снят вопрос о буржуазно-демократических государствах, об устройстве правового государства,

[1] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 12. С. 714.

которое сводится к фашистскому и объявляется исчезнувшим. Такое отношение к правовому государству воспитывалось у советских юристов десятилетиями. Пожалуй, только теперь, в ходе осуществляющихся преобразований, становится видно, сколько же еще усилий — и теоретических, и практических — придется затратить, чтобы подойти к пониманию того, что же нам нужно перенять из политико-правового опыта человечества. Мы начинаем даже не с нулевой, а с минусовой отметки.

Тезис-догма **четвертая:** *государству революционной законности адвокатура не нужна. Нужны защитники, которые в своей работе должны заботиться об интересах этого государства.*

В самом конце доклада Вышинский клеймит адвокатуру и формулирует задачи советской защиты. «26 мая 1922 г. был издан декрет о **так называемой** (выделено мной.— *А. В.*) советской адвокатуре»...[1] (А ведь декрет *ленинский! — А. В.*) «Адвокатура, являясь буржуазным институтом, разделяет судьбу буржуазии... Адвокатура разделила эту судьбу, возглавляя антисоветское движение, как и подавляющее большинство нашей старой, так называемой буржуазной интеллигенции, зараженной, как говорит Сталин, «болезнью вредительства», составляющей тогда, несколько лет тому назад, своего рода моду»[2].

В чем состоят, по мнению Вышинского, пороки адвокатуры? «Прежде всего они заключаются в том, что советский адвокат рассматривает свою работу в советском суде больше с точки зрения интересов своего клиента, чем с точки зрения интересов пролетарского государства в целом»[3].

Адвокатов следует заменить советскими защитниками. Они должны, наставляет Вышинский, «вести свою защиту таким образом, чтобы поднять ее на высоту интересов пролетарского государства... Защищая обвиняемого, не упускать из виду, что советское государство окружено врагами... Принципами советской защиты должны быть принципы советского строительства... Советская защита должна строиться как общественная работа»[4].

В качестве образца такой защиты Вышинский приво-

---

[1] *Вышинский А. Я.* Указ. соч. С. 24.
[2] Там же. С. 31.
[3] Там же. С. 32.
[4] Там же. С. 31.

дит недавние политические процессы, да-да, те самые фальсифицированные процессы... «Мы имеем немало прекрасных примеров, когда защита строилась именно на этой основе, без ущерба для профессиональных задач защиты, и это даже в таких острых политических процессах, как Шахтинский процесс, как процесс Промпартии, процесс электровредителей... В этих процессах наша защита умела представить все свои аргументы в защиту подсудимого, не сходя с принципиальной почвы, общей с судом, с обвинением, со всей страной» [1]...

Я иногда думаю, а если бы уже на этих, самых первых, спектаклях политического театра абсурда, главным режиссером которых был несостоявшийся «поэт» Сталин («Помните, любите, изучайте Ильича, нашего учителя, нашего вождя» — кто из моего поколения не учил эти строки!), защитники сумели бы показать фальсифицированную основу процессов? Смогли бы тогда состояться последующие, все более и более зловещие? Но... не показали. У Вышинского были все основания хвалить советских защитников.

Им он вменял в обязанность и бережное отношение к прокурорам, выступающим обвинителями на процессах: «опровергая обвинителя, *нападающего* (курсив мой — *А. В.*) на подсудимого, советский защитник не должен забывать о том, что этот обвинитель, облеченный доверием пролетарского государства, действует во имя интересов нашего государства» [2]. Заодно Вышинский разделывается и с презумпцией невиновности, да так, что долгие десятилетия она остается лишь юридической фикцией в учебниках по уголовному праву и процессу. «Его (защитника — *А. В.*) тяжелая обязанность — говорить слова защиты в пользу того, кого он сам осуждает как преступника против советского государства» [3]. Еще нет приговора, а уже сам защитник осуждает своего подзащитного как «преступника против государства».

Словом, «нужно поскорее изжить в среде советских защитников старую адвокатскую психологию со всеми ее особенностями, которые являются наследием старого буржуазного общества. Нужно поскорее добиться организации подлинной советской защиты, достойной нового социалистического общества» [4]. Так, вслед за правовым

---

[1] *Вышинский А. Я.* Указ. соч. С. 31.
[2] Там же. С. 35.
[3] Там же. С. 36.
[4] Там же. С. 42.

государством выбрасывает Вышинский и один из важнейших институтов этого государства — адвокатуру, подменяя ее суррогатом послушной государственной защиты.

Но даже такая защита казалась опасной, и, когда в следующем, 1934 г. было введено упрощенное судопроизводство по делам о террористических организациях, участие защиты в этих делах не предусматривалось. Статья 468 УПК РСФСР (в редакции постановления ВЦИК и СНК от 10 декабря 1934 г.) устанавливала: «дела слушаются без участия сторон», ст. 469 — «кассационного обжалования приговора, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускается», ст. 470 — «приговор к высшей мере наказания приводится в исполнение немедленно по вынесении приговора».

И мы знаем теперь, к каким трагическим последствиям привело уничтожение одного из основных институтов правового государства — независимой адвокатуры, организованной как общественный юридический институт. А начался разгром адвокатуры в 1933 году. И вскоре многие адвокаты стали возглашать: «Долой частную лавочку! Мы хотим быть активными помощниками своего пролетарского суда». В судах все чаще стали звучать речи: «Соглашаясь с мнением уважаемого представителя обвинения, я, как советский защитник и добросовестный помощник суда...» Да что 30-е годы! Разве и сейчас так уж редок вопрос: как это может адвокат защищать преступника? (Спрашивающему даже невдомек, что преступником человека может объявить только суд, а до того адвокат защищает гражданина.) Или вот мнение юриста: «и адвокатура в наших условиях — государственное учреждение, а не частная контора». И мнение это высказано в ... 1988 году [1]. Так что рано говорить, что с теоретическим наследием Вышинского покончено. Уж очень много у него оказалось последователей.

И вот еще о чем я думаю. Если сегодня мы возвращаем невинным и мученически погибшим научные звания, восстанавливаем их во всех правах, хотя бы символически, для очистки собственной совести, то, может быть, надо и отнимать посмертно — у тех, кто виновен, все, ими захапанное вопреки совести и разуму? Например, признать недействительным избрание Вышинского в акаде-

---

[1] *Феофанов Ю.* Кто есть адвокат // Известия. 1988. 4 сентября. (Автор цитирует письмо доцента В. Н. Малькевич.)

мики и тем самым лишить его этого почетного звания, а заодно дать объективную оценку его так называемых научных заслуг.

О. ШИШОВ

ЛИДЕР «ПРАВОВОГО ФРОНТА»

На протяжении семнадцати лет Вышинский считался непререкаемым лидером теоретического «правового фронта» борьбы с «врагами народа», к мнению которого должны были прислушиваться все представители отечественной юридической науки.

Вся его научная деятельность представлена двумя сборниками: судебных речей и докладов, а также монографией «Теория судебных доказательств в советском праве». Последняя (в 1947 году) была удостоена Сталинской премии первой степени. Пресса в этой связи всячески восхваляла заслуги лауреата в области развития советской юридической науки и практики коммунистического строительства.

После XX съезда КПСС, развенчавшего культ личности Сталина, теоретическая и практическая деятельность Вышинского была подвергнута критике на страницах печати. К сожалению, эта критика, прекратившаяся с окончанием оттепели, несмотря на свою объективность и обстоятельность, носила несколько абстрактный характер по той причине, что до конца 80-х годов не было ясности в оценке судебных процессов второй половины 30-х годов, на которых во всей полноте проявилась «творческая изобретательность» Вышинского как государственного обвинителя и «теоретика права». Пленум Верховного суда СССР, рассмотрев ряд протестов Генерального прокурора СССР, отменил все приговоры по делам о так называемых антисоветском троцкистско-зиновьевском центре, параллельном троцкистском центре, антисоветском правотроцкистском блоке и многих других процессах. Подавляющее большинство осужденных посмертно реабилитированы. Преданные гласности документы и факты неопровержимо свидетельствовали о зловещей роли Вышинского в инсценировании этих процессов.

Однако не следует впадать в заблуждение и полагать, что, не выдвинь Вышинский своих концепций, обосновывающих судебный произвол, то не было бы массовых репрессий и террора. Дело в том, что законность

грубо нарушалась в нашей стране уже с первых лет советской власти.

Вышинский еще в 30-е годы, обосновывая произвол, заявлял, что революционная законность в известных условиях не исключает и не может исключать отступления от текста закона, в особенности когда он устарел и перестал отвечать требованиям революции. Другими словами, репрессии можно осуществлять и в обход закона. Как Прокурор Союза ССР, он санкционировал существование таких органов внесудебной расправы над гражданами, как «тройки» и особые совещания.

Непосредственно под руководством Вышинского в конце 30-х годов был разработан проект Уголовно-процессуального кодекса. В этом проекте количество статей было сокращено втрое. Это объяснялось тем, что Вышинский стремился удалить из кодекса ряд важнейших норм, обеспечивающих гарантии объективности и всесторонности проведения предварительного следствия и вынесения справедливых и обоснованных приговоров. Он также выступал вообще против четкой регламентации проведения предварительного расследования, считая, что следователи в своей оперативно-розыскной деятельности не должны быть связаны законом. В конечном счете он ратовал за слияние следственного аппарата с оперативно-розыскным, развязывая тем самым руки работникам НКВД, творящим беззаконие.

Большой вред представляли многие положения, высказанные Вышинским и относящиеся к проблемам доказательственного права в уголовном процессе. Прежде всего это относится к характеру истины, устанавливаемой при судебном разбирательстве конкретных уголовных дел. Под истиной в уголовном процессе он понимал высокую степень вероятности совершения обвиняемым преступления.

Уже в 1937 году Вышинский писал, что «условия судебной деятельности ставят судью в необходимость решать вопрос не с точки зрения установления абсолютной истины, а с точки зрения установления максимальной вероятности тех или иных факторов, подлежащих судебной оценке» [1].

Обращает внимание тот факт, что эта концепция была выдвинута в 1937 году в период массовых необос-

---

[1] *Вышинский А. Я.* Проблема оценки доказательств в советском уголовном процессе. Проблемы уголовной политики. Кн. IV. М. 1937. С. 20.

нованных репрессий в нашей стране и что она лила воду на мельницы грубейших нарушений законности. Ведь понятие максимальной вероятности, противопоставляемое абсолютной истине, весьма обтекаемое понятие, не поддающееся точному определению. Руководствуясь максимальной вероятностью, судебные органы вовсе не должны стремиться к установлению достоверности виновности лица в совершенном преступлении. Спустя тринадцать лет Вышинский вновь вернулся к вопросу о характере истины в уголовном процессе.

«В 1937 году в статье «Проблема оценки доказательств в советском уголовном процессе» я защищал позицию, отрицавшую целесообразность и возможность предъявлять суду требование установления абсолютной истины, потому что «условия судебной деятельности ставят судью в необходимость решать вопрос не с точки зрения абсолютной истины, а с точки зрения максимальной вероятности тех или иных факторов, подлежащих судебной оценке». Я и сейчас держусь этой же точки зрения. Требовать от суда, чтобы его решение было воплощением абсолютной истины, явно невыполнимая в условиях судебной деятельности задача, невыполнимая еще и потому, что в судебно-процессуальных условиях особенно затруднена и, может быть, вовсе нереальна попытка провести грань между истиной абсолютной и относительной» [1].

Нетрудно заметить, что Вышинский, пытаясь искусственно перенести в судебную деятельность философские понятия абсолютной и относительной истины, игнорировал тот факт, что истина, устанавливаемая в судопроизводстве, относится к разряду истин в обиходном смысле.

Еще в 1962 году А. Бовин справедливо заметил, что в судопроизводстве речь идет об абсолютной истине как о безусловном знании факта [2]. Истина, которая должна быть установлена в суде, в действительности ничего общего не имеет с философскими категориями абсолютной и относительной истин, имеющих большое значение в познании закономерностей развития природы и общества.

Речь идет о неопровержимых истинах. Максимальная же вероятность виновности никак не могла лежать в основе судебного приговора. Ведь любая вероятность

---

[1] *Вышинский А. Я.* Теория судебных доказательств. М., 1950. С. 201.
[2] См.: Известия. 1962. 8 февраля.

может быть как достоверной, так и недостоверной. А чего стоит такое заявление Вышинского, что в судебном разбирательстве имеются обстоятельства, «независимые от воли судьи»![1] Такая постановка вопроса, с одной стороны, сковывала деятельность судебно-следственных работников, а с другой — толкала на путь наименьшего сопротивления, ибо установить любую степень вероятности значительно проще, чем истину.

Широкая реабилитация сотен тысяч людей, необоснованно репрессированных в 30-е и 40-е годы, проводимая в настоящее время, свидетельствует о том, что судебные инстанции тех лет не очень-то заботились об установлении истины, осуждая ни в чем не повинных лиц. Концепция Вышинского «максимальной вероятности» могла появиться только в обстановке сталинского террора и массовых репрессий в отношении миллионов советских граждан.

Ряд ошибочных положений, не способствующих укреплению законности, а наоборот, поощряющих произвол, был высказан Вышинским по вопросам оценки доказательств в суде, вопросам, неразрывно связанным с проблемой истины в уголовном процессе. Оценка доказательств должна производиться по внутреннему убеждению судей, основывающемуся на фактических обстоятельствах дела. Вышинский же придавал внутреннему убеждению судей какое-то самодовлеющее значение, базирующееся, по сути дела, только на эмоциях. Вышинский так обосновывал свою позицию: «Стоит женщина потерпевшая, свидетель милиционер. Как судья будет решать? Дать ответ на этот вопрос лучше другими показаниями и с другими обстоятельствами дела. Ну а если этих других обстоятельств нет? Тогда весь вопрос сводится к убеждению судьи, и ни к чему иному»[2].

Это явная переоценка субъективных начал в судебной деятельности, игнорирование того факта, что внутреннее убеждение не может основываться только на одних эмоциях судей, а должно всегда основываться на объективных обстоятельствах конкретного дела. Вышинский, характеризуя основные черты советской системы доказательств в процессе, утверждал, что «советская система доказательств опирается на принцип внутреннего убеждения

---

[1] *Вышинский А. Я.* Теория судебных доказательств. С. 202.

[2] *Вышинский А. Я.* Проблема оценки доказательств в советском уголовном процессе // Социалистическая законность. 1936. № 7. С. 21.

судьи, вооруженного социалистическим правосознанием и подлинно научной марксистско-ленинской методологией»[1]. Утверждая это, Вышинский пренебрегал ст. 319 УПК РСФСР 1923 года, где говорилось, что «суд основывает свой приговор исключительно на имеющихся в деле данных, рассмотренных в судебном заседании», а «оценка имеющихся в деле доказательств производится судьями по их внутреннему убеждению, основанному на рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности».

Таким образом, позиция Вышинского находилась в противоречии с действовавшим в то время уголовно-процессуальным законодательством.

При этом он также считал, что при определении уголовного наказания суд должен руководствоваться только своим внутренним убеждением, «только своим социалистическим правосознанием»[2]. Это утверждение явно противоречило уголовному закону, где говорилось, что, назначая наказание, суд должен учитывать не только характер преступного деяния, но и личность преступника, отягчающие и смягчающие его вину обстоятельства. Все эти утверждения Вышинского, а также заявление о том, что советская доказательственная система «...не требует от судьи соблюдения каких бы то ни было формальных условий не только при оценке доказательств, но также и при их отборе и проверке»[3], не способствовали установлению истины по делу и противоречили закону.

Вышинский также выступал и против соблюдения правовых гарантий личности в советском уголовном процессе. Во всем цивилизованном мире одним из принципов уголовного процесса является презумпция невиновности. Обвиняемый не должен доказывать свою невиновность, а суд должен доказать с неопровержимостью, что обвиняемый виновен в конкретном преступлении. Так называемое бремя доказывания всегда лежит на обвинителе. Вышинский же исходил из того, что «если обязанность доказывать правильность предъявленного обвинения лежит на обвинителе, то и обвиняемый или подсудимый не свободны от аналогичной обязанности в отношении положений, выдвигаемых ими в свою защиту. Здесь действует общий принцип: «actori incumbit onus probandi», «actori incumbit probat, o» — доказывать дол-

[1] *Вышинский А. Я.* Проблема оценки доказательств в советском уголовном процессе. // Социалистическая законность. 1936. № 7. С. 31.

[2] Там же. С. 35.

[3] *Вышинский А. Я.* Теория судебных доказательств. С. 128.

жен тот, кто является автором положения, требующего доказательства»[1].

Этот принцип никак не вязался с защитой законных интересов советских граждан.

Вышинский также утверждал: «а) доказывание обстоятельств, подтверждающих обвинение, входит в обязанность обвинителя; б) доказывание обстоятельств, опровергающих обвинение, входит в обязанность обвиняемого».

При этом «вождь советского правового фронта» подверг резкой критике видного советского ученого-юриста профессора М. С. Строговича, справедливо утверждавшего, что обвиняемый ни при каких обстоятельствах не должен доказывать свою невиновность, напротив, суд должен доказать его виновность. Другими словами М. С. Строгович, исходя из законных интересов советских граждан, считал, что в советском уголовном процессе бремя доказывания не может быть переложено на обвиняемого.

Точка зрения Вышинского о том, что обвиняемый должен доказывать свою невиновность, воспринятая судебно-следственной практикой, приводила к тяжким последствиям, ставя обвиняемого в крайне затруднительное и невыгодное процессуальное положение. Ведь обвиняемый, находясь в изоляции, был начисто лишен возможности добывать какие-либо доказательства своей невиновности. К тому же нельзя не учитывать: условия ежовско-бериевских застенков были таковыми, что невиновного под воздействием недозволенных методов допросов очень легко было превратить в виновного в совершении тяжких преступлений. А ведь уголовно-процессуальный закон обязывал следствие выяснять все обстоятельства, как уличающие обвиняемого, так и оправдывающие его, как отягчающие, так и смягчающие его ответственность (ст. III УПК РСФСР 1923 г.).

Утонченным обоснованием нарушений законности являлось утверждение Вышинского о доказательственном значении признания обвиняемого.

Следует, однако, отметить, что Вышинский в целом придавал показаниям обвиняемого значение обычного, рядового доказательства. Он писал, что нельзя признать «правильными такую организацию и такое направление следствия, которые основную задачу видят в том, чтобы получить обязательно «признательные объяснения обви-

---

[1] *Вышинский А. Я.* Теория судебных доказательств в советском праве. М., 1950. С. 242—243.

няемого. Такая организация следствия, при которой показания обвиняемого оказываются главными и — еще хуже — единственными устоями всего следствия, способна поставить под удар все дело в случае изменения обвиняемым своих показаний или отказа от них» [1].

Однако это правильное положение он сводил на нет утверждением о том, что по делам о контрреволюционных преступлениях показания обвиняемого и признание своей вины имеют решающее значение. К тому же он заявлял, что не существует общеуголовных преступлений, что в современных условиях обострения классовой борьбы эти преступления превращаются в преступления политические.

В развитие этой идеи 29 ноября 1936 года Вышинский распорядился в месячный срок истребовать и изучить все дела о крупных пожарах, авариях, выпуске недоброкачественной продукции с целью выявления контрреволюционной вредительской подоплеки этих дел и привлечения виновных к строгой ответственности. По сути дела, это была директива на выявление во всех преступлениях антисоветских мотивов. Справедливости ради следует отметить, что еще до Вышинского сторонником признания обвиняемым своей вины как решающего доказательства был Н. В. Крыленко. Концепция о придании сознанию обвиняемого решающего доказательственного значения являлась своего рода обоснованием беспрецедентной в истории по своему цинизму и изуверству секретной директивы Сталина от 10 января 1939 года. Вот она: «ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б)... Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие в отношении представителей социалистического пролетариата и притом применяют его в самых безобразных формах. Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть более гуманна в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и колхозников. ЦК ВКП(б) считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных и неразоружавшихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод».

Данная директива давала возможность путем приме-

---

[1] *Вышинский А. Я.* Теория судебных доказательств в советском праве. С. 263.

нения пыток и истязаний к обвиняемым добиваться признания вины в несовершенных ими деяниях. И такое признание являлось «царицей доказательств». Вот за что ратовал Прокурор Союза ССР Вышинский.

Однако наивно было бы думать, что Вышинский первым в истории нашего общества обосновывал тезис о признании вины обвиняемым как решающего доказательства по делу и тем самым оправдывал применение незаконных методов ведения следствия.

Пытки с целью признания вины применялись и в двадцатые годы.

Признание обвиняемым своей вины в качестве «царицы доказательств», как уже упоминалось выше, было канонизировано еще в период знаменитого Шахтинского дела, процессами над «Промпартией» и «Союзным бюро ЦК меньшевиков». При этом Н. В. Крыленко, выступавший на этих процессах в качестве государственного обвинителя, существенное значение придавал признанию обвиняемого как решающему виду доказательств, независимо от того, каким образом это доказательство добывалось. Сохранилось любопытное свидетельство того, как Н. В. Крыленко, будучи Прокурором РСФСР, относился к применению незаконных методов ведения следствия и получения признания вины у обвиняемых. Один из необоснованно осужденных по делу «Союзного бюро» М. П. Якубович в письме на имя Генерального прокурора СССР 10 мая 1967 года сообщал: «Меня вызвали из камеры и привели в кабинет, где сидел Н. В. Крыленко, назначенный государственным обвинителем на нашем процессе. Я знал Крыленко давно, еще с дореволюционных времен. Знал близко... Крыленко сказал мне примерно следующее: «Я не сомневаюсь в том, что Вы лично ни в чем не виноваты. Мы оба выполняем наш долг перед партией. Я Вас считал и считаю коммунистом. Я буду обвинителем на процессе, Вы будете подтверждать данные на следствии показания. Это — наш с Вами партийный долг».

Все это производит чудовищное впечатление. Ведь Н. В. Крыленко прекрасно знал, какие методы воздействия применялись к обвиняемым на следствии и в результате чего они признавали себя виновными, виновными в том, чего никогда не совершали. И все это именовалось «партийным долгом»; оказывается, истребление миллионов людей осуществлялось в интересах единства партии. Чем можно объяснить этот безумный фана-

тизм и невиданную вакханалию? Ирония судьбы такова, что в 1938 году сам Н. В. Крыленко под пытками признался в контрреволюционных преступлениях.

Роберт Конквест в своей книге «Большой террор», касаясь признаний обвиняемых на знаменитых процессах середины 30-х годов, считает, что проблема сделанных на суде признаний имеет две стороны. Мы должны принять во внимание технические средства, физическое и психологическое давление, с помощью которых можно было добиться публичных признаний. Это касается как беспартийных, так и жертв среди членов партии. Но когда речь идет о капитуляции и самоунижении старых революционеров, здесь появляются новые элементы.

«Эта капитуляция,— пишет Р. Конквест,— была не единичным и исключительным фактом в их карьере, а скорее кульминационным пунктом целой серии случаев, когда им приходилось подчиняться партии, причем они сами знали, что такое подчинение «объективно» было ложью. Подобная точка зрения — ключ к пониманию победы Сталина, и она выводит нас далеко за рамки судебных процессов. Она объясняет, почему попытки эффективно воспрепятствовать действиям Сталина, неоднократно предпринимавшиеся партийцами, настроенными против его правления, заканчивались катастрофическими провалами» [1].

Трагедия состояла в том, что гигантская машина идеологизации сделала свое дело; в сознании миллионов людей, в том числе и партийцев, Сталин являлся олицетворением партии, олицетворением эпохи. Поэтому всякое выступление против Сталина рассматривалось как выступление против партии.

Что касается видных коммунистов, осужденных на крупных процессах 1936, 1937, 1938 годов, то нет никаких сомнений, что поведение ряда из них выражало идею служения партии [2]. Вот одна из причин признания ими своей вины. За последнее время опубликовано много интересных документов, мемуаров, публицистических очерков, где приводится множество фактов вопиющих нарушений элементарной законности, применения пыток и истязаний на следствии периода господства тоталитарного режима.

О причинах признания обвиняемыми вины в несовер-

---

[1] *Конквест Роберт.* Большой террор. Т. 1. Рига. 1991. С. 188.
[2] Там же. С. 199.

шенных ими преступлениях весьма убедительно пишет Артур Кестлер в своей книге «Тьма в полдень»: «Некоторые, как, например, Заячья Губа, молчали, подавленные физическим страхом, некоторые надеялись спасти свои головы; другие — по крайней мере спасти своих жен или сыновей от когтей Глетнина. Лучшие из них молчали для того, чтобы сослужить последнюю службу партии, став козлами отпущения».

В этом произведении Кестлера имеется эпизод, свидетельствующий о том, как пытались сломить волю героя книги Рубашова, наделенного автором отчасти чертами Н. И. Бухарина в плане мировоззрения и образа мыслей, а отчасти А. И. Рыкова — в плане характера и внешнего облика; в целях психологического воздействия мимо его камеры проволокли на расстрел еле живого, измученного пытками заключенного. Рубашов в конце концов признал свою вину. Кроме того, Рубашов считал, что «вся его прошлая деятельность лишает его права судить Сталина. К этому прибавилось чувство преданности партии и правильности ее политического курса».

Бывший советский разведчик Вальтер Кривицкий, бежавший за границу в конце 30-х годов, указывает на четыре фактора, способствовавшие тому, что большинство обвиняемых, особенно из среды старых большевиков, признавали свою вину. Первый фактор, пишет Кривицкий,— это действующая в ОГПУ машина физических и моральных пыток, противостоять которой у них не было сил. Эта третья степень «была известна у нас как конвейерная система допроса заключенных». Она предусматривала пропускание жертвы через цепочку следователей, начиная с неотесанных новичков и до квалифицированных мастеров искусства выуживать признания.

Вторым элементом фабрикации признаний служило сталинское секретное досье. Там были собраны донесения его личной шпионской сети, касающиеся политической деятельности и личной жизни всех лидеров за многие годы. Это досье превратилось в арсенал порочащих данных, направленных против всех потенциальных противников сталинского правления.

Третьим элементом, применявшимся в подготовке показательных судов, была разновидность обычного шантажа. Провокаторов, якобы признававшихся в участии в мнимых заговорах, помещали в камеры, где они играли омерзительную роль, впутывая своих наиболее выдающихся «подельников» в эти заговоры. Они играли роль изоб-

личающих «свидетелей» или «соучастников», давая понять главным действующим лицам, намеченным Сталиным, что любая попытка оправдаться была безнадежна.

Четвертым, однако не менее важным элементом в фабрикации признаний были сделки, заключенные между Сталиным и некоторыми особо важными обвиняемыми. В случае их безоговорочного признания своей вины им давались гарантии, что члены их семьи не будут подвергнуты репрессиям. Однако эти обещания в большинстве своем не выполнялись.

Возникает вопрос, неужели никто не догадывался о том, каким образом добиваются признания вины в застенках НКВД, неужели никто не протестовал? Нет, были честные, смелые и отчаянные люди, которые не молчали.

Известный писатель Юрий Трифонов писал о старом большевике Ароне Сольце, возглавлявшем ЦКК, а в середине 30-х годов работавшим помощником Прокурора Союза ССР. Сольц пытался бороться, он «стал требовать доказательств вины людей, которых называли врагами народа, добивался доступа к следственным материалам, вступал в резкий конфликт с Ежовым, Вышинским. Однажды он пришел к Вышинскому и потребовал материалы по делу Трифонова [1], сказав при этом, что не верит в то, что Трифонов — враг народа. Вышинский сказал: «Если органы взяли, значит — враг». Сольц побагровел, закричал: «Врешь! Я знаю Трифонова тридцать лет как настоящего большевика, а тебя знаю как меньшевика»,— бросил свой портфель и ушел...» Сольца начали отстранять от дел. Он не сдавался. Осенью 1937 года, в разгар репрессий, он неожиданно выступил на конференции свердловского партактива с критикой Вышинского как Прокурора Союза ССР и с требованием создать специальную комиссию для расследования всей деятельности Вышинского. Трудно понять, почему Сольца не арестовали, но, после того как он объявил голодовку в знак протеста против незаконных репрессий, его упрятали в психиатрическую больницу.

В обстановке сталинского террора любые протесты были бессмысленны, оставаясь гласом вопиющего в пустыне, да и общественное мнение их воспринимало крайне отрицательно.

Выдвигая положение о том, что признание обвиняемым своей вины является «царицей доказательств»,

[1] Речь идет об отце писателя — В. Трифонове.

Вышинский прекрасно понимал: эта идея весьма импонирует Сталину. А последнему было особо важно, что все участники процессов 1936, 1937 и 1938 годов, особенно Каменев, Зиновьев, Пятаков, Бухарин, Рыков и другие, публично признали себя виновными в контрреволюционных преступлениях. И Вышинский, опираясь на чудовищный ежовский аппарат, выполнил поставленную перед ним задачу.

Признание обвиняемых являлось основой всех процессов 30-х годов. Тем не менее отвергая чудовищность обвинений, Н. И. Бухарин открыто заявил на процессе: «Признания обвиняемых необязательны. Признания обвиняемых есть средневековый юридический принцип». Газеты того периода о методе защиты, который избрал Бухарин, писали, что «он вообще признает себя виновным, но конкретные обвинения упрямо отвергает».

Действительно, в ходе судебного разбирательства Бухарин пытался подчеркнуть всю нелепость выдвинутых против него обвинений. Приводимый ниже фрагмент допроса Бухарина Вышинским в ходе судебного разбирательства является достаточным тому подтверждением.

Вышинский. Повторяю, расскажите о связях вашей заговорщической группы с белогвардейскими кругами за рубежом и немецкими фашистами.

Бухарин. Мне это неизвестно. Во всяком случае, я не помню.

Вышинский. Подсудимый Бухарин, вы признаете себя виновным в шпионаже?

Бухарин. Я не признаю.

Вышинский. А Рыков что говорит? А Шарангович что говорит?

Бухарин. Я не признаю.

Вышинский. Не угодно ли вам признаться перед советским судом, какой разведкой вы были завербованы — английской, германской или японской?

Бухарин. Никакой.

Вышинский. А насчет убийства товарищей Сталина, Ленина и Свердлова?

Бухарин. Ни в коем случае.

Вышинский. План убийства Владимира Ильича был?

Бухарин. Отрицаю... Я категорически отрицаю свою причастность к убийству Кирова, Менжинского, Куйбышева, Горького и Максима Пешкова.

В ряде случаев Бухарин весьма тонко намекал на

то, что признание вины у обвиняемых добывают с помощью пыток. Так, например, когда во время процесса из тюрьмы был доставлен старый эсер В. Карелин, чтобы дать показания о заговоре для убийства Ленина, то Бухарин на вопрос Вышинского, знаком ли ему этот свидетель, ответил: «Он настолько изменился, что я не сказал был, что это тот Карелин». Это был тонкий намек на то, что Карелин сломлен пытками.

В ходе процесса над правотроцкистским блоком многие обвиняемые частично признавали свою вину. Однако не так вел себя Николай Крестинский. Уже в первый день судебного разбирательства Крестинский впервые в истории всех этих чудовищных процессов отказался от тех показаний, которые давал на предварительном следствии и отклонил все пункты обвинения. Однако, судя по всему, после этого заявления к Крестинскому были применены нечеловеческие пытки, и на следующий день он признал все инкриминируемые ему обвинения.

Обосновывая применение недозволенных методов ведения следствия и выколачивания признания вины у обвиняемых, Вышинский произвольно толковал понятие самой вины по советскому уголовному праву.

Важно отметить, что сам принцип виновной ответственности, величайшее достижение мировой уголовно-правовой мысли, был отвергнут большевиками уже в первые годы после октябрьского переворота 1917 года. Вместо виновной ответственности лица выдвигался принцип опасного состояния лица, что позволяло судебно-следственным органам при решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности руководствоваться не установлением его виновности в совершенном деянии, а его классовой принадлежностью. Особенно здесь усердствовал Н. В. Крыленко, под руководством которого был разработан в конце 20-х годов проект Уголовного кодекса, начисто отрицавший вину как необходимое условие привлечения лица к уголовной ответственности, но и не знающий вообще так называемой особенной части с перечнем конкретных составов преступления. Все отдавалось на откуп социалистическому правосознанию судей, которые должны были выносить приговор, руководствуясь исключительно классовым подходом. В середине 30-х годов наше уголовное законодательство вновь вернулось к принципу виновной ответственности. Вот почему важно было получить от обвиняемых признание вины в совершенных деяниях. Однако ст. 58-1 в

УК РСФСР 1926 года предусматривала привлечение к уголовной ответственности при отсутствии вины всех совершеннолетних членов семьи военнослужащего, изменившего родине, а также всех совместно с ним проживавших или находившихся на его иждивении к моменту совершения преступления. Это было законодательное закрепление объективного вменения, т. е. привлечения лица к уголовной ответственности при отсутствии вины. В теории уголовного права под виной понимается психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию и его последствиям.

В феврале 1953 года в своем последнем публичном выступлении Вышинский не мог пройти мимо дискуссии о вине, которая велась в юридической печати. Он считал, что вопрос о вине должен решаться не только на основе установления умысла или неосторожности, но и на основе многих факторов, с учетом личности обвиняемого, конкретных условий и обстановки совершения преступления.

Однако предложение Вышинского не было воспринято ни наукой, ни практикой. Во-первых, оно вело к смешению вины и причинной связи в уголовном праве, что могло открыть на практике путь к объективному вменению. Во-вторых, оно внесло бы большую неопределенность в решение вопроса о наличии оснований ответственности предоставляя, по существу, решение этого вопроса суду.

Иезуитски изощренное оправдание нарушений законности проявилось в интерпретации института соучастия в уголовном праве и его наиболее опасной формы — преступного сообщества. Дело в том, что под соучастием как в законе, так и в теории уголовного права всегда понималось совместное участие двух или более лиц в совершении преступления. Для признания лица соучастником в совершении конкретного преступления необходимо установить его содействие совершению преступления. Последнее означает, что деятельность соучастника всегда должна находиться в причинной связи с деятельностью исполнителя преступления, а также деятельность соучастников должна охватываться единством умысла. Однако по делу антисоветского «правотроцкистского блока» Вышинский, будучи государственным обвинителем на данном процессе, несмотря на заранее разработанный сценарий, в соответствии с которым все подсудимые должны были признаться в том,

что являлись членами единой контрреволюционной организации, ставящей перед собой целью свержение существующего строя, столкнулся с целым рядом неожиданно возникших трудностей. В процессе судебного следствия и допроса обвиняемых возникли определенные неувязки. Парадоксальным и обращающим на себя внимание казалось признание отдельными подсудимыми своей вины и в то же время — отрицание факта своей причастности к антисоветскому правотроцкистскому блоку. Так, например, Х. Раковский заявил: «Я признался во всех преступлениях. Какое значение имело бы для существа дела, если бы и здесь перед вами стал устанавливать факт, что о многих преступлениях и о самых ужасных преступлениях «правотроцкистского блока» я узнал здесь, на суде, и с некоторыми участниками я познакомился впервые здесь. Это не имеет никакого значения». Что же получается? В чем смысл этой иронии? Х. Раковский признается во всех преступлениях, совершенных «преступным блоком», и одновременно заявляет, что с участниками преступной организации увиделся впервые на процессе. Это не могло не озадачить Прокурора Союза ССР. Не будем приводить других противоречий и явных логических неувязок в показаниях других подсудимых, которые вынудили Вышинского в своей обвинительной речи отказаться от традиционного понимания соучастия, быстро переориентироваться и дать весьма расширенное толкование соучастия вообще и в контрреволюционной организации. Вот как он обосновывал свою концепцию: «Для соучастия нужно общее, объединяющее соучастников данного преступления начало, общий преступный замысел. Для соучастия нужно объединение воли в общем и едином для всех участников преступления направлении. Если, скажем, шайка грабителей будет действовать так, что одни из ее участников будут жечь дома, насиловать женщин, убивать и т. д. в одном месте, а другая часть шайки — в другом, то хотя бы те и другие не знали о преступлениях, совершенных раздельно какой-либо частью общей шайки — они будут отвечать за всю совокупность преступлений в полном объеме, если только будет доказано, что они согласились насчет участия в этой банде для совершения тех или других преступлений. В этом деле, товарищи судьи, налицо заговорщическая группа, агентура иностранных разведок, объединенная общей для всех ее членов волей, единой для них всех преступной целью. Конкретные преступления,

совершенные теми или другими преступниками,— это лишь частные случаи этого единого для всех подсудимых плана преступной деятельности, которая юридически выражена в предъявленном всем подсудимым обвинении по ст. 58^{11} УК РСФСР»[1].

Полнейшей неожиданностью как для самого Вышинского, так и для всех присутствующих на процессе прозвучало весьма юридически квалифицированное опровержение этих утверждений Прокурора Союза ССР из уст Н. И. Бухарина. Вот что говорил Бухарин в своем последнем слове: «Гражданин прокурор разъяснил в своей обвинительной речи, что члены шайки разбойников могут грабить в разных местах, что члены шайки разбойников должны знать друг друга, чтобы быть шайкой и быть друг с другом в более или менее тесной связи. Между тем я впервые из обвинительного заключения узнал фамилию Шаранговича и впервые увидел его на суде. Впервые узнал о существовании Максимова. Никогда не был знаком с Плетневым, никогда не был знаком с Казаковым, никогда не разговаривал с Раковским о контрреволюционных делах, никогда не разговаривал о сем же предмете с Розенгольцем, никогда не разговаривал о том же с Зеленским, никогда в жизни не разговаривал с Булановым и так далее. Кстати, и прокурор меня ни единым словом не допрашивал об этих лицах... Следовательно, сидящие на скамье подсудимых не суть какая-либо группа».

Во время последнего слова Бухарина, серьезно подорвавшего концепцию Вышинского о соучастии, а стало быть, и позицию обвинения, Прокурор Союза, по свидетельству очевидцев, не имел возможности вмешаться, напряженно сидел на своем месте; он был явно растерян и пытался скрыть это демонстративным позевыванием.

Кроме того, Н. И. Бухарин весьма ловко подметил всю несуразность утверждения Вышинского о том, что антисоветский блок сформировался в 1928 году по заданию фашистских разведок. Ведь всем было хорошо известно, что фашизм пришел к власти в Германии в 1933 году.

Однако несмотря на отдельные промахи обвинения, все участники «антисоветского правотроцкистского блока» были осуждены также за соучастие и по ст. 58^{2} УК РСФСР 1923 г.

---

[1] *Вышинский А. Я.* Судебные речи. М. 1938. С. 516—517.

В июле 1938 года, выступая на Первом совещании научных работников права, Вышинский стремился теоретически подкрепить свою концепцию о соучастии.

«Проблема соучастия, теория соучастия,— говорил Вышинский,— приобретает особенное значение в наших условиях, когда классовое сопротивление эксплуататорских элементов, их агентуры, являющейся агентурой иностранных разведок, находит наиболее распространенное выражение в заговорщической деятельности этих элементов, в организации ими различных антисоветских подпольных групп, преступного подполья, преступных, контрреволюционных сообществ. Вульгарное представление о соучастии, как форме объединения уголовной деятельности, в узком смысле этого слова, отжило свое время. Сейчас, особенно в условиях классового сопротивления эксплуататорского мира победоносной социалистической революции, проблема соучастия приобрела новый и чрезвычайно острый характер, как форма политической борьбы».

Вся эта демагогия и политическая трескотня, базирующаяся на выдвинутом Сталиным тезисе об усилении классовой борьбы по мере продвижения нашего общества вперед и на сфабрикованных тысячах уголовных дел об антисоветских группировках, необходимы были этому сталинскому оракулу для того, чтобы расширить круг лиц, которых можно было бы признать в необходимых случаях участниками контрреволюционных организаций. Вышинский не мог не коснуться в своем докладе тех возражений, которые исходили на процессе от Бухарина относительно понимания преступной группы. И как бы полемизируя с уже расстрелянным Бухариным, Вышинский привел следующие аргументы: «К таким преступным формированиям, как «правотроцкистский блок», старые понятия заговора и шайки едва ли, с юридической точки зрения, могут быть применимы. Бухарин, очевидно, имел в виду именно эту старую юридическую доктрину, когда в своем последнем слове он пробовал полемизировать против тезиса обвинительного заключения о его ответственности за все совершенные этим блоком преступления, в которых он, Бухарин, не принимал личного участия... Если соучастие понимать не в узком смысле этого слова, т. е. не как участие нескольких лиц в совершении общими усилиями одного или нескольких преступлений, а понимать в широком смысле слова, т. е. как совокупность действий многих или несколь-

ких лиц, не только вызвавших данный преступный результат, но и в той или иной мере и степени, прямо или косвенным образом, посредственно или непосредственно предопределивших или облегчивших наступление преступного результата, являющегося конечной целью преступной деятельности. В деле «правотроцкистского блока» мы имеем именно такое участие в широком смысле этого слова. Для всех участников этого «блока» общей целью было свержение Советской власти, захват власти правотроцкистским центром» [1].

Как стало совсем недавно известно, никакого «правотроцкистского блока», ставившего перед собой целью свержение существующего строя, не было. Вышинский же хорошо знал об том еще тогда, когда по указанию Сталина совместно с Ежовым и его сподручными фабриковал дело о «правотроцкистском блоке». «Новая» концепция соучастия ему нужна была для того, чтобы облегчить фальсификацию подобного рода дел и в тех случаях, когда доказательства о наличии контрреволюционной организации весьма шатки, а с помощью такого понимания соучастия в широком смысле слова можно было бы кого угодно признать участником контрреволюционной организации. Для этого необходимо только установить наличие общей цели — свержение советской власти.

На практике это вело к необоснованному осуждению. Те преступные действия, которые совершены определенными членами организованной группы и в которых другие члены не принимали прямого или косвенного участия и согласия на их совершение не давали, не могут быть вменены последним в ответственность. Вышинский же, расширительно трактуя соучастие, относил к нему и заранее не обещанное укрывательство и недонесение.

Вышинский был также ярым сторонником сохранения в уголовном законодательстве аналогии. Аналогия в уголовном законе дает возможность привлекать лицо к уголовной ответственности за те общественно опасные деяния, которые непосредственно им не предусмотрены. Впервые аналогия была введена у нас еще Уголовным кодексом РСФСР 1922 года, а до этого судьи вообще руководствовались только социалистическим правосозна-

---

[1] *Вышинский А. Я.* Основные задачи науки советского социалистического права // Материалы 1-го совещания научных работников права, 16—19 июля 1938 г. М., 1938. С. 70—71.

нием и классовым подходом при решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности. Разумеется, о законности при отсутствии уголовных законов говорить не приходится. Однако и аналогия являлась значительной лазейкой для произвола и нарушений законности. Вспоминается и курьезный случай, когда суд квалифицировал действия одного пожилого человека, осуществлявшего иудейский обряд обрезания, ответственность за который не предусматривалась законом,— по аналогии за незаконное производство аборта.

В конце 30-х годов многие советские ученые-криминалисты выступали за исключение аналогии из закона и правоприменительной практики. Это предложение встретило решительное противодействие со стороны А. Я. Вышинского. Он выступал с утверждением, что вообще «нельзя создать такого уголовного кодекса, в котором были бы предусмотрены все случаи возможных преступлений» [1]. Этого взгляда он придерживался и значительно позже.

В заключение хотелось бы отметить, что, к сожалению, те нарушения законности, которые апологетизировал Вышинский, до сих пор еще не изжиты. За последнее время в результате широкой гласности нам становится известно о том, что фальсификация уголовных дел, незаконное привлечение к ответственности невиновных, применение на предварительном следствии недозволенных методов воздействия к обвиняемым — все это продолжает еще иметь место. Правовое государство, к созданию которого мы стремимся, должно создать такие механизмы правового регулирования, которые бы абсолютно исключали произвол и беззаконие в осуществлении правосудия.

---

[1] *Вышинский А. Я.* К положению на фронте правовой теории. М., 1937. С. 32; *Он же.* XVIII съезд ВКП(б) и задачи науки социалистического права//Советское государство и право. 1939. № 3. С. 18.

«ПРОКУРОРСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ» ВЫШИНСКОГО

Ю. ЗОРЯ

НЮРНБЕРГСКАЯ МИССИЯ

Теме Нюрнберга в литературе на русском языке посвящены десятки изданий, однако подлинная его история еще не написана. Советская общественность знакома лишь с парадной стороной процесса. До последнего времени в СССР вопреки решению Международного военного трибунала нюрнбергские материалы в полном объеме не публиковались, а советская часть архива процесса находилась на закрытом хранении. Только теперь для наших исследователей появилась возможность доступа к оригинальным материалам «суда истории». Но вся правда о нем — дело будущего. Тем не менее главное ясно уже и сейчас: в зеркале суда над нацистами советский тоталитарный режим увидел собственное отражение. Именно эту сторону процесса сразу же четко увидели сталинские партийные и государственные деятели — творцы тоталитаризма в нашей стране. Почувствовав опасность разоблачения своих деяний, Сталин и его окружение сделали все, чтобы замолчать и исказить опасные для них материалы процесса. Для этого был выбран А. Я. Вышинский, замешанный во многих преступлениях сталинизма. И следует отдать должное этому выбору: незаурядный юрист и дипломат ревностно защищал от разоблачений сталинскую политику, стоя за кулисами советской части сцены в Нюрнберге. Умел Сталин подбирать кадры...

Нюрнбергский процесс, несомненно, занимает особое место в биографии А. Я. Вышинского. Здесь он действовал в полную силу на стыке двух направлений своей деятельности: юридического и дипломатического. Эту особенность очень хорошо выразил в своих воспоминаниях лорд Хартли Шоукросс — главный обвинитель от Великобритании на процессе. Блестящий английский дипломат и юрист очень точно определил роль Вышинского в Нюрнберге — особоуполномоченный Сталина. Но Шоукросс, очевидно, не совсем прав, когда полагает, что главный организатор московских процессов и в Нюрнберге выполнял прокурорские функции. Дело было в том, что в руки западных союзников попали документы рейха, в которых содержалось слишком много взрывоопасного материала. К ним в первую очередь относились архивы министерства иностранных дел Германии, вермахта, имперского ведомства безопасности. К союзникам также попали захваченные немцами документы НКВД, ВКП(б), Коминтерна... Поэтому главной задачей Вышинского было не допустить, чтобы в связи с проведением процесса мировая общественность, и особенно советские люди, узнали о преступлениях сталинского режима во главе с партийным и государственным руководством того времени. Многого не знал лорд Шоукросс. Он не был единственным, кто не совсем правильно оценил роль Вышинского в Нюрнберге. Примечателен в этом отношении документ Национальной организации юристов Франции, имеющийся в советском собрании нюрнбергских материалов. В нем говорится:

«Париж, 3 августа, 1946 г.

Господину Вышинскому

Заместителю министра иностранных дел

Посольство СССР, Рю де Гренель

Париж

Ваше превосходительство,

После конференции, которую Вы провели во Дворце Юстиции в Париже по приглашению национальной организации юристов, я с Вами беседовал о Международной конференции юристов, которую организация решила провести в Париже в октябре текущего года.

Я просил Вас, как одного из выдающихся представителей советских юристов, соблаговолить взять под свое покровительство эту конференцию...

Нам было бы особенно ценно, если бы Вы приняли

почетное председательство совместно с Министром иностранных дел, Министром юстиции и генеральными прокурорами Джексоном и Шоукроссом.

...Темой обсуждения будет: «Право и мир». В порядок дня конференции из вопросов международного права будут включены два вопроса: наказание за нацистские преступления против человечества и защита демократических свобод...

...Мы были бы очень счастливы, если бы Вы согласились также сделать доклад...

Генеральный секретарь Жоэ Норман, адвокат».

На документе есть отметка секретариата Вышинского: «Разослано: тт. Сталину, Молотову, Маленкову, Берия, Микояну, Жданову, Горшенину, Рычкову, Деканозову». Весьма характерная деталь. Она говорит о том, кто направлял деятельность Вышинского. Подобные отметки есть почти на всех документах, имевших отношение к организации и проведению Нюрнбергского процесса. Вышинского везде воспринимали серьезно.

Справедливости ради следует сказать, что не только советское руководство, но и представители западных стран испытывали беспокойство по поводу возможных разоблачений политики великих держав в предвоенный период. Не случайно главный обвинитель от США Р. Джексон, предвидя возможность возникновения такой темы на процессе, заявил в своей вступительной речи: «Соединенные Штаты Америки не желают вступать в дискуссии по вопросам сложных довоенных течений европейской политики, и они надеются, что этот процесс не будет затянут рассмотрением их».

Обвинители приняли и ряд практических мер для пресечения попыток подсудимых и защиты выдвинуть встречные обвинения против стран — учредителей Международного военного трибунала. На заседании Комитета обвинителей 9 ноября 1945 года по инициативе делегаций от США и Великобритании было решено не допускать политических выпадов со стороны защиты в адрес стран — организаторов процесса, а также составить перечень вопросов, которые не должны обсуждаться на процессе. 19 ноября, за день до начала процесса, в Москву по ВЧ Вышинскому было отправлено такое донесение:

«...Обвинители хотят энергично избежать скользких вопросов и не давать возможности обвиняемым заниматься дискуссиями и вовлекать суд в дискуссии. В этой

связи признано желательным до начала суда обменяться списками вопросов, которые не должны обсуждаться на суде, с тем чтобы иметь возможность во время процесса отводить их немедленно... Розенберг потребовал вызвать свидетеля, чтобы доказать, что в Прибалтике при Советской власти также были высылки, переселение и пр. Комитет обвинителей отверг эту попытку, заявив, что не дело суда заниматься обсуждением политики других государств».

Сообщение вызвало живейший интерес в Москве, где за ходом процесса внимательно следили Сталин и его ближайшее окружение. Для руководства деятельностью советской делегации в Нюрнберге была создана правительственная Комиссия по организации и проведению Нюрнбергского процесса. Ее работу в соответствии с указаниями Сталина направлял Молотов, а непосредственное руководство осуществлял Вышинский. Материалы этого органа в архивной описи советского Нюрнбергского фонда обозначены: «Документы Комиссии Вышинского». Членами комиссии являлись Прокурор Союза ССР Горшенин, председатель Верховного Суда СССР Голяков, нарком юстиции СССР Рычков и три ближайших подручных Берии, его заместители Абакумов, Кобулов, Меркулов. Главная цель комиссии заключалась в том, чтобы при подготовке и в ходе процесса ни в коем случае не допускать в любой форме публичных дискуссий по вопросам, касавшимся внутренней политики СССР и советско-германских отношений в предвоенный период, начального периода Великой Отечественной войны и других проблем, «неудобных» с точки зрения руководства ВКП(б) и Советского государства. Поскольку в архивных документах иногда упоминается название «Комиссия Политбюро ЦК ВКП(б) по организации и руководству Нюрнбергским процессом», можно предполагать, что комиссия Вышинского была ее исполнительным органом. Таким образом, и в руководстве деятельностью советской делегации на процессе четко виден принцип, присущий всей тоталитарной сталинской системе,— тесное переплетение функций партийной, государственной власти и органов госбезопасности. Это подтверждается и тем фактом, что в Нюрнберге в составе советской делегации работала специальная следственная группа Главного управления контрразведки «СМЕРШ», действовавшая наряду со следственной группой из работников прокуратуры. И в комиссию Вышинского поступали

доклады как от советского обвинения, так и по линии органов госбезопасности.

Примером такого «взаимодействия» может служить заседание комиссии Вышинского 16 ноября 1945 года в Москве, где Кобулов заявил: «Наши люди, которые сейчас находятся в Нюрнберге, сообщают нам о поведении обвиняемых при допросах. Геринг, Йодль, Кейтель и другие вызывающе держат себя при допросах. В их ответах часто слышатся антисоветские выпады, а наш следователь тов. Александров слабо парирует их. Обвиняемым удается прикинуться простыми чиновниками и исполнителями воли верховного командования. При допросе англичанами Редера последний заявил, что русские хотели его завербовать, что он давал показания под нажимом...»

Со своей стороны в докладной записке на имя Прокурора Союза ССР Г. Н. Александров указывал, что во время допросов не было сделано никаких выпадов ни против СССР, ни против него лично. «...Я прошу,— писал он,— пресечь различного рода кривотолки в связи с проводившимися допросами обвиняемых, так как это все создает нездоровую обстановку и мешает дальнейшей работе». Чтобы не создавать кривотолков, следственную группу, возглавлявшуюся автором письма, по указанию Вышинского вскоре ликвидировали.

Между тем из Нюрнберга продолжали поступать весьма неприятные известия. Вот одно из них:

«Отдел главы Совета США по обвинению военных преступников

6 октября 1945 г.

Роберт Джексон, Глава Совета

Генералу Руденко Р. А.

Сэру Хартли Шоукросс

М-ру Франсуа де Ментон

Милостивые государи,

В обвинительном акте против главных германских военных преступников, подписанном сегодня, Эстония, Латвия и Литва и ряд других территорий представлены как территории, относящиеся к СССР. Такая формулировка была предложена Советской Делегацией и была принята во избежание задержки, которая могла иметь место в случае переделки текста. Обвинительный акт был подписан соответственно следующему пониманию и при следующих условиях:

Я не уполномочен разрешать вопрос признания или непризнания со стороны США прав Советского Союза на суверенитет над этими территориями. Поэтому подписание обвинительного акта с вышеуказанной формулировкой в этой части не является ни признанием, ни отрицанием со стороны США или со стороны подписавшихся прав Советского Союза на суверенитет.

С почтением

Роберт Джексон, Глава Совета США»

Все эти сообщения настораживали советское руководство. Но его особую обеспокоенность вызывали намерения американского обвинения использовать документы вермахта и МИД Германии об агрессии против СССР, которые подвергали сомнению миф о внезапности и авторитет «полководца всех времен и народов». Насколько велика была эта озабоченность, свидетельствует выступление Вышинского на заседании комиссии 16 ноября 1945 года:

«...До сих пор у т. Руденко нет плана проведения процесса. Руденко не готов к проведению процесса. Вступительную речь (первый вариант.— *Ю. З.*), которую мы с вами выработали, я послал в ЦК... Сейчас мы стараемся отложить дело недели на две-три. Надо изучить материалы, надо выиграть время, подготовиться. К началу процесса нужно поехать кому-нибудь из комиссии в качестве наблюдателя».

Чтобы оттянуть начало процесса, советское обвинение поддержало ходатайство западных делегаций о включении в число обвиняемых вместо больного Густава Круппа его сына Альфреда. Но Международный военный трибунал отклонил это предложение, так как это обусловливало затяжку открытия процесса. (По Уставу Трибунала обвинение должно вручаться обвиняемому за месяц до начала судебного разбирательства).

Опасения по поводу представления американцами нежелательных документов по агрессии против СССР усилились до такой степени, что советская сторона стала угрожать срывом процесса. Это видно из следующего обмена телефонограммами.

«Телефонограмма по ВЧ из Берлина 19 ноября 1945 г. 01 ч. 45 м.

тов. Вышинскому А. Я.

...В английской записке Покровскому по поводу

нашей просьбы отложить начало процесса сказано, что англичане не видят возможности поддержать... просьбу отложить процесс.

В настоящий момент американский обвинитель еще не дал ответа на нашу просьбу. Французский обвинитель дал понять, что хочет поддержать нас, но сделал это в устной, необязывающей форме.

...Предположительно, что в основе вступительных речей обвинителей будет лежать обвинительный акт. Джексон предполагает подкрепить эти предположения бесспорными документами, а не свидетельскими показаниями...

Семенов»

На документе сделана пометка: «Послано с просьбой ознакомиться тт. Молотову В. М., Маленкову Г. М., Берия Л. П., Микояну А. И.»

Ответ последовал сразу же.

«Телефонограмма. Берлин, Семенову

Немедленно передайте Покровскому следующее:

...Вы не должны на утреннем заседании девятнадцатого ноября заявлять об отказе присутствовать на открытии ввиду болезни Руденко, руководствуйтесь следующим:

Если на заседании обвинителей будет складываться мнение большинства обвинителей, то Вы должны заявить, что Вами не получены полномочия участвовать на процессе в случае, если процесс начнется без главного обвинителя от СССР, и что Вы вынуждены будете довести до сведения Советского правительства об отклонении предложений советского обвинения и создавшемся в силу этого положении.

Надеемся, что эта директива Вам понятна... Наше предложение содержит в себе угрозу отказа от участия в намечающемся процессе, но еще не является отказом. Таким образом, наше предложение является способом давления на других обвинителей для достижения нашей цели...

А. Вышинский 19.XI. 40.»

Судя по этим телефонограммам, Вышинский не по собственной, конечно, инициативе пытался затянуть открытие процесса. Однако это ему не удалось: открытие состоялось 20 ноября 1945 года. Обвинительный акт зачитывался в отсутствие главного обвинителя от СССР Р. А. Руденко. Он вместе с главой советской делегации

К. П. Горшениным и председателем комиссии А. Я. Вышинским вылетел накануне только из Москвы. Самолет из-за плохой погоды вынужден был совершить посадку вместо Нюрнберга в Праге, и его пассажиры только на следующий день добрались до места назначения на автомобиле. Впрочем, это не повлияло на ход судебного разбирательства...

Первоначально советская сторона не предусматривала представления суду каких-либо материалов об агрессии нацистской Германии против СССР. Согласно договоренности, достигнутой при разработке Обвинительного акта в Лондоне в августе 1945 года, по этому разделу должны были выступать только представители американского обвинения.

21 ноября на процессе произнес вступительную речь главный обвинитель от США Р. Джексон. Он, в частности, заявил: «...Я говорю об агрессии лишь поскольку она является частью заговора. Планы были составлены надолго вперед... у нас имеется... директива Гитлера, датированная 18 декабря 1940 г., «план Барбаросса», что было шифрованным обозначением плана нападения на Россию (документ № 446 ПС). Это подлинники с инициалами Кейтеля и Йодля. Они планировали нападение задолго до объявления войны... Во исполнение части нацистского плана подготовки агрессии против Польши и ее союзников Германия 23 августа 1939 года заключила договор о ненападении с Советской Россией. Этот договор, предназначавшийся лишь для того, чтобы выиграть время, нацисты намеревались соблюдать, как покажут документы, ровно столько времени, сколько было необходимо для подготовки к его нарушению».

После выступления Джексона стало ясно, что обвинители от западных стран предполагают произносить свои вступительные речи в течение четырех — восьми часов, не говоря уж о выступлениях их помощников при предъявлении документов. Советское обвинение первоначально было намерено ограничиться двухчасовым выступлением своего главного обвинителя.

26 ноября Вышинский, находившийся в Нюрнберге, дал указание переработать текст вступительной речи главного обвинителя от СССР, включив в нее разделы «Идеология» и «Агрессия против СССР». Это было сделано к 30 ноября. Кроме того, было принято решение срочно оформить еще одного-двух сотрудников прокуратуры в качестве помощников главного обвинителя от

СССР специально для выступления в суде. Р. А. Руденко получил также указание договориться с Джексоном о том, чтобы документы, которые тот упомянул в своей речи, не оглашались американцами, а были переданы для использования главным обвинителем от СССР. Далее Руденко и Никитченко предписывалось предварительно просматривать все документы, поступающие для предъявления в суде от других делегаций, и требовать, чтобы эти документы утверждались на Комитете обвинителей. Предлагалось давать заключение о приемлемости или неприемлемости каждого документа с точки зрения интересов СССР и в случае необходимости не допускать их оглашения в суде. Однако Джексон заявил, что все касающиеся СССР материалы уже сброшюрованы, приготовлены для предъявления их суду, и он не считает возможным передать их. В число этих материалов входили и те, которые в корне лишали всякой основы утверждения о внезапности нападения Германии.

Выступивший вслед за своим американским коллегой главный обвинитель от Великобритании Хартли Шоукросс четко сформулировал мысль о том, что агрессор долгое время целеустремленно готовился к нападению и делал все возможное, чтобы ввести в заблуждение Сталина и его окружение относительно своих планов. Надо полагать, что английский обвинитель по этому поводу сказал несколько больше, чем вошло в стенограмму. Об этом свидетельствует «Справка о мероприятиях, проведенных Комиссией в Нюрнберге за период с 1 по 20 декабря 1945 года» (речь идет о комиссии Вышинского, часть заседаний под его председательством проходила в Нюрнберге.— *Ю. З.*), где говорится: «...Кроме того, Комиссией были приняты меры к устранению неприемлемых для нас мест в речи Шоукросса...»

После вступительной речи главного обвинителя от Великобритании американский обвинитель Олдерман 7 декабря представил суду доказательства по разделу «Агрессия против СССР».

Говоря о заблаговременности подготовки Германии к нападению на СССР, Олдерман заявил:

«...Подготовка вторжения в СССР требовала также за много месяцев до его начала энергичной деятельности по строительству и усилению вооруженных сил. Такая деятельность могла быть замечена советской разведывательной службой. Поэтому были приняты меры предосторожности».

Вышинский взял под контроль подготовку материалов для выступления наших юристов на процессе. Именно в этот период советское руководство приняло решение, чтобы в контексте представления нашим обвинением документов об агрессии против СССР использовать в качестве ключевых свидетельские показания командующего окруженной в Сталинграде 6-й армии генерал-фельдмаршала Паулюса и других генералов вермахта, захваченных в плен нашими войсками.

Несмотря на сжатые сроки, подготовка к выступлениям советских обвинителей была завершена вовремя, и уже 8 февраля 1946 года главный обвинитель от СССР Р. А. Руденко произнес свою вступительную речь, в которой был раздел «Вероломное нападение гитлеровской Германии на СССР». В речи содержались абсолютно верные и неопровержимые факты и выводы, однако построена она была в основном на документах, которые уже представлялись или цитировались западными обвинителями, что снижало информационный эффект и общее впечатление. Вышинский, снова приехавший в Нюрнберг к моменту выступлений советских обвинителей, внимательно следил за реакцией на речь Руденко и доложил Сталину о необходимости срочной доставки в Нюрнберг находившихся уже к этому времени на территории советской зоны в Германии Паулюса и других генералов вермахта для допроса. Очевидно, соответствующее указание последовало, и далее события развивались, как в заправском детективе. По свидетельству переводчицы на Нюрнбергском процессе О. Г. Свидовской, 9 февраля, в субботу, в 13.55 по местному времени — за пять минут до прекращения работы визового отдела американской администрации — поступило указание получить визу на имя представителя советского обвинения Г. Н. Александрова и десяти «сопровождающих его лиц». Вот как она рассказывает об этом эпизоде:

«Комната, в которой располагался американский отдел, выдававший визы, была большая. Рабочий стол тянулся прямо от окна... Американцы, все как один молодые ребята, уже были в полном сборе. Часы показывали 13.55. «Черт бы тебя побрал»,— беззлобно выругался тот, кто обычно ставил печать. Другие начали что-то кричать. Я отвечала им, шутя... Американец вынул ключи и открыл ящик... До сих пор вижу перед глазами листки визы... и как он выдавливал печать. Швырнув оставшуюся у него копию визы в стол, американец отдал

визы мне, и я пошла, сопровождаемая тем же «перебрехом»...»

Рано утром 11 февраля Паулюса привезли во Дворец Юстиции и там в кабинете Г. Н. Александрова — по фотографиям, специально сделанным фотокорреспондентом Е. А. Халдеем,— познакомили с обстановкой в зале суда. Все это делалось строго секретно.

Между тем на процессе началось представление материалов советскими обвинителями. Причем допрос Паулюса и других немецких генералов в случае необходимости должен был проводить Н. Д. Зоря в рамках своего выступления по разделу «Агрессия против СССР».

Первым в этот день выступал Ю. В. Покровский. В своем выступлении он пытался использовать протокол допроса фельдмаршала Паулюса от 9 января 1946 года, подписанный Р. А. Руденко. Но этот протокол суд не принял в качестве доказательства, так как на нем не было указано место допроса. (Это говорит, с какой скрупулезностью рассматривались документальные доказательства на процессе.) Вышинский немедленно доложил об этом в Москву. Оттуда последовало указание Сталина допросить Паулюса в суде главному обвинителю от СССР.

Показания Паулюса были дополнены свидетельствами других генералов вермахта. Все они подтвердили факт заблаговременности, длительности, а также огромный масштаб непосредственной подготовки нацистской Германии к нападению на Советский Союз. Не заметить ее можно было только при полном отсутствии разведки или при нежелании видеть, что ведутся подготовительные мероприятия, то есть при полном игнорировании докладов разведки. Именно такой вывод напрашивался при ознакомлении с материалами, представленными советским обвинением по разделу «Агрессия против СССР». Он явно не устраивал Сталина, и эти материалы не были изданы при жизни «гениального полководца» даже в урезанном виде.

Реакция Сталина, по всей видимости, сбавила активность Вышинского. Во всяком случае, после завершения выступлений советских обвинителей он стал реже наведываться в Нюрнберг, предпочитая из Москвы наблюдать за происходящим на процессе, где все больше и больше возникало вопросов, вызывавших неудовольствие у советского руководства.

Еще во время пребывания Вышинского в Нюрнберге в конце ноября 1945 г. всплывали вопросы, связан-

ные с Прибалтикой, советско-германскими отношениями накануне войны. Поэтому еще тогда он составил перечень вопросов, не подлежащих обсуждению на процессе. Этот перечень обсуждался на совещании советской делегации. Совещание постановило:

«1. Утвердить представленный т. Вышинским перечень вопросов, которые являются недопустимыми для обсуждения на суде (перечень прилагается).

2. Обязать т. Руденко договориться с другими обвинителями не касаться ряда вопросов, чтобы СССР, США, Англия и Франция и другие Объединенные Нации не стали предметом критики со стороны подсудимых».

Приложением к этому подписанному Вышинским протоколу служил следующий документ:

«Перечень вопросов:

1. Отношение СССР к Версальскому миру.

2. Советско-германский пакт о ненападении 1939 года и все вопросы, имеющие к нему какое-либо отношение.

3. Посещение Молотовым Берлина, посещение Риббентропом Москвы.

4. Вопросы, связанные с общественно-политическим строем СССР.

5. Советские прибалтийские республики.

6. Советско-германское соглашение об обмене немецкого населения Литвы, Латвии и Эстонии с Германией.

7. Внешняя политика Советского Союза и, в частности, вопросы о проливах, о якобы территориальных претензиях СССР.

8. Балканский вопрос.

9. Советско-польские отношения (вопросы Западной Украины и Западной Белоруссии)».

Всего через четыре дня после представления меморандума советской делегацией с перечнем вопросов, обсуждение которых следует пресекать, защитник Гесса Альфред Зейдль получил в свое распоряжение аффидевит (надлежащим образом заверенные письменные показания) бывшего заведующего юридическим отделом МИД Германии в ранге посла по особым поручениям Фридриха Гауса. Последний сопровождал Риббентропа в Москву в августе 1939 года. Аффидевит содержал краткое описание хода переговоров и подробное изложение секретного протокола к пакту о ненападении от 23 августа.

Адвокат Зейдль, решив с помощью аффидевита Гауса «перевернуть процесс», добился обсуждения этого документа. Получилось, что Руденко, не имея перевода аф-

фидевита на русский язык и не зная его содержания, не воспротивился предъявлению его Трибуналу. Затем, в ходе допроса Зейдлем Риббентропа, последний признал факт подписания секретного протокола. Суд должен был принять аффидевит Гауса в качестве доказательства защиты. Вот что говорилось в третьем пункте показания Гауса, как он был зачитан в суде:

«...Кроме пакта о ненападении долго обсуждался секретный документ, который, как я помню, получил название «секретный протокол», или «секретный дополнительный протокол». В нем шла речь о разграничении сфер интересов обеих сторон в расположенных между ними европейских территориях. Я не могу вспомнить, употреблялись ли там выражения типа «сферы интересов» или другие подобные обороты. Германия объявляла себя политически не заинтересованной в Латвии, Эстонии и Финляндии, напротив, Литву согласно этому документу она относила к сфере своих интересов. Относительно политической незаинтересованности обоих прибалтийских государств споры возникли тогда, когда рейхсминистр в соответствии с полученными инструкциями захотел исключить некоторую часть прибалтийских территорий из советской сферы интересов. Это встретило неодобрение с советской стороны. Особенно это касалось располагавшихся там портов. Рейхсминистр по этим пунктам... заказал разговор по телефону с Гитлером... Гитлер уполномочил Риббентропа одобрить советскую точку зрения. Для области Польши была установлена демаркационная линия... Относительно Польши было достигнуто соглашение, в котором говорилось примерно то, что обе державы при окончательном урегулировании вопросов, касающихся этой страны, будут действовать во взаимном согласии...»

Далее, в пятом пункте аффидевита Гауса, говорилось: «При состоявшихся приблизительно через месяц переговорах о втором советско-германском договоре (переговоры состоялись по советской инициативе) секретный протокол был изменен так, что теперь и Литва, за исключением небольшой территории, вдававшейся в Восточную Пруссию, была исключена из сферы влияния Германии. Однако демаркационная линия на польской территории была перенесена дальше на восток. Позднее, как я помню, только в начале 1941 года или в конце 1940 года германская сторона в результате дипломатических переговоров отказалась от этого «литовского выступа».

Какую реакцию у Сталина, Молотова и Вышинского вызвало обсуждение аффидевита Гауса в суде и признание этого документа в качестве доказательства, нетрудно себе представить. Из Москвы немедленно последовало указание посылать телеграфом на имя Молотова каждодневные доклады о ходе судебных заседаний...

Однако Зейдль не ограничился представлением показаний Гауса. Раздобыв где-то копию с фотокопии секретного протокола, он сделал попытку огласить текст протокола. Суд потребовал сообщить источник.

После того как Зейдль отказался назвать источник получения протокола, Трибунал запретил оглашать этот документ, как не вызывающий доверия. Но Зейдль не прекращал попыток добиться признания секретного протокола в качестве доказательства. 17 апреля он внес предложение вызвать в качестве свидетелей бывшего советника германского посольства в Москве Г. Хильгера, участвовавшего в советско-германских переговорах в августе 1939 года, и заместителя Риббентропа Вайцзеккера. Американцы, не желая осложнять обстановку, дали понять, что Хильгер болен и не может приехать на процесс из США. На допрос Вайцзеккера в качестве свидетеля Трибунал вынужден был дать согласие. Бывший заместитель Риббентропа подтвердил показания Гауса о секретном протоколе. Зейдль потребовал в своем выступлении вызвать в качестве свидетеля министра иностранных дел СССР Молотова... и обвинил СССР в совместной с Германией агрессии против Польши, а также поставил в этой связи вопрос о правомерности участия Советского Союза в процессе. Трибунал постановил исключить это место из речи и не допустил включения этих обвинений в стенограмму. Дискуссия таким образом была погашена. В этом несомненная «заслуга» Вышинского, который на этот раз из Москвы дирижировал действиями советского обвинения. Джинна удалось загнать в бутылку на четыре с половиной десятилетия. Но факт остается фактом: во время работы Международного военного трибунала были получены свидетельства, подтверждающие то, что секретный протокол был подписан и содержание его стало известно мировой общественности.

В конце мая 1946 года адвокат Зейдль опубликовал текст секретного протокола в одной из американских газет. Сталин немедленно дал указание сделать для него перевод этой публикации...

В докладе председателя Комиссии по политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года А. Н. Яковлева говорилось:

«С 1939 года никакой информации по этому поводу у нас не публиковалось. Причины умалчивания понятны: суть секретного протокола сводилась к тому, что Сталин и Гитлер «поделили сферы интересов», куда вошли соседние суверенные государства.

Все это обошлось нам дорого — и политически, и морально...»

Еще один вопрос, к которому приложил руку Вышинский на Нюрнбергском процессе, была Катынь. Андрей Януарьевич стоял у истоков этого дела, касавшегося гибели в предвоенные годы более пятнадцати тысяч польских граждан — его соплеменников. И здесь он действовал заодно с ведомством Берии.

История этого вопроса тесно связана с секретным протоколом к пакту о ненападении от 23 августа 1939 года. В соответствии с договоренностью между Сталиным и Гитлером, закрепленной в протоколе, 17 сентября 1939 года Красная Армия вступила на территорию Польши. Польша была суверенным государством, которая с 1934 года имела пакт о ненападении с Советским Союзом и никоим образом его не нарушила. Состояние войны не было объявлено ни одной из сторон, а командование польской армии отдало приказ не оказывать сопротивления Красной Армии. Этот приказ был выполнен, и большая часть польских военнослужащих добровольно сложила оружие. Тем не менее они содержались как военнопленные. Причем с самого начала была видна сомнительность оснований, по которым польские военнослужащие оказались отнесенными к этой категории. Данное обстоятельство нисколько не насторожило юриста и дипломата А. Я. Вышинского, который в то время являлся заместителем наркома иностранных дел СССР. Совместно с руководством НКВД он после уже вступления Красной Армии на территорию Польши разрабатывает «Положение о военнопленных».

На обороте имеется пометка:

«Положение принято экономсоветом (СНК СССР) 20.9.39. Будет утверждено СНК СССР.

Тов. Вышинскому поручено рассмотреть 20.9 полож(ение) об упр(авлении) по делам о военнопленных
подпись (Чернышов)»

В дальнейшем ни один из пунктов положения выполняться не будет, за исключением суда по нормам того времени. А нормой было Особое совещание при НКВД СССР. Именно решением этого совещания весной 1940 года были уничтожены более 15 тысяч польских граждан, содержавшихся в лагерях НКВД Козельска, Старобельска и Осташкова.

После нападения гитлеровской Германии на СССР почти всех поляков-военнослужащих освободили и они стали вступать во вновь формируемую польскую армию на территории Советского Союза. Ее возглавил генерал Андерс. Поляков из названных трех лагерей в числе добровольцев не оказалось. На многочисленные вопросы о их судьбе поступали невразумительные ответы. Восемь раз по этому поводу непосредственно к Вышинскому обращался посол Польши Кот. Особую активность в поисках пропавших соотечественников проявили представители польского посольства, работавшие в местах проживания поляков на территории СССР. Их деятельность была прекращена в начале 1943 года. О том, как это было сделано, свидетельствует документ, хранящийся в архиве МИД СССР. Он озаглавлен: «Предложения по вопросу суда над арестованными бывшими сотрудниками представительств» от 17 февраля 1943 года. Предложения подписаны заместителем наркома иностранных дел СССР Вышинским и заместителем наркома внутренних дел СССР Меркуловым. Утверждены не ясно в каком качестве Молотовым. В документе говорится, что в отношении шестнадцати польских дипломатических сотрудников, обвиняемых в шпионаже, наказание должно быть определено, исходя из приведенных ниже предложений. Далее повторялся список обвиняемых с указанием меры наказания: десять, пятнадцать, двадцать лет заключения, ВМН (высшая мера наказания). Правда, справедливости ради, надо сказать, что высшая мера предлагалась по отношению к одному человеку, но Молотов зачеркнул это предложение и написал: «20 лет». И к этому делу Вышинский приложил свою руку.

Весной 1943 года немцы с участием экспертов из многих европейских стран, в том числе и Польши, провели экстумацию захоронения в районе Катынского леса под Смоленском и из более 4 тыс. обнаруженных трупов идентифицировали около 2,8 тыс. по найденным при них документам. По заключению экспертов, это были останки польских военнослужащих, расстрелянных весной 1940 года. Вина за это возлагалась на органы НКВД.

13 апреля радио Берлина на весь мир объявило о Катынской находке. Собственно, с этого момента и стало широко известным название местности и небольшого населенного пункта — Катынь. В сообщении была названа цифра 11—12 тысяч человек, и в дальнейшем немцы строго придерживались этих данных, предполагая, что под Смоленском похоронены поляки из всех трех лагерей. Очевидно, они не имели достаточно полных данных об общей численности пропавших без вести, которая составляла, как видно из материалов управления по делам о военнопленных НКВД, более 15 тысяч человек.

В апреле московское радио обвинило немцев в провокации, заявив, что польские военнослужащие перед началом войны принимали участие в строительстве дороги под Смоленском и летом 1941 года попали в руки немцев, которые их расстреляли и теперь пытаются свалить вину за это на Советское правительство.

Все эти события побудили польское правительство в Лондоне обратиться 17 апреля в Международный Красный Крест в Женеве с петицией о расследовании Катынского дела. Но Берлин опередил его, попросив Международный Красный Крест выслать в Катынь своих представителей.

20 апреля лондонское польское правительство обратилось к СССР с нотой, в которой требовало точного определения советской позиции и дополнительных данных. Ответа на нее не последовало. В свою очередь советская сторона обвинила польское правительство в Лондоне в сотрудничестве с немцами против союзников. 25 апреля Международный Красный Крест отклонил польское ходатайство о посылке в Катынь международной комиссии на том основании, что СССР протестует против одинаково сформулированных Польшей и Германией обвинений по этому вопросу. 26 апреля 1943 года Советский Союз разорвал дипломатические отношения с польским правительством в Лондоне, обвинив его в сотрудничестве с гитлеровской Германией. Польский посол в Москве был объявлен пособником нацистов... Автором всех советских заявлений по Катыни был заместитель министра иностранных дел СССР А. Я. Вышинский.

В конце апреля 1943 года глава польского правительства в Лондоне генерал Сикорский вручил премьеру Великобритании Черчиллю подборку «Дело Катыни». Но тот проявил сдержанность в этом вопросе, не желая обострений отношений с Советским Союзом. Подобную

позицию заняло и правительство США. Приглушению данного вопроса способствовала загадочная гибель генерала Сикорского в начале мая 1943 года во время его полета через Гибралтар из Великобритании в США на встречу с Рузвельтом. По сообщениям прессы, с американским президентом он намеревался обсудить и катынский вопрос.

В конце 1943 г. в Смоленске после освобождения его советскими войсками готовилась начать работу комиссия, возглавляемая академиком Н. Н. Бурденко.

Советское руководство было в полной мере осведомлено о результатах расследования немцев. В ноябре — декабре 1943 года по указанию Вышинского через советское посольство в одной из стран был получен экземпляр немецкого отчета по Катыни, так называемая «Белая книга», которая широко использовалась гитлеровцами в пропагандистских целях. В его распоряжении находились также материалы НКВД СССР по польским военнослужащим. Таким образом, у Вышинского не могло быть никаких сомнений в том, кто виновник убийства в Катыни. Однако Сталин и его окружение с помощью Вышинского решили скрыть это преступление. В данной связи примечателен приводимый ниже документ:

«Николаю Ниловичу Бурденко — академику

Николай Нилович! Посылаю Вам для ознакомления документы «Германская фальшивка о «Катынских убийствах» (перевод «Белой книги», полученной Вышинским.— *Ю. З.*).

При составлении акта полемизировать по поводу этого документа не надо.

Мой привет Вам и лучшие пожелания

18/I Н. Шверник».

Этим письмом задавался настрой для работы комиссии Бурденко: Н. М. Шверник был председателем Чрезвычайной государственной комиссии.

Советская комиссия работала в январе 1944 года. Уже 24 января было сделано заявление о результатах ее работы. В нем сообщалось, что на территории Катынского леса находятся могилы 11 тысяч поляков, которые летом содержались в трех лагерях под Смоленском. Все они попали в руки к немцам при отступлении Красной Армии, а те сразу их уничтожили. Сначала срок преступления был датирован августом 1941 года, но когда обнаружилось, что захороненные были одеты в шинели, то его изменили на сентябрь — октябрь. О самих лагерях практически ничего не говорилось.

13 февраля 1946 года заместитель главного обвинителя от СССР полковник юстиции Ю. В. Покровский представил суду акт советской Специальной комиссии по Катыни, не нуждавшийся, согласно статье 21 Устава Международного военного трибунала, в дополнительных подтверждениях.

Защитник Геринга Отто Штаммер, чувствуя уязвимость советского обвинения, подал ходатайство о вызове в суд свидетелей-немцев, намереваясь с помощью их показаний опровергнуть обвинение по Катыни. Это ходатайство, несмотря на энергичный протест советской стороны, было удовлетворено Трибуналом.

15 марта Вышинский направляет Руденко телеграмму следующего содержания:

«В связи с решением Трибунала от 12 марта Трибуналу следует направить от имени обвинения письмо следующего содержания:

...Согласно ст. 21 Устава Международного Военного Трибунала: «Трибунал также будет принимать без доказательств официальные правительственные документы и доклады Объединенных Наций, включая акты и документы комитетов, созданных в различных союзных странах для расследования военных преступлений.

Упомянутое выше решение Трибунала является прямым нарушением этой статьи Устава.

Допуская оспаривание доказательства, считающегося согласно ст. 21 бесспорным, Трибунал превышает свои полномочия, так как Устав является для Трибунала законом, обязательным к исполнению...

Этот вопрос имеет принципиальное значение для всего процесса, а решение Трибунала от 12 марта составляет крайне опасный прецедент, так оно дает защите возможность бесконечно затягивать процесс путем попыток опровергнуть доказательства, считающиеся согласно ст. 21 бесспорными...

Вследствие изложенного я считаю необходимым настаивать на пересмотре упомянутого выше решения Трибунала, как прямо нарушающего Устав Международного Военного Трибунала.

Если Трибунал все же оставит в силе прежнее решение, Руденко должен будет заявить Трибуналу, что Советское обвинение ограничилось оглашением одних только выводов из сообщения Специальной Комиссии, так как это доказательство в соответствии со ст. 21 является бесспорным.

Поскольку Трибунал стал на другую точку зрения, Советское обвинение будет вынуждено на основании ст. 24 п. «е» Устава:

1. Просить Трибунал приобщить к делу все постановления Специальной Комиссии.

2. Представить Трибуналу со своей стороны дополнительные списки свидетелей и экспертов, допрос которых будет являться необходимым при тех условиях, которые создались в результате принятого Трибуналом решения».

6 апреля суд снова занимался рассмотрением ходатайства Штаммера и оставил свое первоначальное решение в силе.

Между тем комиссия Вышинского лихорадочно приступила к подготовке свидетелей. Вот ее протокол от 21 марта:

«1. Подготовить болгарских свидетелей, для чего командировать в Болгарию нашего представителя. Исполняет т. Абакумов.

2. Подготовить три — пять наших свидетелей и двух медицинских экспертов (Прозоровский, Семеновский, Смольянинов). Исполняет т. Меркулов.

3. Подготовить польских свидетелей и их показания. Исполняет тов. Горшенин...

4. Приготовить подлинные документы, найденные при трупах, а также протоколы медицинского обследования этих трупов. Исполняет тов. Меркулов.

5. Подготовить документальный фильм о Катыни. Исполняет тов. Вышинский.

6. Тов. Меркулов подготовит свидетеля-немца, который был участником провокации в Катыни...»

Все те же Абакумов, Вышинский, Меркулов! Что означало на их языке «подготовить свидетелей», пояснений не требует.

Но задача оказалась не простой, и 24 мая комиссия Вышинского снова занимается катынской проблемой. Она постановила:

«...Поручить комиссии в составе тт. Райхмана, Шейнина и Трайнина в 5-тидневный срок ознакомиться со всеми материалами о немецкой провокации в Катыни и выделить те из документов, которые могут быть использованы на Нюрнбергском процессе для разоблачения немецкой провокации в Катыни...»

11 июня комиссия под председательством Вышинского рассмотрела вопрос о вызове свидетелей по Катынскому делу в Нюрнберг, а также об отправке их в сопровожде-

нии сотрудников министерства государственной безопасности туда 12 июня.

Приведенные факты свидетельствуют, как подробно разрабатывался с участием Вышинского сценарий, по которому должно было действовать советское обвинение. Однако на этот раз система Андрея Януарьевича и его компаньонов из ведомства Берии оказалась не очень надежной. Это бросилось в глаза даже тем, кто направлял их работу. По всей видимости, на самом верху было решено в самый последний момент допросить в Нюрнберге только трех наиболее «надежных» свидетелей, в том числе бывшего во время немецкой оккупации Смоленска заместителем бургомистра Базилевского, но они выглядели на процессе весьма бледно.

В Приговоре Международного военного трибунала отсутствует пункт обвинения, касавшийся Катыни. Советская сторона в особом мнении к Приговору не выразила никакого протеста по этому поводу. Нюрнбергский процесс не признал вину немцев в убийстве польских военнослужащих.

А. Я. Вышинский сделал много, чтобы попрать основы правовых норм в СССР, способствуя укреплению тоталитарного режима. Однако в Нюрнберге его постигла неудача. Вместе с ним там потерпел поражение и сам тоталитаризм: наряду с осуждением нацизма процесс неизбежно высветил такие стороны политики сталинизма, которые наше государственное и партийное руководство предпочитало скрывать от советской и мировой общественности.

В. ИСРАЭЛЯН

ОБЛИЧИТЕЛЬ

Передо мной 540-я страница девятого тома второго издания БСЭ. С нее на читателя сквозь роговые очки направлен змеиный, пронизывающий взгляд с виду весьма интеллигентного человека в мундире Чрезвычайного и Полномочного посла Советского Союза. В биографическом очерке о нем говорится: «Он беспощадно разоблачает захватническую политику реакционных правящих кругов США и Англии, от имени СССР и всего прогрессивного человечества настойчиво требует запрещения преступной пропаганды войны, безнаказанно проводимой в этих стра-

нах империалистическими агрессорами, против СССР и стран народной демократии». Это сказано об Андрее Януарьевиче Вышинском, человеке, имя которого неотделимо от густого кровавого пятна в летописи нашей истории 30-х годов, главном обвинителе практически на всех крупнейших политических процессах того времени, в результате которых были искалечены тысячи и тысячи людских судеб. Однако приведенные слова относятся к его деятельности не на поприще «правосудия», а в другой области — на международной арене. Почти полтора десятка лет Вышинский проработал во внешнеполитическом ведомстве нашей страны с 1940 г. в качестве заместителя министра иностранных дел, а в 1949—1953 годах — министра.

Я начинал свою службу в МИДе в первые послевоенные годы, когда Вышинский был на вершине своей дипломатической карьеры. Мало кому из нас, начинающих дипломатов, довелось работать непосредственно с ним. Но говорили о нем много. Живо обсуждались его выступления на различных совещаниях и собраниях, из уст в уста передавались его саркастические замечания и реплики, воспроизводились сцены разгона, который он систематически учинял провинившимся, а то и неповинным сотрудникам. Его боялись, боялись почти все. Попасть ему на язык, в особенности когда он пребывал в дурном расположении духа, было сущим несчастьем.

Вместе с тем его «беспощадные разоблачения» внешних врагов, выступления, напичканные историческими экскурсами и аналогиями, часто, правда, весьма сомнительными, жонглирование афоризмами, пословицами, латынью, наконец, хлесткие ярлыки, которые он клеил своим политическим оппонентам,— все это вызывало одобрение и даже восхищение отдельных поклонников его таланта. Истины ради надо признать и этот его «дар».

Роль Вышинского во внешнеполитических делах стала заметной в послевоенный период, особенно в годы, когда он возглавил министерство иностранных дел. Сразу же оговорюсь. Внешняя политика Советского Союза, впрочем, как и большинства государств, формируется не в ведомстве иностранных дел, а высшим руководством страны. Поэтому я далек от преувеличения значимости Вышинского в разработке внешнеполитических концепций и определении ключевых позиций СССР, тем более что в отличие от ряда своих предшественников и преемников на посту министра он никогда не был членом

Политбюро. Что же касается методов осуществления тех или иных внешнеполитических акций, так сказать, дипломатического почерка, то тут рука Вышинского узнавалась сразу. Эти заметки именно о почерке...

Впрочем, сначала несколько слов о международной ситуации того периода. Это были годы «холодной войны», крайне сложное и опасное для судеб народов время. В такой обстановке особое значение приобретали оздоровление мёждународного климата, развитие мирных отношений между государствами, смягчение их противоборства, недопущение гонки вооружений. Однако долгое время нам представлялось, что основу всего дальнейшего развития международных отношений будет составлять непримиримая борьба между двумя враждебными лагерями — социалистическим и капиталистическим. Само понятие «два лагеря», введенное в оборот политической лексики именно нами, в определенной мере нацеливало на противоборство, соперничество. Глядя на мир сквозь призму этой упрощенной схемы, мы усложнили отношения с некоторыми странами.

Стиль же Вышинского, его пристрастие к «разоблачительству» лишь усиливали противоборствующие, конфронтационные элементы в мировой дипломатии. Его одиозность определялась прежде всего его прошлой прокурорской деятельностью. Дело в том, что в отличие от большинства советских людей в Вашингтоне и Лондоне, Париже и Токио уже во время политических процессов 30-х годов прекрасно знали, что Бухарин и Рыков, Зиновьев и Каменев, другие обвиняемые никогда «шпионами Запада» не были, что обвинения против них состряпаны организаторами процессов, в том числе и прокурором Вышинским.

Это накладывало заметный отпечаток на отношение к Вышинскому со стороны иностранных деятелей и тогда, когда он сменил мундир с прокурорского на посольский. «Когда бы я ни смотрел в эти блеклые глаза (Вышинского.— *Прим. авт.*),— признается в своих воспоминаниях американский посол в Советском Союзе Ч. Болен,— передо мной возникала ужасная сцена прокурора, запугивающего обвиняемых на процессе Бухарина». Другой американский дипломат и историк Дж. Кеннан, также немало лет проработавший в Москве, в том числе в качестве посла США, навсегда запечатлел в своей памяти политические процессы 30-х годов, когда в Колонном зале Дома союзов Вышинский издавал «вопль подозри-

тельной, скрытной России против воображаемой враждебности внешнего мира».

Весьма невысокого мнения о Вышинском был и его непосредственный партнер — государственный секретарь США Д. Ачесон, с которым ему не раз пришлось вступать в переговоры. «В качестве гражданского обвинителя во время сталинских кровавых чисток среди деятелей партии, государства и военных в 30-е годы,— пишет Ачесон,— он (Вышинский.— *Прим. авт.*) затравливал своих бывших друзей и коллег до полного изнеможения и смерти». Ачесон считал Вышинского «прирожденным негодяем, хотя и окультуренным и занятным».

Вышинскому не доверяли, на неофициальные, дружеские контакты, столь важные в дипломатии, с ним не шли. Когда на Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Англии в 1943 году Вышинский в беседе с Ч. Боленом рисовал радужные картины советско-англо-американского сотрудничества после войны, это не произвело впечатления на американца. «...Зная прошлое Вышинского,— записал Болен в своем дневнике,— я подумал, что его слова звучат неправдиво».

Вышинский любил «публичную» дипломатию, выступать на международных конференциях было его страстью. На 4-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН он произнес 20 речей, на 5-й — 26, на 6-й — 22. Выступления его были, как правило, длинные, некоторые из них продолжались по 2—2,5 часа, а то и более. Так, в октябре 1952 года, выступление Вышинского в ООН по корейскому вопросу длилось 3,5 часа.

Пристрастие Вышинского не обязательно следовало бы причислять к его порокам, если бы не их характер. Вышинский клеймил, пригвождал к позорному столбу, унижал, высмеивал. Полемика, которую затевал он, носила конфронтационный характер. Вышинский, по существу, заботился не столько о поиске взаимоприемлемого компромисса, сколько об осуждении противника.

Вообще бывший прокурор вел себя на международных конференциях отнюдь не как на собрании представителей суверенных государств, а как на судебном заседании. И к своим зарубежным коллегам он обращался соответственно. «Янгер, Остин (представители Англии и США в ООН.— *Прим. авт.*) и все остальные, имеющие уши...» — так Вышинский приглашал слушать его речи. Кого-то он предлагал поместить в сумасшедший дом.

Лорд Глэдвин, много лет представлявший Англию в

ООН, вспоминал: «Этот вселяющий ужас Вышинский... расточал (в ООН.— *Прим. авт.*) весь свой большой судебный талант, который успешно помог ему в прошлом приговорить к смерти своих лучших друзей во время сфабрикованных «судебных процессов» в Советском Союзе».

В годы пребывания Вышинского на посту министра Советский Союз выступил с рядом внешнеполитических инициатив: о заключении Пакта мира между пятью великими державами, урегулировании «берлинского кризиса», прекращении военного конфликта в Корее, принятии мер по укреплению мира и дружбы между народами и другими. Но почитайте выступления Вышинского в тот период. В них основное внимание уделено не аргументированному разъяснению преимущества наших предложений, а осуждению позиции другой стороны. Внося, например, в ООН предложение о Пакте мира, Вышинский в своем выступлении в основном разоблачал НАТО, «план Маршалла», политику США и Англии, попутно «врезал» гоминьдановцу и только под конец сообщил о новом предложении СССР, приведя в качестве главного аргумента в пользу его одобрения серию цитат из заявлений «вождя народов Советского Союза». Более того, главный акцент был сделан не на новой конструктивной идее, а на предложении осудить США и Англию за подготовку новой войны. В итоге предложение СССР привело лишь к острой политической конфронтации.

Вышинский имел не только высшие дипломатические и юридические ранги. Он был также действительным членом АН СССР. Тем не менее научная палитра академика состояла в основном из двух красок — черной и белой. Ими он и пользовался в своих выступлениях, рисуя картину мира. Все, что относится к Советскому Союзу,— превосходно, прекрасно. СССР «с каждым годом набирает силы, экономически растет, расцветают его наука, техника, искусство, культура», а уже к 1951 году благосостояние советского народа было поднято на «небывалый уровень» и тому подобное, и так далее. Что же касается экономического положения на Западе, то оно характеризовалось не иначе как «пошатнувшееся», «ухудшающееся», «предкризисное», утверждалось, что «план Маршалла» закончился «крахом и провалом».

Еще хуже у академика дело обстояло с прогнозированием. Так, в связи с заключением Сан-Францисского мирного договора с Японией, который Советский Союз

отказался подписывать, Вышинский предсказывал превращение японского народа в пушечное мясо в новой войне, подготавливаемой НАТО. Договор, по его мнению, лишит «японский народ возможности поднять свое благосостояние и препятствует развитию его материальных и духовных сил». Не менее мрачное будущее ожидало, по оценкам академика, и население ФРГ. По Андрею Януарьевичу, крах мира капитализма был не за горами. Впрочем, будем справедливы, такие оценки он заимствовал из высказываний «вождя и учителя» и его ближайших единомышленников.

Но вернемся к деятельности Вышинского как дипломата, хотя я убежден, настоящим дипломатом он никогда и не был, являясь человеком нетерпеливым, грубым, вспыльчивым. Еще в XVII веке автор знаменитого труда по искусству дипломатии француз Кальер справедливо отмечал, что люди с неровным характером, которые не властны над своими страстями, более пригодны для войны, чем для переговоров. Вышинский, увы, был лишен таких качеств, как умение прислушиваться к мнению оппонента, терпимость к нему, такт. Вот один из примеров.

В 1951 году США, Англия и Франция внесли в ООН совместное предложение об ограничении вооружений, в котором акцент делался на вопросах доверия и контроля. Авторы придавали своему предложению большое значение. Накануне его внесения президенты США и Франции и премьер-министр Великобритании выступили со специальным обращением, а министры иностранных дел этих стран формально представили его на рассмотрение ООН в день открытия сессии Генеральной Ассамблеи. Едва выслушав своих коллег, Вышинский дал этому предложению следующую оценку: «...Можно безошибочно утверждать, что гора родила мышь, настолько ничтожны и явно фальшивы предложения, идущие из атлантического лагеря». По утверждению «Нью-Йорк таймс», далее, отступив от подготовленного текста — а это Вышинский делать любил, и в Москве, имея на руках только заготовку, зачастую не знали, что он говорил в здании Объединенных Наций,— он заявил, что после ознакомления с речью президента Трумэна «мне не спалось всю ночь, так как смех меня душил, хотя человек я не смешливый от природы». Насчет последнего его утверждения я не берусь спорить...

Предложение западных стран содержало, безусловно, ряд недостатков. Но разве пристало представителю вели-

кой державы с порога, не выслушав мнение других членов мирового сообщества, отвергать предложение партнеров? Да еще в такой форме.

Советский дипломат Я. А. Малик, много лет проработавший с Вышинским, рассказал мне, что как-то после очередной оскорбительной тирады один из иностранных дипломатов, обличенных Вышинским, вызвал его на дуэль. Последний, однако, вызов не принял, выразив свое «презрение» в адрес обиженного.

Склонность к обличительным формулировкам, граничащая с откровенной грубостью, к «страшным словам» была в самой природе Вышинского. В выборе хлестких, но, по существу, бессодержательных ярлыков его фантазия не знала границ. Конечно, такие эпитеты, как «взбесившийся пес», «вонючая падаль», «проклятая гадина», «жалкий подонок» и прочие, которые он щедро расточал на политических процессах в СССР, на международных форумах он все же не решался вводить в оборот. Но вот «рьяный поджигатель войны», «грубый фальсификатор», «распоясавшийся господин», «сумасшедший» или «полусумасшедший», «гнусный клеветник» встречались в его выступлениях сплошь и рядом. Оценки выступлениям представителей государств он выставлял иногда такие: «Я не скажу... о приемах, которые здесь применяли и бразильский делегат, и делегаты всего англо-американского блока, как о жонглерстве. Все, что они здесь проделывали,— это фокусничество, это можно было бы назвать балаганным шпагоглотательством, где не нужно никакого искусства...» В других случаях он заявлял, что глава австралийской делегации привел факты, которые «являются базарными сплетнями и враньем, достойным знаменитого барона Мюнхаузена», речь канадского делегата «представляла собой каскад ругательств и истерических выкриков», глава бельгийской делегации «нес несусветный вздор».

Вышинский допускал оскорбительные выпады не только против непосредственных участников переговоров, но и в адрес государств, которые они представляли. Одно из них (с ним у нас, кстати, были нормальные дипломатические отношения) он сравнивал с «шакалом, выискивающим добычу». Над некоторыми малыми странами подтрунивал за их немощь. Когда представитель малой страны поддерживал позицию СССР, Вышинский ратовал за уважительное отношение к малым странам, в противном случае старался высмеять их.

Англичанин Шоукросс сказал о стиле Вышинского следующее: «Когда советская делегация протягивает оливковую ветвь мира, то она делает это столь агрессивным способом, что как будто рассчитывает отбить у других желание принять ее». Суть выступлений Вышинского один из дипломатов характеризовал немецкой пословицей: «Ты должен стать моим братом или я проломлю тебе череп».

Грубые выражения Вышинского вызывали недовольство даже в Кремле. Ему было предложено умерить пыл своих речей.

Стиль и суть политики не могут так расходиться. Неуважительные замечания, высмеивание политических деятелей, их очернительство, если они даже придерживаются антикоммунистических взглядов, несовместимы с намерением установить добрососедские отношения с государствами, которые они представляют. Ругань никогда не содействовала, да и не может содействовать конструктивному сотрудничеству.

Прокурорская риторика Вышинского сопровождалась выражением «гневных протестов», «презрительного игнорирования наглых заявлений», а иной раз и просто хлопаньем дверей. Одна из таких акций имела весьма серьезные последствия. С 13 января 1950 года советская делегация в знак справедливого протеста против того, что место Китая в Совете Безопасности занимали представители гоминьдановского режима, а не КНР, перестала посещать заседания этого важнейшего органа ООН. Что дала эта советская акция? Она, к сожалению, не привела к восстановлению законных прав КНР в ООН (это произошло спустя 20 с лишним лет), не обеспечила она и нерушимость советско-китайской дружбы. В отсутствие же советского представителя Совет Безопасности принял неприемлемые для СССР и других стран — его союзников решения. В условиях возможных дальнейших осложнений наш представитель Я. А. Малик получил указание вернуться в Совет с 1 августа 1950 года. Отдаю себе отчет, что самоустранение от работы Совета Безопасности не могло быть результатом решения Вышинского, оно исходило от Сталина. Но ему, как министру иностранных дел, следовало бы предвидеть такой опасный оборот дела и воспрепятствовать этому.

«Прокурорская дипломатия» Вышинского наряду с другими проявлениями культа личности помогала созданию «образа врага». В конце 40-х — начале 50-х годов

опросы Гэллапа показали, что большинство американцев были уверены, что вскоре они окажутся в состоянии войны с СССР. Известный поборник европейской безопасности 92-летний датчанин Х. Ланнунг много лет проработал в ООН. Я поинтересовался, помнит ли он Вышинского? Конечно, он помнил его. «Каждое выступление Вышинского было захватывающим шоу»,— сказал он. «Хотели бы Вы повторения такого шоу?» — спросил я его. «О, нет!» — твердо ответил он. Конфронтационная дипломатия Вышинского ушла в безвозвратное прошлое. Сегодня мы имеем все основания говорить о коренном изменении всего стиля нашей внешнеполитической деятельности. И эти перемены немало содействовали оздоровлению международной обстановки.

А. ГРОМЫКО

«ЗАГАДКА» ВЫШИНСКОГО

Берия отладил чудовищную машину репрессий, аппарат насилия, империю лагерей. Именно он вместе с Вышинским всячески раздувал деспотические амбиции Сталина, являлся и в личном плане садистом и мерзавцем в полном смысле. Его арестовали, осудили и расстреляли.

Долго «загадкой» я считал тогда Вышинского. Да и многие так считали.

Познакомился я с ним уже после войны. В 1940 году его назначили первым заместителем народного комиссара иностранных дел СССР. Но тогда я его не знал. Когда позже я с ним встретился, то мне бросились в глаза его основательная подготовка, умение выражать свои мысли,— сказывался опыт. Он не лез, как говорят, в карман за словом. Кстати, последним качеством он злоупотреблял.

Нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов вначале относился к нему, в общем, уважительно. Но позднее зачастую не солидаризировался с его точкой зрения на ряд проблем. Это я подмечал много раз.

В Министерстве иностранных дел процессов прошлого — над «троцкистами», «бухаринцами», «зиновьевцами» — никто, разумеется, не обсуждал. Дипломаты избегали говорить на эту тему. Но не составляло труда увидеть, что Вышинский часто сидел задумавшись. Это замечали многие. О чем он думал, я, как и другие дипломаты, тогда не знал и лишь впоследствии понял, что оснований у него для раздумий хватало.

Когда я начинаю мысленно склеивать и сопоставлять известные мне факты о Вышинском периода культа личности Сталина и судебных процессов над так называемыми «врагами народа», то прихожу неизменно к выводу: этот человек никогда не был предан нашей идее, Он представлял собой какой-то осколок из политически чуждого нам мира. В свое время он относился к числу активных меньшевиков, немало сил приложил, чтобы попытаться выследить Ленина, когда тот скрывался от ищеек Временного правительства. В общем, был в прошлом не просто меньшевиком, а еще и карьеристом без чести и без совести, служившим преступным целям. Это Сталин хорошо знал, и, видимо, биографию прокурора тоже знал досконально.

Со своей стороны я должен со всей решительностью заявить, что фигура Вышинского — зловещая. Сталину она была нужна, так как служила его вождистским амбициям. Он использовал Вышинского, чтобы скрывать свои беззакония и преступления, чтобы создавать подобие юридического прикрытия массовых репрессий. Перед Вышинским ставилась задача: в море лжи, подтасовок, приемов насилия с применением самых гнусных средств в отношении жертв произвола, посаженных на скамью подсудимых, утопить истину.

Он зло издевался над теми юристами, которые осуждали пропагандируемую им правовую концепцию, гласившую, что признание подсудимым своей виновности — во всех случаях достаточное основание для осуждения. Такая концепция широко использовалась в период беззакония. Незаконные методы ведения следствия, насилие и разного рода изощренные приемы физического и психологического воздействия на людей — вот что характеризовало сталинский период произвола, репрессий и самого Вышинского как их «теоретика».

Когда Вышинский стал министром иностранных дел, мне доводилось быть свидетелем его телефонных разговоров с Берией. Как только в трубке раздавался знакомый голос, Вышинский сразу вскакивал с кресла, как будто его подталкивала какая-то невидимая пружина. А сам разговор по телефону и вовсе представлял собой мерзкую картину: так угодничает только слуга перед барином.

В общем, неудивительно, что в свою бытность в Прокуратуре СССР Вышинский с необычайной угодливостью «юридически» обосновывал любой приговор, вынесения

которого требовал Берия, а в конечном счете Сталин. У прокурора часто фигурировало выражение:

— Признание — это царица доказательств.

Такая формулировка оставляла в стороне вопрос о том, как добывалось само признание.

Исходя из этой логики, делался простой и однозначный вывод. Если есть признание, то судьи могут выносить свой приговор, а люди уже заранее обрекались на гибель. Поэтому и применялись самые изощренные незаконные методы, чтобы добыть «признание». Использовались и физическое насилие, и психологическое давление, и иные недозволенные в юридической практике приемы.

О бездне преступлений, совершаемых под маской правосудия, Вышинский в свое время, конечно, знал лучше, чем кто-либо, но с преданностью продолжал служить и главному виновнику репрессий, и всему аппарату террора, исполнявшему приказы сверху.

Осталось не так уж много людей, кто лично наблюдал за тем, что представлял собою Вышинский как человек. В какой-то мере я такую возможность имел.

Он был жестоким. И, кажется, созданным для того, чтобы причинять людям боль, особенно если это будет замечено тем, кто может его похвалить.

Когда Вышинский уже выполнил свое грязное дело в качестве прокурора во время процессов над «врагами народа», его, как известно, Сталин сначала перевел на внешнеполитическую службу, предоставив ему высокий дипломатический пост, а в 1949 году назначил министром иностранных дел СССР. Репрессии невинных людей еще продолжались, но сам бывший прокурор уже сидел в новом кабинете, под новой крышей.

Однажды вечером зашел я к нему в кабинет для очередного обсуждения текущих вопросов внешней политики. Вижу — Вышинский сидит за столом в состоянии какой-то отрешенности. И смотрит так, будто готовится услышать какую-то страшную весть. Про себя я подумал: «Не принял ли он дозу каких-то сильных наркотиков?»

Он затем даже привстал, как будто я ему непременно должен что-то сообщить. Лицо усталое, напряженное. Но не промолвил ни слова. Мне ничего не оставалось, как спросить:

— Что с вами, Андрей Януарьевич?

Он ответил:

— Скажу честно, живу по принципу: прошел день с утра до вечера,— ну и слава богу.

Тогда впервые я понял, что он, видимо, является частью какого неизвестного мне мощного механизма и над ним тоже висит какая-то угроза.

Сам по себе этот факт может показаться незначительным. Но он все же говорит о том, что люди, которые использовались в период репрессий и внешне выглядели как гроза правосудия, сами тоже являлись заложниками у того, кто сидел на вершине пирамиды власти и беззакония.

Он как бы замкнулся в себе. Хотя и впоследствии жизнь и дела заставляли меня встречаться с ним по делам внешним не раз, но никогда, вплоть до самой кончины, Вышинский больше не высказывал мысль, которую я услышал от него в тот вечер.

Не только жестокость, но и бестактность отличала его. Вспоминается в связи с этим эпизод из жизни тех лет.

Как-то по окончании работы я приехал домой часа в четыре утра. Тогда обычным считался такой распорядок дня ответственных работников: засиживаться в служебных кабинетах до глубокой ночи, а то и до раннего утра следующего дня. Завели его по инициативе Сталина просто потому, что сам «хозяин» установил такой режим для себя, а на него равнялись другие. Но Сталин начинал свой рабочий день не в девять часов утра, как все, а в час, а то и в два-три часа дня. Короче говоря, днем он часто спал, а ночью работал.

Приехав домой, я сразу уснул. Вдруг раздался телефонный звонок. С трудом проснувшись, я взял трубку и услышал знакомый голос:

— Говорит Вышинский.

И далее он стал обсуждать вопрос, о котором мы несколько часов назад уже переговорили. Я ему напомнил:

— Мы ведь с вами детально рассмотрели эту проблему.

Он, конечно, уловил недовольную интонацию в моей реплике, а она такой и была: я же знал, что еще накануне вечером Вышинский уезжал домой часа на три, некоторое время поспал дома и затем возвратился в министерство.

В общем, он вспылил, усмотрев в моих словах упрек и недовольство тем, что он позвонил в четыре часа утра. А я и не скрывал: так оно и было. Однако мстительный Вышинский не мог этого простить. Я ощущал это и позже.

Другой случай. Мне приходилось неоднократно наблюдать, как министр Вышинский вызывал сотрудников и начинал разговор на высокой ноте,— обычно с упрека,

а то и с ругани. Такая манера вступления в беседу применялась и с послами, и с посланниками. Он считал, что вначале на человека нужно нагнать страху, а потом уже в такой атмосфере запуганности обсуждать вопрос по существу. Я знал, что в этом он любил подражать Берии, с которым систематически поддерживал контакты.

Однажды после его крутого и бестактного разговора с одним из послов, в отношении которого он допустил непозволительные бранные выражения, я не вытерпел и сказал, причем внешне у меня слова звучали совершенно спокойно, хотя внутренне я был на взводе:

— Конечно, ваши нервы, видимо, не выдерживают. Я бы по-дружески советовал говорить с дипломатами в более спокойном тоне. Мне известно, что многие сотрудники этого ожидают. Ведь они же все борются за законные интересы нашего Советского государства.

Вместо того чтобы поблагодарить меня за добрый совет, Вышинский опять вспылил:

— Я хочу держать людей в известном напряжении.

И дал понять, что ничего в своей манере обращения с людьми он менять не собирается, а будет и впредь поступать так же. Так он и поступал. А по отношению ко мне после этого затаил недоброе чувство, хотя никогда на этот случай не ссылался. Выливалось оно в самые неожиданные моменты. Пожалуй, нелишне в этой связи вспомнить и о таком эпизоде, про который мне позже рассказали независимо один от другого Маленков и Молотов.

На заседании Политбюро во время одного из докладов по вопросам текущей политики Вышинский отозвался о заместителях министра нелестно. Ни с того ни с сего он вдруг заявил:

— Мои заместители почти все молодые. Они не имеют необходимого опыта политической работы. Возьмите, к примеру, Громыко. По его основной работе у меня к нему никаких замечаний нет. Но ведь он не принимал участия в борьбе с троцкизмом. Ни одной его статьи не было в «Правде».

Кто-то из членов Политбюро задал вопрос:

— Как же он мог принимать участие в этой борьбе, если ему тогда было лет пятнадцать-шестнадцать?

Все ожидали, посматривая то на Молотова, то на Вышинского, что они скажут на это. Слово взял Молотов:

— Ему тогда было, кажется, шестнадцать лет.

Вышинский промолчал. Что ж, Молотов справку дал правильную. Все, в том числе Сталин, улыбнулись.

Когда я позднее узнал об этом, то подумал: «Да ведь в том возрасте, о котором шла речь, я еще и большого города как следует не видел. Раза два ходил с товарищем пешком в Гомель, который для нас обоих казался другим миром. А о каком-то Троцком отрывочные слухи изредка доходили до нашего села, но даже взрослые ничего толком о нем не знали. В ту пору к нам не приходила ни одна газета».

Вот с таким человеком мне и пришлось в течение известного времени работать под одной крышей. Хорошо, что недолго.

Дипломатии он никогда не учился и фактически к ней не приобщился. Конечно, в обсуждениях и спорах точка зрения Молотова всегда одерживала верх. Но чем дальше текло время, тем больше отношения между Молотовым и Вышинским становились натянутыми. Его вспыльчивость и несдержанность отрицательно сказывались на работе. Особенно четко это проявилось в Америке во время одной из сессий Генеральной Ассамблеи ООН.

На даче советского представительства в Гленкове, приблизительно в пятидесяти километрах от Нью-Йорка, проходило совещание руководящего состава советской делегации на Генеральной Ассамблее ООН. Обсуждался вопрос о том, как реагировать на заявления представителей некоторых западных стран, что Советский Союз не хочет разоружения. Поэтому-де он и не принимает предложений стран НАТО по контролю, утверждали они.

Молотов — а он являлся главой делегации — в ходе обсуждения высказал такую мысль:

— Надо дать аргументированный ответ. Он должен показать, что расхождения между нами и «западниками» состоят в том, что Советский Союз предлагает, чтобы контроль применялся одинаково эффективно как к Советскому Союзу, так и к странам НАТО, а западные державы такого одинакового подхода не хотят. Все это надо разъяснять.

Мы, присутствовавшие на этом совещании, в том числе Мануильский, Киселев, Зорин, Новиков, Соболев, Голунский, считали, что Молотов был прав. Все понимали, что позицию СССР надо терпеливо излагать и отстаивать. Все, но не Вышинский.

— Считаю, — говорил он, — что надо делать резкие заявления о том, что западные страны занимаются клеветой, и чем резче, тем лучше.

Он предлагал формулировки, похожие на приговоры

суда, выносимые уже после того, как вина подсудимого «доказана». С этим каким-то бездумным упрощением положения, конечно, никто из нас не мог согласиться. Становилось ясно, что Вышинский и в данном случае не расставался с тем ходом мыслей, который он многократно использовал во время известных судебных процессов в период культа личности Сталина, пропуская все через свое «юридическое сито».

Поняв, что оказался в изоляции, он вдруг вскочил со стула и в виде протеста, хлопнув дверью, вышел из комнаты. Все свидетели того, что произошло, весьма удивились этой бестактности.

Молотов продолжил обсуждение и вел себя так, будто ничего особенного не случилось, не поднял даже головы, но чувствовалось, что он возмущен. Продолжали высказываться другие члены делегаций СССР, Украинской ССР и Белорусской ССР.

Минут через сорок Вышинский возвратился, тихо занял свое место, до конца совещания ничего не говорил и сидел, как каменное изваяние. Молотов, в свою очередь, демонстративно делал вид, что его не замечает, и спокойно продолжал вести совещание.

Разговор фактически продолжался между Молотовым, Мануильским, мною, Соболевым, Новиковым и другими делегатами.

Приключился с Вышинским в начале пятидесятых годов и такой случай.

В Советский Союз тогда с официальным визитом прибыл премьер Государственного административного совета КНР Чжоу Эньлай. Ему оказали соответствующие почести как представителю дружественного соседнего государства. С ним беседовал и Сталин.

От имени Министерства иностранных дел СССР в честь Чжоу Эньлая устроили обед. Состоялся он в особняке МИД СССР на улице Алексея Толстого. В качестве старшего с советской стороны был Вышинский.

Уселись за стол. Слово для тоста взял Вышинский. Тост состоял из нескольких кратких фраз. Ему ответил Чжоу Эньлай. А затем началась застольная беседа, в ходе которой обсуждение политики чередовалось со свободно выбираемыми темами. Разговор носил дружественный характер. На столе стояли водка и сухое вино. Хозяева и гости особого расположения к алкогольным напиткам не проявляли, особенно к водке. Одним словом, все выглядело корректно и непринужденно. Были и тосты.

Поднявшись из-за стола, старшие гости совместно с хозяевами перешли в гостиную. С нашей стороны шли Вышинский, я и еще два человека, с китайской стороны — Чжоу Эньлай, китайский посол и еще два-три дипломата. Конечно, высказывания переводились переводчиками.

Когда мы расселись, я вскоре обратил внимание на то, что Вышинский почти ничего не говорит. Он, обычно так любивший порассуждать, ограничивался в тот момент лишь словами «да» или «нет».

Прошло минут десять — пятнадцать. Вдруг он поднялся со своего места и быстро, ничего не говоря никому, направился мелкими частыми шагами к широкой парадной лестнице, на выход. Все были удивлены, особенно Чжоу Эньлай. Я тоже оказался застигнутым врасплох таким поведением главного хозяина. Но поскольку был первым заместителем министра иностранных дел, то по законам протокола и старшинства пришлось брать разговор на себя. Оценив обстановку, я сказал Чжоу Эньлаю:

— Видимо, Вышинский почувствовал себя неважно.

— Да, вероятно, так и есть,— отозвался Чжоу Эньлай.

Беседа продолжалась. Гости отнеслись к этому факту спокойно. В конце концов, мало ли что случается.

Однако после того как я вечером вернулся домой, то примерно минут через двадцать мне позвонил Сталин. Он задал вопрос:

— Что у вас там произошло с Вышинским, почему он ушел?

Я ответил:

— Товарищ Сталин, произошло следующее. Когда обед был завершен, мы все перешли в гостиную. Завязалась обычная беседа. Но я обратил внимание, что Вышинский почти ничего не говорит. Так продолжалось, наверно, минут десять — пятнадцать. Вдруг он поднялся с кресла и быстро направился к выходу. Мы с Чжоу Эньлаем продолжали беседу. Судя по всему, Чжоу Эньлай и все остальные гости отнеслись к этому спокойно.

Сталин спросил:

— Вышинский что-либо пил? Может быть, он опьянел?

Я ответил:

— По моим наблюдениям, а я ведь сидел напротив него и все видел, он выпил рюмку, может быть, две сухого вина. Так что, мне кажется, человек не может опьянеть после такой порции вина.

Тогда Сталин задал мне прямой вопрос:

— Почему же Вышинский убежал, можно сказать, спотыкаясь, со встречи с Чжоу Эньлаем?

Я ответил:

— По-моему, он все же не был пьян. Он шел быстро, мелкими шажками.

— А вот врачи заявляют, что он отравился алкоголем,— сказал Сталин.

— В таком случае, возможно, он выпил до обеда,— парировал я.

Сталин держал трубку,— чувствовалось, размышлял.

— Гм, гм, гм...— раздавалось в трубке, а потом:— Ну, хорошо.

На этом наш разговор и закончился. Если честно, то я тогда в какой-то мере Вышинского пощадил. Почему? Скорее всего потому, что не мог утверждать наверняка, что он много выпил. Просто этого не видел. Равно как и не мог я дать гарантию, что все происходило только так, как пришлось рассказать Сталину. Не проверял же я, сколько точно рюмок выпил министр. Через стол я видел бокалы с вином. Но светлая водка в светлой рюмке могла и притаиться от моего взгляда. Исходил я при этом из презумпции невиновности, которую так жестоко поносил Вышинский во время процессов, на которых выступал в роли обвинителя жертв беззакония.

А о звонке Сталина и о моем разговоре с ним я ни тогда, ни позже Вышинскому не сказал. Он скорее всего об этом не знал.

После смерти Сталина в Министерстве иностранных дел СССР произошли перестановки. Министром назначили Молотова. Вышинского сдвинули на пост первого заместителя министра с явной задумкой услать на работу куда-нибудь подальше.

Но вот однажды Молотов вернулся с заседания Политбюро взволнованным. Он сразу же собрал своих заместителей. Нас было четверо, в том числе первые заместители — Вышинский и я.

Так происходило всегда, когда министру поручалось сообщить о каком-то важном решении, принятом на заседании высшего партийного органа. Он обычно информировал руководящий состав министерства прежде, чем мы узнавали о случившемся из печати.

Но то, что мы услышали в этот раз, было совершенно неожиданным, из ряда вон выходящим. Молотов заявил:

— Только что арестован Берия!

Рядом со мной, поставив руки на стол и положив на

них голову (уже сама по себе поза представлялась какой-то неестественной), сидел Вышинский. После того, что мы услышали, я посмотрел на него. Он наклонил голову к столу. Явно в состоянии шока, он выдохнул:

— Вячеслав Михайлович, повторите, пожалуйста, что вы сказали.

Эту просьбу высказал только он, несмотря на то, что сидел к министру ближе других.

Молотов подтвердил сказанное:

— Да, да, да! Берия арестован!

Не берусь судить о том, что думал в этот момент Вышинский. Скрюченность его тучного тела выглядела противоестественно. Не могу сказать, были ли в тот момент его глаза открытыми или закрытыми. Все равно он ничего не видел, потому что тупо смотрел прямо в зеленую скатерть стола.

А Молотов коротко рассказал о том, как производился арест. Повторяю — коротко.

— Берию сразу же отвели в соседнюю комнату под охраной. Мы, оставшиеся на заседании члены Политбюро, сидели и делали вид, что продолжаем заседание...

Вышинский слушал все это с каменным выражением лица. Он еще долго не мог прийти в себя от неожиданного сообщения. До конца нашего совещания он так и не проронил ни звука. Собственно, происходившее в тот день совещанием никто не осмелился бы назвать.

Все, в том числе Молотов, украдкой посматривали на Вышинского, который сидел в состоянии какой-то прострации.

Вышинский умер через год после смерти Сталина. Но для меня он перестал оставаться загадкой уже тогда, когда неуклюже навалился всем телом на стол, услышав известие об аресте Берии.

И. УСАЧЕВ

ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ

(Воспоминания дипломата)

Специалисты похоронного бюро работали споро. Они понимали друг друга с полуслова, обмениваясь отрывистыми репликами, быстрыми, точными движениями передавали нужный инструмент.

Когда же работа была выполнена, они расслабились. Неторопливо сняли с себя и аккуратно сложили на дно

саквояжей прорезиненные фартуки, которые были повязаны поверх халатов. За фартуками последовали халаты. Резиновые перчатки ожидала другая судьба, они были брошены в мусорное ведро.

Не торопясь, мастера промыли и старательно протерли отдававшие холодным блеском инструменты. Ланцеты, лопатки, ножницы и другие приспособления легли в отведенные им углубления специальных ящичков.

— Распишитесь, пожалуйста, вот здесь, что работа выполнена и принята заказчиком,— обратился ко мне старший из специалистов, протянув заранее заготовленный документ.

Я пошарил во внутреннем кармане пиджака — ручки там не было. Заметив мое смущение, американец предложил свою авторучку. Я расписался на бланке. Вторая подпись в связи с «операцией Вышинский». Первая была поставлена под полицейским актом, свидетельствующим о смерти А. Я. Вышинского. Так положено по законам, действующим в Нью-Йорке,— без полицейского акта ни одно похоронное бюро не примет заказ на подготовку тела к захоронению, а в данном случае — к отправке в Москву.

Бюро, к которому мы обратились, выделило действительно первоклассных специалистов, мастеров своего дела. Все было выполнено образцово: безупречно надет темный костюм без единой, нарушающей строгость складки, белоснежная, отглаженная и накрахмаленная сорочка, своей белизной притягивающая взгляд к лицу покойника.

Но разве это был покойник? О том, что Вышинский мертв, свидетельствовали лишь закрытые веки. В остальном... Грим и пудра сотворили чудо, скрыв мертвенную бледность. Щеки были гладко выбриты. Две седые щеточки на верхней губе выровнены с не меньшим искусством, чем отличалась штатная парикмахерша Министерства иностранных дел, раз в неделю священнодействовавшая над лицом и шевелюрой высокого клиента. Казалось, что под кожей порозовевшего лица циркулирует кровь, разогретая только что закончившейся в зале Генеральной Ассамблеи ООН полемикой, в которую он так любил ввязываться. Казалось, что только что отзвучала его очередная речь — одна из тех, которые занимали целые полосы «Правды» в одном, двух, а то и трех выпусках и воспринимались, в частности, советскими читателями как образец советского дипломатического искусства.

Итак, даже отправляясь в свой последний путь, А. Я. Вышинский сохранил облик, к которому привыкла публика. Облик человека, не раз поднимавшегося на трибуну Генеральной Ассамблеи ООН, начиная с ее первой сессии, человека, для которого эта трибуна порой превращалась в своего рода театральные дипломатические подмостки. Каким же был Андрей Януарьевич Вышинский в роли дипломата?

* * *

Случайность играет в дипломатической службе не меньшую, а возможно и большую роль, чем в любой другой профессии. После трех лет работы в Бангкоке — не сегодняшнем столичном городе одного из поднимающихся как на дрожжах новых промышленных государств Азии, а в городе, еще не излечившем раны войны на стороне Японии, я получил назначение в отдел Южной Азии МИД СССР. В индийскую референтуру.

В один из майских дней в мой кабинет, который я делил с другими сотрудниками, заглянула секретарь отдела, вернее, заведующего отделом.

— Вас требует заведующий,— сказала она.

— Добрый день,— произнес я, едва переступив порог кабинета заведующего,— вы меня вызывали?

— Да,— поднялся из-за стола заведующий.— Завтра министр принимает посла Индии Радхакришнана. Вы должны быть на встрече в качестве переводчика...

— Я...— у меня перехватило дыхание.— Как можно, ведь у министра есть свои проверенные переводчики...

— Не надо спорить. Разумеется, есть, но они плохо осведомлены о состоянии советско-индийских отношений. Сказано быть к...— заведующий назвал время во второй половине дня грядущего.

Мое волнение не было поддельным. Хотя со времени возвращения из Бангкока набежало не так уж много дней, я успел тем не менее наслышаться немало былей и небылиц о непредсказуемом нраве министра. По министерству ходили рассказы о том, что Вышинский придирчив ко всему: независимо от того, важный это документ или малозначительная записка. Говорили много о его взрывном характере, о том, что оговорка в переводе может привести министра в бешенство. А если человек мямлит, жует слова и не в состоянии изложить более или менее разумно свою мысль, то, как говорится, не дай Бог. В таком случае Вышинский тут же выставляет сотруд-

ника за дверь, предварительно отчитав его в выражениях, порой далеких от принятых в приличном обществе.

Не спасает тогда ни ранг, ни служебное положение. Такой «проработке» подвергались не только рядовые работники министерства, которые, впрочем, крайне редко допускались до его руководителя, но и заместители министра, заведующие отделами и другие члены высшей иерархии. Говорили — позже я убедился в вероятности этого,— что раздраженный Вышинский запустил в одного из заведующих отделом ножницами. По счастью, они пролетели мимо и дело обошлось без травмы.

Далеко не простыми были отношения министра со своими заместителями. Вышинский старался в контактах с ними подчеркнуть свое превосходство, не только должностное, но и личное. Сотрудники министерства рассказывали о ставшем анекдотическим факте. Первый заместитель министра иностранных дел подписал документ — «Я. Малик». Вышинский пристроил к этой подписи свою резолюцию, закрепив ее своим подлинным факсимиле «А. Я. Вышинский».

Заместители Вышинского своими оценками министра делились лишь с сугубо преданными друзьями, но и это не спасало от того, что натянутость их отношений не была секретом для остальных сотрудников министерства.

Вернемся, однако, к канве нашего рассказа. Поход к министру даже в качестве переводчика требовал, как не трудно догадаться, самой тщательной подготовки. Даже блестящее знание языка без надлежащего знания предмета беседы не гарантирует от осечки. О чем может говорить посол Радхакришнан, какие вопросы он может поставить? А что следует ожидать от министра, проявит ли он со своей стороны какую-либо инициативу? До вечера просидел я за досье, знакомясь с информацией о текущих делах между Индией и СССР.

На следующий день утром раздался звонок из секретариата Вышинского. Мне было предложено явиться туда за полчаса до приема посла и переговорить со старшим помощником министра. У меня отлегло от сердца. Ивана Ивановича Л. я знал давно, по учебе в Высшей дипломатической школе (ныне Дипломатической академии). В обращении он был грубоват, но старых товарищей помнил. Я не ошибся: он подсказал, о чем может быть разговор. Прежде чем провести меня в приемную министра, Иван Иванович придирчивым взглядом осмотрел меня, даже поправил галстук.

— Вроде бы в порядке,— проворчал он.— Хозяин не терпит неряшливости... Запомнил? Не торопись и не глотай слова, старайся говорить внятно и размеренно...

Работник протокольного отдела ввел в приемную индийского посла. Радхакришнан внешне напоминал Джавахарлала Неру. Белая конгрессистская шапочка-пилотка, длинный приталенный коричневый сюртук, белые узкие полотняные панталоны. Говорил он с акцентом, свойственным индийскому произношению английских слов, к которому я потом так привык в ООН.

Из кабинета вышел Вышинский — как всегда подтянутый, поджарый, в тщательно отутюженном костюме. Волосы с проседью, коротко подстрижены. Над верхней губой — щеточки усов. За узкими овалами никелированных очков — ощупывающий взгляд с прищуром. Подойдя к послу, министр первым протянул ему руку.

Беседа носила общий характер, и, используя традиционное клише советской печати, о ней можно сказать, что она проходила в деловой, дружественной обстановке. Да и едва ли эта встреча могла быть иной, имея в виду характер советско-индийских отношений и то обстоятельство, что посол возвращался на родину, где стал впоследствии президентом Индии.

Когда закончился прием и были завершены протокольные формальности, Вышинский бросил своим слегка скрипучим голосом: «Беседу запишите кратко, точно и без сантиментов».

Я добросовестно исполнил указание министра. Запись ему, очевидно, понравилась, и 27 мая 1952 года я оказался в секретариате Вышинского в должности первого секретаря.

* * *

Работа в секретариате была в полном смысле слова работой на износ. Рабочий день начинался в 11—12 часов дня, а кончался в 2—3 часа ночи. Вышинский строго подстраивался под часы работы (или бодрствования) Сталина. В те часы, когда мог позвонить или потребовать к себе «большой хозяин», необходимо было быть на месте. Когда звонил «красный телефон», нужно было немедленно выйти из кабинета Вышинского и плотно прикрыть за собой двери.

Понятно, что, пока Вышинский находился в своем кабинете, не могли покинуть своего рабочего места его заместители, заведующие отделами, их секретари. Поэтому

до глубокой ночи светились окна здания на перекрестке Сретенки и Кузнецкого Моста, перед входом в которое стоит памятник Воровскому. На Смоленскую-Сенную площадь министерство переехало незадолго до смерти Сталина, после которой рабочий режим был изменен.

Нелегко было высшему звену министерства, но еще труднее было работникам секретариата министра. На работу нужно было явиться до прибытия министра, а уехать — после него. Единственная льгота, которой мы пользовались,— это возможность прихватить один лишний час для отдыха после дежурства, кончавшегося, по сути дела, на рассвете.

Вышинский требовал, чтобы к моменту его появления в министерстве его рабочий стол был приведен в строгий — раз и навсегда установленный — порядок. Дешифрованные депеши посольств должны были находиться в специально отведенной папке разложенными в определенной последовательности. Предварительный просмотр депеш, их сортировка как совершенно секретных документов считались святым делом и осуществлялись, как правило, старшим помощником министра. Через его руки проходили наиболее важные документы, и прежде всего те, которые адресовались в ЦК КПСС. Печатались эти документы на желтоватой бумаге высокого сорта с водяным знаком в виде просвечивающих продольных и поперечных линий — верже. В кулуарах министерства рассказывали, будто вагон такой бумаги был захвачен во время советско-финляндской войны. Сталину пришлась по вкусу эта приятная, а главное, высококачественная бумага, и он требовал, чтобы ему представлялись документы, отпечатанные именно на этой бумаге. Затем это стало традицией.

Работникам секретариата Вышинского рангом пониже доверялась работа с документами также рангом пониже. Младшие сотрудники были ограничены доступом к малозначительным документам и к материалам Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), содержавшим зарубежную информацию. Дело вроде бы простое, но и здесь были свои подводные камни.

Вышинский весьма ценил материалы ТАСС. Он внимательно просматривал регулярно готовившиеся для него подборки наиболее важных сообщений, включавших помимо сведений о крупных событиях отчеты о выступлениях ведущих политических и государственных деятелей, статьи известных в международных кругах полити-

ческих обозревателей. Министр помечал и откладывал те их них, которые, как он полагал, могли быть использованы в дальнейшем в текстах выступлений. Об особом интересе Вышинского к таким материалам свидетельствовал тот факт, что те из них, которые министр не успел прочитать за день, он забирал с собой домой.

Понятно поэтому, что сотрудник, отбиравший в день дежурства материалы ТАСС, должен был быть предельно собранным, просматривая сообщения, и постоянно держать в памяти, какие источники интересуют Вышинского больше всего. Следует сказать, что у Вышинского была цепкая память и какая-то особая интуиция в отношении возможной реакции наших политических оппонентов. Тот, кто упускал из виду информацию, которая могла бы пригодиться позже или оказаться существенной в определении оценки событий, подвергался в лучшем случае разносу.

Придирчивость Вышинского проявлялась не только в отношении того, что можно было по праву считать существенной частью работы. В конце концов, системность в отборе по значению и важности закрытой или газетной информации просто необходима для эффективной деятельности. Вышинский был придирчив и к мелочам. Требовал, чтобы в стакане около чернильного прибора всегда были остро отточенные карандаши, особенно синие, которыми он подчеркивал наиболее важные, по его мнению, места в печатных материалах, визировал и подписывал документы.

Записки Вышинский писал от руки автоматической ручкой. Однако должны были быть наготове и обычные ручки со стальными перьями. Как-то раз, распалившись, он накололся на такое перо. С того времени ручки вкладывались в стакан только перьями вниз.

Эти штрихи могут показаться малозначительными для читателя, но они представляли важные моменты в жизни секретариата министра, более того, они определяли атмосферу, в которой действовало министерство, оказывали большое влияние на формирование кадров. К вопросу о влиянии на кадры, об отношении Вышинского к окружающим мы вернемся ниже. Сейчас же обратимся к действиям Вышинского — политического деятеля и дипломата.

* * *

До назначения на пост министра иностранных дел СССР 7 марта 1949 года Вышинский длительное время

(с 1 октября 1940 года) занимал место заместителя народного комиссара (с 1946 г. — министра) иностранных дел. В качестве заместителя В. М. Молотова он выполнял важные поручения, в ряде случаев исходившие непосредственно от Сталина, но тем не менее оставался в тени главы внешнеполитического ведомства, и поэтому его влияние на работу этого ведомства не было особенно заметным. По свидетельству ветеранов советской дипломатии, став министром, Вышинский не спешил навязывать свой стиль в работе министерства.

Да он и не мог при всем желании это сделать, поскольку политический курс страны и внешнеполитические акции диктовались Сталиным. «Большой хозяин» мог вмешаться в любой момент и по любому поводу. В июле 1952 года в Финляндии проходили Олимпийские игры. Случаю было угодно, чтобы в полуфинале встретились футбольные команды Советского Союза и Югославии. Ненависть Сталина к Тито перекинулась и на спорт, на югославскую команду. Собственноручно «большой хозяин» написал телеграмму, пересланную Вышинским шифром в Хельсинки, в которой советской команде предписывалось обязательно одержать победу. После такого «отеческого» внимания у наших игроков по понятным причинам сдали нервы, и они проиграли. В финале встречались Венгрия и Югославия.

Вышинский тяготел к тем вопросам и к тем формам дипломатической работы, которые давали возможность показать живость и остроту ума, большую эрудицию, качества первоклассного полемиста. Такому требованию отвечало в первую голову участие в сессиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Заведующие отделами Международных организаций, Международных экономических организаций, Договорно-правового управления входили в число заведующих, наиболее часто вызывавшихся к министру. Их вызовы становились почти ежедневными, когда шла непосредственная подготовка к грядущей сессии Генеральной Ассамблеи и составлялись директивы и указания советской делегации.

С упоением — в полном смысле этого слова — Вышинский работал с поступавшими к нему документами, касавшимися предстоящей сессии. Он интересовался всем: исходными сырыми проектами, предложениями использовать то или иное выступление зарубежного деятеля, высказывания и оценки специалистов, найденные в журналах и монографиях. Разумеется, с исключительным

вниманием, прямо-таки с благоговением относился к указаниям, исходившим свыше. В такой бумаге не дозволялось коснуться даже запятой. Придирчивый исследователь обнаружит немало погрешностей не только в стиле, но и в грамматике документов того времени. Во всяком случае, на моей памяти Вышинский потребовал переиздания уже выпущенного документа ООН только на том основании, что в одном из пунктов был сделан по соображениям логики абзац, а в остальном наше предложение воспроизводилось буква за буквой, запятая за запятой.

Не надо думать, что материалы, попадавшие на стол Вышинского, не подвергались сортировке. Интересуясь всем, что поступало к нему в связи с подготовкой к поездке в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи, он тем не менее сразу же выделял наиболее важное. На первом месте стояли директивы делегации, а фактически ему, ибо все годы пребывания на посту министра он возглавлял делегации. Директивы утверждались, как говорили в министерстве, «инстанцией», то есть Сталиным, и Вышинский, естественно, стремился и представить свой товар лицом, и обезопасить себя от случайностей. Поэтому проект директив «утюжился» в течение недель, а то и месяцев.

На втором месте стояла «главная речь» — выступление Вышинского в общей дискуссии, когда дело касалось обычной, регулярной сессии, или выступления по основным международным вопросам, лихорадившим в то время мир. В отличие от большинства других высокопоставленных чиновников Вышинский сам диктовал машинисткам свои выступления. В чужих заготовках его интересовали только новые соображения или интересный поворот мысли.

После того как текст был отпечатан, Вышинский формировал из него проект выступления. Затем он не раз возвращался к проекту, делал вставки, либо развивавшие мысль, либо содержавшие новые иллюстративные моменты. К этой работе привлекались сотрудники секретариата: они должны были, в частности, выверить все ссылки и цитаты. Надо сказать, что ежедневные оперативные листы ТАСС, содержавшие внешнеполитическую информацию, не отличались большой точностью. Это — не упрек, а признание сложности работы агентства: ведь переводы производились с листа в большой спешке, и работавший над ними не всегда мог пра-

вильно понять тот или иной пассаж и найти точный русский эквивалент. Конечно, правильнее было бы обращаться к оригиналам, но в те годы иностранная пресса попадала в министерство с большой задержкой. Вольготнее было уже на сессии в Нью-Йорке, где обеспечивался широкий, беспрепятственный доступ к прессе.

Вышинский дорожил своим реноме блестящего оратора и строго взыскивал со своих сотрудников за неточности. Тот, кому доводилось работать над статьями или выступлениями, знает, что при многократной перекройке всегда может проскочить ляпсус. Так, в одном из последних вариантов очередного выступления Вышинского обнаружилось, что сказанное Джоном Фостером Даллесом было приписано итальянскому премьеру Де Гаспери. Что мог сказать в наш адрес Даллес, неприязнь которого к Советскому Союзу была притчей во языцех, читатели, видимо, догадываются. Случай, понятно, неприятный, последовал разгон, а отчитывавший нас считал себя безупречным. Впрочем, это было правилом.

На следующем месте в поле зрения Вышинского находились указания для советской делегации. Это был более обширный документ, чем директивы, поскольку он должен был подсказать делегации, как действовать практически по всем вопросам, поставленным в повестку дня сессии. А число таких вопросов, начиная с первой сессии Генеральной Ассамблеи, перевалило за сотню и неизменно держалось на таком уровне.

Если попытаться сравнить подход Вышинского к составлению указаний с его же подходом к разработке директив, то первый можно назвать «гибким» в сопоставлении со вторым — «жестким». «Гибкость» в данном случае была вызвана не особенностями характера Вышинского, ему больше соответствовала «жесткость». Но дело в том, что многие вопросы повестки дня Ассамблеи приходилось решать на месте, на месте определять и позицию, которая фиксируется однозначно в голосовании. Умудренный опытом политик и царедворец, Вышинский облегчал таким образом свою жизнь как главы советской делегации, обеспечивал себе большую свободу маневрирования в бурном ооновском море.

* * *

Я приступил к работе в секретариате Вышинского в самом начале подготовки к очередной, седьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На первый взгляд сессия

должна была быть ординарной, но обстановка в мире была напряженной, омраченная войной на Корейском полуострове. К лету 1951 года положение на фронте боевых действий стабилизировалось на 38-й параллели, то есть около исходного рубежа — границы, отделявшей Северную Корею от Южной. Начавшиеся 10 июля 1951 года переговоры о перемирии в Паньмыньчжоне топтались на месте. В связи с восстанием северокорейских военнопленных на острове Кочжедо в мае 1952 года особую остроту приобрел на этих переговорах летом 1952 года вопрос о военнопленных.

Вопросы корейской войны, отношений с Китаем заняли важное место в дипломатической деятельности Вышинского. Он был назначен министром иностранных дел СССР незадолго до победы народной революции в Китае. Его участие в организации и проведении первых действительно крупных по международному значению переговоров было связано с приездом китайской делегации в СССР. 14 февраля 1950 года Вышинский и Чжоу Эньлай подписали Договор о дружбе, союзе и взаимопомощи с Китайской Народной Республикой, а также ряд других соглашений. С его именем связана постановка в ООН вопроса о восстановлении прав КНР в ООН. Вышинский был причастен к ошибочному решению Сталина бойкотировать Совет Безопасности ООН после того, как было отклонено требование о правах КНР в Организации Объединенных Наций. Отсутствие советского представителя в Совете Безопасности в момент возникновения корейской войны дорого обошлось советской дипломатии и обернулось против тогдашних союзников СССР — КНДР и КНР.

Календарю международных событий лета 1952 года было угодно, чтобы подготовка Вышинского к предстоящей седьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН сочеталась с событиями, еще более затягивавшими «китайский узел» и отчуждавшими Советский Союз от западных государств. 18 августа 1952 года в Москву прибыла делегация КНР, возглавлявшаяся Чжоу Эньлаем. Понятно, что главные вопросы обсуждались не в министерстве, хотя Чжоу Эньлай посетил Вышинского, а в Кремле. Министерство занималось решением практических вопросов, призванных «обрастить мясом» Договор о дружбе.

Круг таких вопросов был довольно широк. Мне лично пришлось ездить к министру путей сообщения Бещеву в мрачное здание, что у Красных ворот, для получения его согласия на направление документа в «инстанцию».

Бещев подписал документ почти не глядя — он полагался на щепетильность Вышинского в подготовке предложений для Сталина. Советско-китайские переговоры прошли гладко. 28 августа 1952 года Вышинский провел официальный прием в честь Чжоу Эньлая.

Чжоу Эньлай бесспорно был личностью, производившей глубокое впечатление. Следуя своему хозяину, Вышинский старался в переговорах с китайскими представителями разыгрывать роль «старшего брата». И все же его подобострастное отношение к Чжоу Эньлаю не ускользало от внимательного наблюдателя.

За всеми вопросами, обсуждавшимися Вышинским с Чжоу Эньлаем, будь то вопросы железнодорожного сообщения и иные, незримо стоял вопрос о выходе из корейской войны. Война уже захлебнулась, установившееся патовое положение не сулило победы ни той, ни другой стороне. Вместе с тем такое положение таило в себе опасность распространения конфликта на территорию Китая.

На подход Вышинского, да и всего советского руководства — этот термин уже прочно вошел в газетный жаргон — к Соединенным Штатам и их политике оказывало влияние и то обстоятельство, что в это время пост американского посла занимал Джордж Фрост Кеннан, считавшийся в силу стечения обстоятельств идеологом «холодной войны». Он выступил в июльском выпуске журнала «Форин афферс» (1947 год) со статьей под заголовком «Источники советского поведения», в которой говорилось об экспансионистском характере сталинской внешней политики и выдвигалась доктрина «сдерживания» в отношении нашей страны. Вышинский не раз громил автора статьи и доктрины, скрывавшегося под псевдонимом «Икс». Ясно, что его отношение к Кеннану не могло не быть, мягко говоря, настороженным.

В один из августовских дней посол попросил Вышинского принять его по важному делу. Явился он в министерство в сопровождении двух своих сотрудников. Одним был советник посольства Максуини, вошедший вскоре в состав американской делегации в ООН, затем оказавшийся в Неаполе в качестве политического советника при командовании 7-м американским флотом и позже послом США в Софии.

Посол был очень мрачен. Вышинский вел себя не менее сухо при обмене традиционными приветствиями. После такой не сулящей ничего хорошего прелюдии

посол вытащил из внутреннего кармана пиджака сложенные вдвое листы бумаги и зачитал заявление американской стороны. Оно касалось положения в Корее и содержало жесткие требования в адрес Советского Союза. Вышинский выслушал заявление с каменным лицом, ничто не выдавало его чувств. Когда посол закончил, министр спросил:

— Можете ли вы передать мне вашу бумагу для точности?

— Я не имею таких полномочий,— ответил посол и, демонстративно сложив листки, спрятал их в карман пиджака. Некоторое время продолжалось тягостное молчание. Затем посол и сопровождавшие его лица гуськом направились к двери.

— Перескажите мне по возможности полнее заявление, зачитанное послом,— обратился ко мне Вышинский, когда за посетителями закрылась дверь.

Я прошелся по записям. Вышинский поставил несколько уточняющих вопросов.

— Отправляйтесь к себе и немедленно все запишите с максимально возможной точностью,— скомандовал Вышинский. Он потянулся к красному телефонному аппарату. Нужно было действовать в этом случае по заведенному порядку.

Официальный ответ американской стороне был дан при участии личного переводчика Сталина — Павлова. Параллельно было решено подготовить публичный ответ. Вышинский вызвал обозревателя «Правды» Цейтлина и дал ему соответствующее задание. В качестве предлога было использовано выступление кандидата в президенты генерала Д. Эйзенхауэра на национальном съезде Американского легиона — созданной еще в конце первой мировой войны военизированной организации. Вышинский принял самое активное участие в шлифовке статьи. Поскольку ей придавалось большое значение, она была направлена на одобрение Сталину. Статья вернулась от него с двумя-тремя поправками. В «Правде» она появилась на первой полосе под заголовком «Эйзенхауэр в поход собрался».

За этим инцидентом последовал другой. В сентябре Дж. Кеннан вылетел на Запад. 19 сентября на аэродроме Темпельгоф в Западном Берлине он дал краткое интервью, в котором сравнил свое пребывание и условия работы в Москве с пребыванием в «осажденной крепости» и высказал ряд других нелестных замечаний.

Реакция Сталина и, разумеется, Вышинского последовать не замедлила. 4 октября в советской печати появилось сообщение, что накануне министр иностранных дел СССР вручил временному поверенному в делах США Максуини ноту, объявлявшую Кеннана «персоной нон грата», то есть лицом, утерявшим доверие Советского правительства и посему лишившимся возможности продолжать выполнение своих посольских функций. Ему пришлось вернуться в Соединенные Штаты. Собственно, это и было началом конца его дипломатической карьеры. Через несколько лет Дж. Кеннан появился в Москве, но уже в новом качестве — историка международных отношений — и получил доступ к советским, вернее, российским архивам.

Наплыв событий летом 1952 года, связанных с Кореей и США, предопределил направление деятельности по подготовке седьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В центре этой работы оказались вопросы поиска путей к прекращению корейской войны и сдерживанию гонки вооружений, которая стремительно набирала темпы с началом этой войны. Если не прямо, то косвенно эти две проблемы были связаны между собой.

По мере приближения к дате открытия сессии — 14 октября — напряженность в работе секретариата непрерывно возрастала.

Среди лиц, довольно часто вызывавшихся к Вышинскому, особенно в период подготовки к Ассамблее, был «умиротворяющий фактор» — Вера Ивановна К. Небольшого роста брюнетка с пышными формами и округлым нагловатым лицом, она ведала малозначительными вопросами, которые едва ли требовали столь частых вызовов. Но Вышинский питал к ней явные симпатии, и ему доставляло удовольствие встречаться с ней с глазу на глаз. С той же последовательностью он включал ее в состав делегации на сессии Генеральной Ассамблеи, а попасть в делегацию стремились многие. Это было не только делом престижа, но и приносило ощутимый «приварок» к не такому уж большому окладу сотрудников министерства.

Говорим мы об этом не ради сплетен, а с целью дать читателям возможно более полное представление о сложном, противоречивом характере Вышинского, которому ничто человеческое не было чуждо. Сама атмосфера в секретариате министра, которую определяли его предпочтения и симпатии, способствовала формированию

придворной челяди; независимо мыслящие дипломаты не приживались.

С направлением проекта директив в «инстанцию» и завершением работы над указаниями советской делегации накал активности в секретариате министра не ослабевал. Она просто переключалась на другое направление, на сбор различного рода материалов, которые могли потребоваться Вышинскому в ходе сессии. Это были справки по вопросам, включенным в повестку дня, подкрепляющие их досье, подборки вырезок и объемистые монографии. Помимо большой личной библиотеки на улице Грановского, где жила семья Вышинского, он имел рабочую библиотеку в своем кабинете в министерстве, состоявшую преимущественно из книг на юридические темы. Из сессии в сессию Вышинский брал с собой в Нью-Йорк классические работы по международному праву, в том числе на французском языке, например Фошиля и других авторов. Набиралась внушительная почта, для которой держалось в запасе в секретариате два-три огромных черных окованных для прочности чемодана. Сопровождали их в Нью-Йорк дипкурьеры.

* * *

Переезд из Москвы в Нью-Йорк занимал значительное время. Атлантический океан Вышинский пересекал, как правило, на английских лайнерах «Куин Мэри» или «Куин Элизабет», отплывавших от французского порта Шербур. До Шербура из Парижа добирались на поезде. До Парижа из Москвы совершался перелет с промежуточной посадкой в Берлине. Специальные самолеты Ли-2, затем Ил-14 взлетали с Центрального аэродрома. В Берлине на борт самолета подсаживался западный штурман. Во всех этих переездах Вышинского сопровождали помощник, он же переводчик, личный врач и два телохранителя, обеспечивавших круглосуточную охрану.

В Нью-Йорке советская делегация располагала двумя зданиями: собственно представительством, расположенным на углу Парк авеню (известной также как улица миллионеров) и 67-й стрит (позже это здание было продано, а взамен приобретено более вместительное на той же 67-й улице, между Третьим и Легсингтон авеню), а также загородной резиденцией около городка Гленков на Лонг-Айленде. Вышинский имел квартиру и рабочий кабинет как в здании Представительства СССР при ООН, так и в Гленкове, однако предпочитал ночевать в Гленкове и там же проводить свободное время.

Остальные члены делегации, прибывшие из Москвы, размещались, как правило, в загородные резиденции. Там же работали, если расписание заседаний различных органов ООН не требовало их присутствия в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН или нашем представительстве.

Едва мы успели развернуть секретариат, разложить документы в порядке, заведенном в Москве, как раздался звонок от Вышинского, который потребовал организовать ему встречу с польским министром иностранных дел Скшешевским.

— Здравствуйте, товарищ Скшешевский,— Вышинский протянул руку польскому министру.

— Добрый день,— ответил по-польски Скшешевский и, смутившись, повторил приветствие по-русски. Двумя руками он обхватил руку Вышинского и потряс ее.

— Прошу садиться,— сказал Вышинский и, не дожидаясь, когда гость займет свое место, опустился в кресло.

Польский министр сел и вопросительно взглянул на Вышинского. Тот раскрыл лежавшую перед ним папку и вынул из нее экземпляр «главного предложения».

— Как прошла ваша поездка? — поинтересовался он у Скшешевского.

Тот ответил, что плохо переносит морскую качку, да и когда вошли в Гольфстрим в последнюю ночь перед Нью-Йорком было очень душно, и у него и сейчас немного побаливает голова.

— Надеюсь, что к открытию Ассамблеи вы будете в полной форме и покажете себя как положено доброму поляку,— пошутил Вышинский. Перейдя на серьезный тон, он добавил: — У меня есть то, что даст вам такую возможность. Вы должны внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи вот это предложение.

Вышинский протянул Скшешевскому текст «главного предложения», подготовленного в Москве. Скшешевский явно опешил, он растерянно оглянулся вокруг, как бы ища поддержки.

— Позвольте, но мне ничего не сказали на этот счет, когда я выезжал из Варшавы...— произнес он.

— Да, я знаю,— ответил Вышинский.— Дело в том, что это очень важное предложение, имеющее цель оказать давление на американцев в интересах прекращения войны в Корее. Нельзя было допустить, чтобы оно стало им известно до начала сессии. Вы же знаете, какими возможностями обладают они, чтобы подготовить отвечающую

их интересам обстановку в Организации. Так что пришлось придержать передачу предложения. Пожалуйста, ознакомьтесь. Вы увидите, что оно не расходится с нашими принципиальными договоренностями.

Скшешевский прочитал протянутые ему листки. Вышинский внимательно следил за польским министром.

— Вы правы,— начал Скшешевский,— предложение очень важное и нужное. Но я все же должен спросить Варшаву...

— Не сомневаюсь, что вы получите «добро»,— ответил Вышинский.— Внесение этого предложения пойдет на пользу Польской республике. Оно, несомненно, поднимет международный престиж Польши, восстановит доброе имя ее дипломатии...

— Я все это понимаю, но...— пытался вставить слово Скшешевский.

— Вот и хорошо,— прервал его Вышинский.— Буду откровенен с вами. Мы в Москве думали и над тем, чтобы внести предложение от нашего имени. Однако пришли к выводу, что в таком случае эффект был бы меньше. Кстати, коль скоро мы заговорили о тактике, то я хотел бы еще раз подчеркнуть, что нельзя тянуть с внесением предложения. Вы когда выступаете в общей дискуссии? — спросил он.

— Я еще не записался,— ответил Скшешевский.— Предполагаю сделать это завтра.

— Поторопитесь,— взглянул на него Вышинский.— Мы не имеем права медлить. Попрошу вас, сообщите моим помощникам, на какой день вас поставят в список выступающих.

— Обязательно, Андрей Януарьевич, обязательно...

Вышинский, видимо, счел, что вопрос исчерпан, и перевел беседу на другую тему. Он поинтересовался, как разместился министр, и предложил обращаться к нему без стеснения по любому вопросу.

Скшешевский откланялся.

«Польское» предложение о «мерах по предотвращению угрозы новой войны» было внесено на рассмотрение членов Организации Объединенных Наций и явилось предметом острой и длительной дискуссии. Оно было действительно важным, ибо включало три таких крупных по своему значению положения, как прекращение войны в Корее, сокращение вооруженных сил великих держав и заключение между ними пакта мира.

Разумеется, Вышинский был активен при обсуждении

проекта резолюции, внесенного делегацией Польши по упомянутому выше вопросу в Первый (политический) комитет Генеральной Ассамблеи. Не раз вступал он в дискуссию, демонстрируя свои способности яркого полемиста. И в тактическом плане Вышинский постарался подчеркнуть инициативность Польши. Польская делегация внесла свое предложение 18 октября 1952 года. Советская делегация воспроизвела два последних положения польского предложения, касавшиеся вопросов разоружения, в своих документах, адресованных Ассамблее, значительно позже.

Вообще между Вышинским и польской делегацией в ООН существовали, можно сказать, особые отношения. Возможно, в этом была повинна сама фамилия Вышинского, сбивавшая с толку некоторых представителей, принимавших участие во встречах на форуме ООН. Ходили упорные слухи, связывавшие родственными узами советского министра иностранных дел с главой польской церкви — примасом Вышинским. А. Я. Вышинский отрицал это родство, говорил, что хотя его отец и поляк, но никакого отношения к примасу он не имеет.

И все же отрицать тяготение Вышинского к польской делегации не приходится. Во всяком случае, Вышинский питал особые чувства к польскому представителю Катц-Сухи, видному юристу. Нередко он посылал к Катц-Сухи с просьбой, чтобы тот выступил в развитие или поддержку нашего предложения или же вообще взял на себя инициативу в завязывании дискуссии. Прислушивался Вышинский и к мнению этого польского дипломата, который, впрочем, всегда был готов пойти ему навстречу.

Не нужно думать, что все члены польской делегации и сотрудники польского представительства при ООН благоговели перед Вышинским. Были люди и иного склада. Так, заместитель министра иностранных дел Польши М. Нашковский, обладавший более твердым характером, чем его шеф, относился весьма сдержанно к Вышинскому и с трудом скрывал свою неприязнь; теплоты в их отношениях не было.

* * *

Работа на сессиях Генеральной Ассамблеи (особенно это давало о себе знать в годы «холодной войны») не столь дипломатическая, как работа в посольствах. Много документов, дискуссий, заседаний и значительно меньше

приемов и иных протокольных мероприятий. Если условия заставляли восточноевропейских дипломатов, кроме югославских, держаться вместе и часто встречаться на деловой и личной почве, то контакты с западными дипломатами были редкими и обычно имели место во время приемов. Деловые, а затем и личные контакты появились позже, когда был перейден пик «холодной войны» и начала возникать объективная необходимость вести переговоры и приходить к согласию по интересующим стороны вопросам.

Отступлением от привычного явился прием, организованный американскими деловыми кругами в самом начале седьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Проводился он в фешенебельном отеле «Пьер» на Пятой авеню. Я сопровождал Вышинского как переводчик. Прибыли мы с некоторым опозданием. Зал был полон.

К нам подскочил официант с подносом, заставленным напитками. Вышинский взял апельсиновый сок — он не принадлежал к числу любителей спиртных напитков. Вокруг были незнакомые лица, и мы отошли в сторону, поближе к стене зала. Затем мы заметили, что двое мужчин пробираются через толпу, явно направляясь к нам.

— Ба! Да это, кажется, сам Даллес! — воскликнул тихо Вышинский.

Мне оставалось лишь скромно молчать, потому что никогда ранее Даллеса не видел, даже на фотографиях. Газеты были, конечно, не в счет.

— С приездом, господин Вышинский,— сказал Даллес, протянув Вышинскому руку. Тот пожал ее.— Позвольте представить господина Ричарда Никсона. Это будущий вице-президент.

— Рад познакомиться,— ответил Вышинский и спросил: — Как идет избирательная кампания? Какие ваши прогнозы?

— Самые радужные,— ответил Никсон.— Победа нам обеспечена. Айк (так фамильярно именовали в США Дуайта Эйзенхауэра.— *Прим. авт.*) будет президентом.

— Ваша помощь оказалась очень своевременной,— добавил с ехидной улыбкой Даллес. Его глаза за толстыми стеклами очков слезились, вызывая неприятное чувство. Слезы Даллеса были предметом злых шуток, на деле же они были следствием давно перенесенного заболевания.

— Какая помощь? — удивился Вышинский.— Мы в ваши выборы не вмешиваемся, такое не в наших правилах.

— Я имею в виду разгромную статью в «Правде» с резкими нападками на генерала Эйзенхауэра,— ответил Даллес.— Американцы поняли, что он прав, коль скоро его выступление перед легионерами вызвало раздраженную реакцию с вашей стороны...

— Никакого раздражения не было,— парировал Вышинский,— была дана справедливая отповедь. Угрозами нас не возьмешь, а вот войну в Корее надо кончать, и чем быстрее, тем лучше.

— Она бы давно завершилась, не будь вашей поддержки,— ответил ему Даллес.

— Она вообще бы не началась, не будь вашей подсказки воякам Ли Сын Мана,— сказал Вышинский.

Это пикирование, не выходившее за сухие дипломатические рамки, отражало характер взаимоотношений, установившихся между Вышинским и Даллесом. Они были в полном смысле слова политическими антиподами, противоположными полюсами «холодной войны», и, подобно магнитным полюсам, эта противоположность притягивала их друг к другу. Даллес старался быть в зале Ассамблеи, когда выступал Вышинский. Вышинский также стремился не пропускать выступлений Даллеса.

Внешне Даллес проигрывал при сравнении с Вышинским. В лице Даллеса было что-то отталкивающее, совиное. Одетый неизменно в темный костюм, он напоминал согнувшегося под тяжестью молитв пастора. Говорил плохо и здесь проигрывал перед эмоциональностью и броскостью выступлений Вышинского. Объединяла их фанатическая приверженность «холодной войне». У обоих было нечто мессианское: один взывал к Священному писанию, другой — к откровениям своего босса — Сталина.

Существовало ли между ними взаимное уважение? Затруднительно дать на этот вопрос однозначный ответ. Сталкивались они в роли дипломатов, а дипломаты, как известно, обязаны скрывать свои истинные чувства. На дипломатических приемах Вышинский был корректен в отношении Даллеса, а в речах в Организации Объединенных Наций громил нещадно.

Портило ли это его личные отношения с Даллесом? И на этот вопрос нет однозначного ответа. Едва ли было приятно Даллесу, когда его поносил на публике министр иностранных дел СССР. Но странное дело — высказывания Даллеса невольно наводят на мысль, что Даллес

не оставался безразличным к выпадам Вышинского, но они... отвечали его интересам. Не будем голословными и обратимся к собственным заявлениям Джона Фостера Даллеса, зафиксированным в его книге «Война или мир».

«...Коммунистическая пропаганда ориентирована в целом на то, чтобы изобразить советский коммунизм самым идеальным образом, унизить оппозицию и обмазать грязью ее лидеров... Едва начала действовать Организация Объединенных Наций, как советские коммунисты принялись использовать ее в качестве форума для своей международной пропаганды. Они знали, что сенсационные речи на Ассамблее Объединенных Наций их министра иностранных дел привлекут всеобщее внимание...

В первые год или два существования Объединенных Наций многие некоммунистические страны опасались, что советские лидеры получают слишком большие пропагандистские преимущества, используя ООН в качестве трибуны, и полагали, что следовало бы как-то воспротивиться этому.

На самом деле злоупотребление привилегиями, которые предоставлялись Организацией Объединенных Наций, обернулись к настоящему времени против советских лидеров...

Одним из основных направлений советской пропаганды было представление Советского Союза в качестве «миролюбивого», а других великих держав — в качестве «империалистов», замышляющих против него войну.

На открытии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке (18 сентября 1947 года) Вышинский произнес свою славную и бесславную речь «о поджигателях войны», в которой он атаковал, между прочим, и меня лично, хотя я сидел рядом с ним как делегат. Это предполагалось как сенсация и таковой было.

Речь явилась первым залпом в «мирном наступлении», осуществлявшимся интенсивно во всех органах Объединенных Наций с целью завоевать поддержку всех миролюбивых людей...

Смелость исходного нападения поначалу ошеломила. Некоторым из тех, кто слышал тираду Вышинского, повторявшуюся по всему земному шару по радио, казалось, что он не осмелился бы обвинять коллег-делегатов, заседавших в той же Ассамблее, не имея хотя бы крупицы правды в обоснование...

Но вскоре советская пропаганда выдохлась. Было осознано, когда разгоряченные делегаты яростно обруши-

вали на своих коллег обвинения «в поджигании войны», что принятие всеми такого образа действий само по себе стало бы причиной нарушения мира... Было понято, что мир не был бы прочным в руках тех, кто не способен осуществлять контроль над собой...»

К этим высказываниям и суждениям можно было бы добавить еще одно, ярко показывающее, как Даллес оценивал ораторское искусство Вышинского: «Его слова, даже когда они произносились на незнакомом языке, поражали, как пулеметная очередь».

Даллес обостренно воспринимал критику Вышинского в свой адрес. Более того, он понимал, что она имеет немалый международный резонанс не в его, Даллеса, личную пользу. Кому приятно носить на лбу клеймо «поджигателя войны»! Даллес был убежден и публично заявлял об этом, что обвинения со стороны Вышинского необоснованны и несостоятельны. Он, естественно, реагировал на выпады Вышинского — об этом говорят хотя бы приведенные нами выдержки из его книги, но реагировал довольно сдержанно.

Читатель может усомниться в нашей оценке, сослаться на то, что в американской прессе Вышинский был частым объектом ядовитых комментариев и карикатур. Вспомним, однако, что за нелестное замечание посла США в Москве Дж. Кеннана относительно условий работы в Советском Союзе его с подачи Вышинского объявили персоной «нон грата» и ему был закрыт въезд в страну. Понятно, что существует значительная разница в положении посла и в положении министра иностранных дел, тем не менее остракизму и бойкоту Вышинский не подвергался.

Дело, пожалуй, не в большем дипломатическом такте, а в прагматичности американцев и самого Даллеса. Вышинский был нужен Даллесу, ибо облегчал ему и американской правящей элите вообще задачу внушить общественному мнению Америки и других государств Запада, что Советский Союз — непримиримый враг, создающий смертельную угрозу безопасности «свободного мира» своими резкими, перехлестывающими через край выступлениями в Организации Объединенных Наций. Даллес нужен был Вышинскому в несколько ином качестве — всего лишь как один, пусть даже выдающийся, представитель «империализма», «империалистических кругов», вознамерившихся в соответствии со сталинской теорией обострения классовой борьбы покончить с социалистическим государством.

Объективно Вышинский играл на руку Даллесу и другим сторонникам политики «холодной войны» и гонки вооружений, причем Даллесу — вдвойне, поскольку отвечал его стремлению сформировать жесткую политику в отношении Советского Союза и его личным амбициям, представить себя лидером такой жесткой политики, обратить на себя внимание американской общественности и добиться таким образом осуществления своей давнишней мечты стать государственным секретарем США.

Справедливость таких суждений подтверждают записи в дневнике другого жесткого американского политика — Джеймса Форрестола. Он писал, в частности: «Маршалл (государственный секретарь США.— *Прим. авт.*) полностью согласился, сказав, что, по его мнению, речи Вышинского представляют наилучшие доводы, которые мы можем представить нашему народу и другим нациям; что если мы удержимся от соблазна отвечать тем же, то тогда, как он полагает, мы сможем добиться всеобщего военного обучения без особого труда».

Догадывался ли об этом Вышинский? Можно, разумеется, строить различные предположения, но едва ли мы сможем получить истинный ответ на этот вопрос. При всей экспансивности и эмоциональности, ему присущих, Вышинский не принадлежал к числу открытых людей, он умел наглухо скрывать, что он думает на самом деле.

Впрочем, Вышинский, обладавший высоким интеллектом, понимал, что чрезмерная жесткость в выступлениях, своего рода «пересаливание», щекоча нервы находящимся в зале Генеральной Ассамблеи или в помещениях ее комитетов, оставляет неприятный осадок и создает между ним и другими делегатами преграду, мешающую взаимопониманию. Он сознавал, что его благополучие и высокий пост зависят от Сталина, что в окружении «большого хозяина» найдется немало лиц, готовых потопить его, Вышинского. С видимым трудом подавлял раздражение, когда кто-либо напоминал в дискуссии о процессах в Москве, в которых он выступал в роли обвинителя и прокурора, о его умении выколачивать «признания». Как дамоклов меч, над ним висела опасность не угодить Сталину и оказаться в опале.

Находясь под постоянным гнетом этого страха, Вышинский старался представить себя жестче и тверже, чем был на самом деле. Депеши министра иностранных дел, за исключением касавшихся мелких дел, обяза-

тельно ложились на стол Сталина. Их проекты либо составлялись в секретариате Вышинского, либо проходили через руки работников этого секретариата. Правка, вносившаяся Вышинским, была направлена не только на придание тексту большей четкости и ясности — в этом ему нельзя было отказать, но и на демонстрацию большей непреклонности по отношению к западным делегациям и представителям.

Следует сказать и о том, что Вышинский сыграл большую роль в утверждении тенденции информировать Центр с таким расчетом, чтобы больше ему понравиться. Такая оглядка создавала почву для дипломатических ошибок и недоработок.

Министр иностранных дел Белоруссии К. В. Киселев, участвовавший вместе с Вышинским во многих сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и на многих конференциях, приводит в своих «Записках советского дипломата» показательный факт, проливающий свет на то, в какой мере Вышинский зависел от курса, предписанного Сталиным.

На одном из заседаний Первого (политического) комитета, рассматривавшего корейский вопрос, К. В. Киселев выступил с резким выпадом в адрес гоминьдановского представителя. «Вечером на совещании, где присутствовали Малик, Зорин, Панюшкин, Подцероб и другие,— пишет Киселев,— Вышинский предложил обсудить вопрос о «преждевременном выступлении» Киселева на вечернем заседании Политического комитета. Мотивируя свое предложение, он назвал мое выступление «экстремистским» — нечего, мол, «лезть раньше батьки в пекло». Кое-кто не согласился с этим, но большинство поддержало точку зрения Вышинского. Тут же была составлена и послана телеграмма в Москву... Через два дня из Москвы поступила телеграмма за подписью И. В. Сталина. Сталин указывал, что Киселев правильно сделал, выступив и дав отпор чанкайшисту: нам «экстремисты» нужны.

На очередном совещании Вышинский ознакомил с телеграммой всех членов делегации и признал, что был не прав...» Остается добавить, что телеграмма Сталина направила позицию и выступления Вышинского в сторону еще большего «экстремизма». Показывал же он телеграмму членам делегации с нелегкой душой. Кому доставляет удовольствие, находясь на начальственном посту, расписываться в просчете?

* * *

Вышинский был заметным, привлекающим к себе внимание дипломатом, но назвать его выдающимся едва ли возможно. Заслуги министра иностранных дел следует, по всей видимости, определять не числом лет, проведенных в министерском кресле, не количеством данных им приемов и другой аналогичной рутиной. Объективное, совестливое отношение к истории и собственному государству нужно сопрягать с подсчетом решенных международных проблем, выдвижения свежих идей, способствующих общемировому прогрессу. Если следовать такому подходу, то фигура Вышинского явно бледнеет перед фигурами Г. В. Чичерина, М. М. Литвинова. Годы, когда Вышинский возглавлял Министерство иностранных дел СССР, были годами «холодной войны» с жесткой биполярной структурой международных отношений. Внешняя политика Советского государства находилась безраздельно в руках Сталина, и Вышинский выступал в качестве первого по значению исполнителя, и только. О какой инициативности могла идти речь в условиях, когда страной правил всевластный диктатор?

Может быть, мы слишком пристрастно подходим к Вышинскому, требуем от него того, что не допускалось объективными условиями в мире? Конечно, было бы самонадеянностью выдавать собственные оценки и наблюдения за непреложную истину. Тем не менее анализ ряда факторов позволяет сказать, что отсутствие у Вышинского дипломатической гибкости мешало нашей внешней политике более полно использовать возможности маневров в Организации Объединенных Наций.

Вышинский противился допуску новых членов в Организацию Объединенных Наций. Не то чтобы безоговорочно, а в том плане, что должна быть осуществлена «справедливая» сделка: в обмен на его согласие допустить страны, ориентирующиеся на западные державы, эти державы должны дать согласие на допуск друзей СССР. Для того чтобы читателям было ясно, в чем здесь дело, напомним, что прием нового члена в ООН производится посредством процедуры голосования в Генеральной Ассамблее по рекомендации Совета Безопасности, для принятия которой требуются единогласие его постоянных членов, то есть действует право вето.

Элементарное чувство уважения к государству, желающему стать членом универсальной международной организации, требует, чтобы оно избежало афронта в

Совете Безопасности. Да и кому из великих держав хотелось бы публично перекрывать дверь в ООН тому или иному государству? Поэтому, прежде чем выносить вопрос в Совет Безопасности, его постоянные члены встречались за закрытыми дверями в неофициальном порядке.

Вышинский был непреклонен, когда давал указания по этому вопросу советскому представителю в Совете Безопасности, например Я. А. Малику, или когда сам участвовал в неофициальных встречах.

— Нет,— отрубил Вышинский в ответ представителю Франции Оппено, который доказывал ему необходимость принять Италию в ООН.— Вы защищаете Италию, но такими же правами обладают Болгария, Венгрия, Румыния, Албания. Албания даже больше, ибо была жертвой итальянской агрессии еще в начале второй мировой войны...

Закулисная торговля не делала чести ни нам, ни Западу, а торможение приема новых государств в ООН работало, в конечном счете, больше против наших интересов, чем против интересов западных держав. Почему? По той простой причине, что задерживалось формирование группы государств в ООН, которые одно время назывались «нейтралистскими», затем — неприсоединившимися и позже — развивающимися. Центром притяжения этих государств выступала Индия.

Уже одно это обстоятельство свидетельствовало о том, насколько важно было наладить искреннее тесное сотрудничество с индийскими политическими деятелями и дипломатами. Было бы неправильным утверждать, будто советская сторона, и в частности Вышинский как министр иностранных дел, уклонялась от развития сотрудничества с Индией. Однако нельзя отрицать, что догматическая прямолинейность сталинской дипломатии, проводившейся Вышинским, создавала помехи для советско-индийского сотрудничества, в том числе и в Организации Объединенных Наций. Это было заметно в ходе седьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН при обсуждении корейского вопроса и предложения, привезенного А. Я. Вышинским для польской делегации, о чем говорилось выше.

Индийскую делегацию возглавлял Кришна Менон. Близкий друг и соратник Джавахарлала Неру в борьбе за независимость Индии, Кришна Менон был блестящим дипломатом и неутомимым оратором, что, между прочим, вызывало известную настороженность со стороны Вы-

шинского, который ревниво относился к ораторскому искусству других. Аскетического вида, с высоким лбом и горящими глазами, Кришна Менон обладал неисчерпаемыми выдержкой и энергией.

17 ноября 1952 года индийская делегация внесла на рассмотрение Первого (политического) комитета Ассамблеи свой проект резолюции по корейскому вопросу. В центре проекта стоял вопрос о военнопленных, тормозивший переговоры в Паньмыньчжоне. Вышинскому не понравился ряд положений индийского проекта резолюции. Он дал команду организовать завтрак с Кришна Меноном, чтобы переговорить с ним о ходе дискуссии в комитете и об улучшении проекта резолюции.

По заведенному порядку Вышинский утвердил меню завтрака. Сотрудник, отвечавший за протокольные дела, не осмелился перечить столь высокому начальству, что и привело к конфузу. Когда Кришна Менон прибыл в Советское представительство то выяснилось, что он вегетарианец и мясного в рот не берет. Пришлось затянуть отвлекающий разговор, пока в спешном порядке обшаривались холодильники и запасы живущих в представительстве, чтобы собрать приличное блюдо для главы индийской делегации.

— Я положительно расцениваю ядро вашего проекта резолюции,— перешел в беседе к главному вопросу, ради которого организовывался завтрак, Вышинский.— Нужно освободить военнопленных из-под контроля американцев и передать их паритетной комиссии (речь шла о комиссии из представителей Польши, Чехословакии, Швеции, Швейцарии.— *Прим. авт.*). Это предложение встретит понимание корейско-китайской стороны и, быть может, развяжет узел, затянувшийся в Паньмыньчжоне.

— Меня радует ваша положительная оценка,— ответил Кришна Менон.— Вы правильно поняли основную нашу мысль — надо наконец устранить помехи, оставшиеся на пути к соглашению о мире. Осложнения с вопросом о военнопленных — северных корейцах и китайцах — опасны тем, что могут втянуть в войну чанкайшистов, а на этот счет кое-кем уже делаются шаги. Так что мы должны думать, как погасить затянувшуюся войну...

— Как всегда, анализ ваш точен,— сказал Вышинский.— Однако мне в таком случае, не ясно, зачем вы включили в проект упоминание о недопустимости насильственной репатриации. Вы же знаете, какой обработке и какому нажиму подвергаются военнопленные!

Из них выдавят заявление, будто они не хотят вернуться на родину, и решение вопроса будет сорвано. Я советую вам снять ссылку на недопустимость насильственной репатриации, все военнопленные должны вернуться домой.

— Боюсь, что не могу принять вашу рекомендацию,— возразил Кришна Менон,— она противоречит правам человека. Да к тому же и нашей индийской традиции ненасилия...

— Я не имею ничего против ваших традиций. Но будем реалистами,— прервал его Вышинский.— Американцы промоют пленным мозги, выломают руки и представят это в лучших традициях ненасилия. А одурманенные таким образом люди будут потом страдать на чужбине...

Кришна Менон слушал или делал вид, что слушает внимательно поучения Вышинского. Однако его выразительные блестящие глаза не могли скрыть недоверие.

— К тому же,— продолжал Вышинский,— в вашем проекте нет пункта, призывающего к прекращению военных действий. В итоге проект Индии дает возможность агрессорам выиграть время, обработать военнопленных и получить то, что является их конечной целью.

— Извините, но тут я с вами не соглашусь,— парировал Кришна Менон.— Призывов к прекращению военных действий было уже много. Новый ничего не прибавит, а лишь ослабит ранее делавшиеся. Стороны сидят за столом переговоров в Паньмыньчжоне, и лучше заниматься тем, что позволяет устранить препятствия на пути к соглашению...

Вышинский попытался прервать Кришну Менона, но тот решительно потряс своей мощной шевелюрой.

— Выслушайте меня,— продолжал Менон.— Вы думаете, что нам легко дался этот проект резолюции? Вовсе нет. Когда я показал его Джерри Водстворту (американский представитель в Первом комитете.— *Прим. авт.*), он обрушился на меня, обвиняя в пособничестве «коммунистической агрессии», в пособничестве вам, китайцам, Ким Ир Сену. Я никому не пособничаю, я хочу одного — того же хочет мой премьер — прекращения безумной бойни на Корейском полуострове. Я не знаю степени вашей вовлеченности в корейскую войну, но хорошо чувствую, какая опасность таится в продолжении этой проигранной сторонами войны для моего народа...

Вышинский понял, что пересолил.

— Я готов еще раз подчеркнуть, что высоко ценю

ваши усилия. Вы правы, что мы не раз обращались с призывами покончить с войной и новый призыв не может помешать делу. Ну хорошо, оставим этот вопрос. Простите, но я вновь вынужден взывать к реализму, к вашему реализму опытного политика.

Кришна Менон насторожился, но промолчал, ожидая, что скажет дальше Вышинский.

— В вашем проекте резолюции,— продолжал Вышинский,— предлагается, чтобы спорные вопросы в комиссии Польши, Чехословакии, Швеции и Швейцарии решались с помощью посредника, назначаемого Генеральной Ассамблеей. Понятно, я не рассчитываю на назначение посредника, симпатизирующего социалистическим странам, такое исключено, сколько бы я ни настаивал. Вместе с тем я не могу полагаться на беспристрастность любого другого посредника. Буду откровенным и скажу вам прямо: мы уже обожглись с Трюгве Ли (норвежец, генеральный секретарь ООН.— *Прим. авт.*); он давал присягу в качестве старшего служащего нашей организации, а затем преступил ее в пользу своих друзей из НАТО.

— Мне бы не хотелось обсуждать ваши отношения с Трюгве Ли,— сказал Кришна Менон,— тем более что он не скрывает своего намерения уйти с поста генерального секретаря. Но я не могу согласиться с вашей посылкой, что нельзя доверять посреднику, подобранному международным сообществом. В мире есть немало честных политиков, уважающих свое доброе имя.

Вышинский почувствовал, что разговор заходит в тупик и его настойчивость может побудить Кришна Менона не только упорствовать в своей позиции, но и ужесточить ее. Он перешел на темы протокольного порядка, не упустив возможности сказать о благородной политике Джавахарлала Неру, которая поставила Индию в первый ряд государств, отстаивающих дело мира и международного сотрудничества.

Нажим, безошибочно удававшийся Вышинскому, когда он имел дело с делегациями «братских стран», с представителем Индии не сработал. Индийская делегация пересмотрела свой проект резолюции, но не в направлении, которого добивался Вышинский. В новом проекте усиливалась роль посредника ООН, предусматривалась передача военнопленных по истечении некоторого срока под покровительство ООН.

Вышинскому пришлось публично выступить с критикой индийского проекта резолюции 24 ноября 1952 года.

Он ставил в укор проекту то, что отсутствовала ссылка на необходимость прекращения военных действий, а также то, что посреднику ООН предоставлялись особые права. Несмотря на выступление Вышинского, а скорее всего под влиянием этого выступления и в пику ему, Генеральная Ассамблея одобрила индийский проект резолюции 54 голосами против 5 — СССР, Белоруссии, Украины, Польши и Чехословакии. Все советские поправки к индийскому проекту были отклонены.

Все это не имело больших последствий для советской дипломатии. Ее поражение при голосовании было перекрыто тем обстоятельством, что Китай и Северная Корея отказались вести переговоры на основе индийской резолюции. Смена администрации в США, приход к власти республиканцев также сказались на изменении условий вокруг переговоров. В то же время этот эпизод иллюстрировал слабость Вышинского в важной сфере дипломатии — в сфере переговоров, которая требует умения убеждать, вникать в психологию партнера, глубоко анализировать, сопоставлять позиции и находить возможность компромиссов, не ущемляющих основные интересы сторон.

Слабость Вышинского была слабостью советской дипломатии его времени, ибо годы «холодной войны» исключали возможность действительных переговоров между Советским Союзом и западными державами; то, что в те годы называлось переговорами, выливалось зачастую в политико-пропагандистскую борьбу с целью перетянуть на свою сторону международную общественность. Отсюда преобладание пропагандистских форм работы в ущерб маневрированию, притиранию позиций сторон, выявлению возможных компромиссов, что и составляет сердцевину нормальной дипломатической работы.

Пропагандистская направленность работы, ориентированной на западные державы, дополнялась слабо прикрытой начальственностью в отношении стран «социалистического лагеря». Эпизод с польским министром иностранных дел Скшешевским, описанный выше, может служить иллюстрацией дипломатии «старшего брата» в отношении «младших собратьев».

* * *

Смена администрации в США влечет за собой существенную перетряску американской дипломатической службы. Особенно если происходит замена президента-

демократа президентом-республиканцем, как это было после выборов 1952 года, когда Трумэн уступил кресло президента республиканцу Дуайту Эйзенхауэру. Аналогичная картина наблюдается в случае, когда демократы вытесняют республиканцев.

Мы должны оговориться, что перетряска не идет вглубь, а касается руководящего персонала дипломатической машины США — во внешнеполитическое ведомство приходит новый государственный секретарь, меняются его заместители, руководство посольствами переходит во многих случаях в руки новых послов. Основанием для таких перемещений служит участие в избирательной кампании, поддержка президента, которому улыбнулось избирательное счастье.

После победы республиканцев на президентских выборах 1952 года произошла смена представителя США в ООН. На этот пост был назначен Генри Кэбот Лодж-младший, внук известного политического деятеля Генри Кэбота Лоджа-старшего, выступавшего в роли противника президента В. Вильсона и, в частности, организовавшего кампанию против ратификации устава Лиги Наций.

В политическом отношении Лодж был близок Эйзенхауэру, который оказался в бытность президентом под большим влиянием Джона Ф. Даллеса, занявшего в республиканской администрации пост государственного секретаря. Отсюда жесткая, по меньшей мере внешне, позиция Лоджа по основным вопросам, стоявшим в повестке дня Организации Объединенных Наций. Это не мешало ему оставаться культурным, корректным дипломатом. К тому же журналистское прошлое Лоджа наделило его способностью ценить яркие выступления, основывающиеся на глубокой эрудиции и выверенных фактах. Эти черты американского представителя в ООН делали его довольно привлекательной фигурой, человеком, с которым можно было строить взаимоуважительные отношения. Во всяком случае, Вышинский заметно выделял Лоджа из числа других западных дипломатов.

В знак внимания к Вышинскому Генри Кэбот Лодж, вступавший на пост председателя Совета Безопасности ООН, дал обед в его честь. Обед проходил в одной из башен отеля «Уолдорф Астория», в котором размещался центр американского представительства при ООН до постройки специального здания, расположенного через улицу от штаб-квартиры ООН.

Знакомство Вышинского и Лоджа еще не вышло из стадии «шапочного». Поэтому разговор до того, как хозяин и гости сели за стол, был взаимно прощупывающим.

— Как вы находите вашу работу в Объединенных Нациях? — спросил Вышинский.

— Вы знаете, работа оказалась более увлекательной, чем я мог предположить,— ответил Лодж.— Встречаешься с новыми интересными людьми, которых в другом месте найти невозможно. Где бы я мог встретиться с вами вот так, накоротке, как не здесь, в ООН!

— Спасибо за комплимент, но я себя к интересным людям не отношу. Подобно вам, я выполняю свой долг, не всегда, правда, легкий.

— Не к лицу вам прибедняться,— возразил Лодж.— Популярность ваша видна и по газетам, и по количеству слушателей в зале, когда вы выступаете.

— Я был бы доволен, если бы мои выступления доходили не только до слушателей, но и до тех, от кого зависят решения, в частности вашей страны. Однако похоже, что призывы к разуму трудно пробивают себе дорогу к Вашингтону. Ведь мы до сих пор не развязали корейский узел, а бои там усиливаются...

— Развяжем,— усмехнулся Лодж.— Из своего военного опыта я вынес наблюдение, что перед прекращением огня сторонам не терпится устроить фейерверк. Я уверен, что китайские коммунисты после преподнесенного им урока начинают размягчаться, а северным корейцам ничего не останется, как пойти за ними. Тогда и наши с вашими парни перестанут гоняться друг за другом в воздухе.

Вышинский недовольно поморщился.

— Советские люди не участвуют в войне...— начал он.

— Полноте! — прервал его Лодж.— С каких это пор китайские летчики перешли на русский? Допускаю, что вы подготовили немало китайских пилотов, но заставить их забыть свой язык даже вам не дано...

— Не берусь судить, откуда к вам поступили сведения о русских летчиках,— заметил Вышинский и затем, чтобы свести дело к шутке, добавил: — Ведь и меня здесь, в Америке, изображают монстром, вы же видите, что я вроде бы нормальный человек.

За столом лед окончательно растаял. В нарушение протокола Лодж посадил Вышинского по правую руку от себя, а не от своей супруги. Так было удобнее разго-

варивать, да и Лоджу, видимо, хотелось придать обеду менее официальный и более человечный характер.

Обычно желтовато-белое лицо Вышинского порозовело. Он вступил в оживленный разговор с Лоджем, который рассказал ему о своем прошлом, о том, как он участвовал в кампании по избранию Айка, о желании иметь добрые отношения с советской делегацией. Вышинский отвечал ему в благожелательном тоне, подчеркивал свое удовлетворение по тому поводу, что Соединенные Штаты назначили своим представителем в ООН такого видного политического деятеля и дипломата.

— Уверен,— заметил Вышинский,— что мы всегда сможем найти с вами общий язык.

— Еще бы! — воскликнул Лодж.— Вы нужны нам, а мы, я надеюсь, вам! Я всегда чувствовал, что между американцами и русскими есть что-то общее. Я принадлежу к настоящим янки, потомкам первых переселенцев на эту землю, но мне нравятся ваши песни, их глубина и ширь. Может, споем?..

Появилась гитара, и Лодж, перебирая струны, запел баритоном... «Очи черные». Через несколько мгновений к его голосу присоединился — с хрипотцой — голос Вышинского. Прием затянулся до позднего часа.

Вечер в «Уолдорф Астории» можно было бы счесть за выпадающую из общего правила случайность, когда Вышинский держался естественно, без наигрыша. Где-то в его натуре скрывалась жилка общительности, которая могла бы при определенных условиях сделать из него человечного дипломата, коммуникабельного, способного к совместной деятельности, к учету взаимных интересов и слабостей. Но как трудно было этой жилке преодолеть кирасу коммунистического проповедника, провозглашавшего мудрость стоящего над ним руководителя и вождя, безошибочность и прогрессивность его внешней политики!

Интересен для понимания характера Вышинского эпизод, происшедший во время нашей поездки из Европы в Нью-Йорк на океанском лайнере. Среди пассажиров я заметил Бернарда Лоу Монтгомери, героя Эль-Аламейна, британского фельдмаршала, одержавшего победу над немецкими войсками Роммеля в Северной Африке и командовавшего англо-американскими войсками во время открытия «второго фронта» в Нормандской операции. Обратив внимание Вышинского на то, что на корабле находится знаменитый британский военачальник, я хотел предупредить его на случай неожиданной встречи.

Произошло иное. Когда мы просматривали купленные в Париже газеты и журналы, в дверь постучали. Телохранитель Вышинского открыл дверь. За ней стоял служащий в униформе, в правой руке он держал белый конверт.

— Это для господина Вышинского,— сказал он, протягивая конверт.

В конверте было отпечатанное на плотной бумаге приглашение на завтрак от капитана корабля. Он уведомлял, что на завтраке будет также Монтгомери.

— Придется принять приглашение,— проговорил Вышинский и, обратившись ко мне, попросил: — Скажите стюарду, чтобы он провел вас к капитану. Поблагодарите капитана за приглашение, сообщите, что я его с удовольствием принимаю, а также передайте ему, что я хотел бы взять вас как переводчика...

У капитана был свой небольшой салон, в котором и состоялся завтрак. Салон был залит светом, отражавшимся от блестящей поверхности океана. Капитан приказал стюарду прикрыть жалюзи, чтобы свет не раздражал глаза. За круглым столом я оказался между капитаном и Вышинским, Монтгомери сидел напротив.

Разговор, естественно, начал вращаться вокруг воспоминаний о пережитом.

— Заочно, я полагаю, мы знакомы давно,— заметил Монтгомери.— И вы и я бывали почти рядом, но вот только сегодня случай нас свел за одним столом. За это я так признателен нашему хозяину,— Монтгомери сделал жест в сторону капитана.

— Я могу даже сказать, что вы сыграли роль и в моей судьбе,— пошутил Вышинский.— Ведь ваша успешная операция в Сицилии ускорила крах фашизма и выход Италии из войны. Я принимал участие в Московской конференции министров иностранных дел, на которой было решено учредить Консультативный совет по вопросам Италии. Занимались мы в совете координацией нашей союзнической политики в отношении Италии. Я выехал в Алжир, где находилась ваша штаб-квартира, во второй половине ноября 1943 года.

— Действительно, мы были рядом,— подхватил Монтгомери.— Но тогда я был поглощен вопросами боевых операций в Италии. Впрочем, по-моему, пару раз я вас видел, вот только поговорить нам по-серьезному не удалось. А время было славное...

— Согласен, по-настоящему славное,— ответил Вышинский.— Для меня это был период новой работы. Заседания Консультативного совета были неплохой школой многосторонней дипломатии. Я многому тогда научился, а главное, почувствовал дух подлинного сотрудничества.

— Да, те дни никогда не выветрятся из моей памяти,— задумчиво проговорил Монтгомери.— Кто мог подумать, что все так быстро изменится после войны, что мы окажемся по разные стороны...

— Баррикад, вы хотите сказать,— прервал его Вышинский.— Мы этого не хотели, и вина за нынешнее противостояние не на нас. Начали конфронтацию Черчилль и Трумэн...

— Вы так думаете? — спросил Монтгомери.— У меня иное впечатление. Мне рассказывали, будто в вашей печати распространялись сведения о том, что я отдавал распоряжения собирать трофейное оружие для немецких солдат, чтобы направить их против Красной Армии.

Капитан почувствовал, что атмосфера может нагреться, и предложил наполнить бокалы за восстановление той дружбы, которая существовала в дни сражений против общего врага. Вышинский поддержал предложение и добавил, что хотел бы присовокупить к тосту пожелания доброго здоровья фельдмаршалу, который был одним из творцов нашей общей победы. Предложение Вышинского явно тронуло Монтгомери. Он протянул свою рюмку и звонко чокнулся с бокалом Вышинского.

Капитан воспользовался паузой и вставил свой рассказ о морских походах времен второй мировой войны.

Вышинский внимательно слушал красочное описание капитаном атлантических рейсов во время второй мировой войны, заинтересованно ставил вопросы. Монтгомери развил тему, поднятую капитаном, рассказал, как сосредоточивались войска союзников в лесах Южной Англии для подготовки высадки в Нормандии. Тень «холодной войны», замаячившая в начале беседы, рассеялась, исчезла.

Когда расходились, капитан сказал мне вполголоса: «Мне Вышинский представлялся совсем иным, а он, оказывается, общительный человек». Я, разумеется, поддержал это впечатление. Вышинский, действительно, мог быть раскованным, когда позволяли условия или это было ему нужно.

Раскованность дипломата, как и человека любой иной лицедейской профессии, может быть деланной, искусст-

венной, отражающей не природу человека, а его умение владеть собой. Я осмелюсь сказать, что Вышинский мог быть бы другим человеком, если бы не честолюбие, превратившее его в опасливого исполнителя в руках кремлевского дирижера. Именно это ломало его характер и убивало в нем действительного дипломата, превращало в чиновника советской дипломатической службы, именно чиновника, а не находчивого, гибкого дипломата международного масштаба.

Вышинский мог отступать от лицедейства только в кругу иностранцев, которые, как он понимал, не могли подвести его в глазах «большого хозяина». Ведь в таких случаях он имел дело с людьми, которые не могли позволить себе опуститься до вульгарных выпадов в адрес Сталина. К тому же при узких встречах не было стукачей, а как представить беседу для Центра, зависело от него самого.

Человеческая нотка прорывалась иногда у Вышинского и в кругу своих людей, правда в виде реакции на их действия и высказывания, а не спонтанно, по собственной инициативе.

В Париж на аэродром Бурже прибыл самолет, который должен был доставить Вышинского и сопровождающих его лиц в Москву через Берлин. Ночь была проведена в помещении советского посольства на улице Гренель. Позавтракали у посла А. П. Павлова, известного в министерстве под кличкой Борода. Он воспользовался оказией, чтобы выбраться в Москву. Вышинский нехотя, но все же согласился взять его в самолет.

На полпути к Берлину началась качка. Ли-2 (американский ДС-3) не смог пробить облачность. По стеклам иллюминаторов бежали струйки воды, а дальше была мутно-белая вата облаков. Качка нарастала, натуженно скрипел корпус машины. Экипаж включил свет в кабине, и на душе стало немного легче.

Вдруг как будто кто-то ударил по самолету, его резко встряхнуло. За спиной у меня раздался вздох. Как оказалось, небрежно положенный на полку чемодан съехал с места и, наклонившись, шлепнул по затылку старшего телохранителя Вышинского. Лицо Вышинского было белее обычного, его длинные пальцы цепко держались за поручни кресла. Борода, скороговорка которого, казалось, никогда не кончится, замолк. Но гул моторов не прекращался, и самолет упорно шел к цели, рыская вверх-вниз, вправо-влево.

Через некоторое время в кабину вошел из рубки пилота штурман.

— Закрепите получше ремни,— сказал он.— Посадка в Шонефельд будет нелегкой. Похоже, что молния выбила у нас рацию.

— Далеко ли до Берлина? — спросил Вышинский.— Сколько времени еще лететь?

— Мы совсем близко и, к счастью, успели предупредить диспетчеров, что находимся на подходе. Не беспокойтесь, все будет в порядке.

Выдержка не отказала Вышинскому, он подобрался и выглядел намного спокойнее растерявшегося Павлова.

На аэродроме самолет ожидала группа людей в военной форме, в накинутых на плечи плащах.

— Добро пожаловать, Андрей Януарьевич! — обратился к Вышинскому коренастый мужчина с маршальскими погонами. Это был главнокомандующий советскими оккупационными силами в Германии В. И. Чуйков.

— Спасибо, Василий Иванович! — ответил Вышинский.— Рад вас видеть в добром здравии.

Наша группа прошла в отдельный зал. Чуйков объяснил Вышинскому, что ему известно о неприятности, случившейся в воздухе, что самолет придется, видимо, заменить и поэтому отложить полет в Москву на завтра. В Берлин ехать нет необходимости, в Шонефельде есть подходящее помещение, а сейчас... Чуйков пригласил всех на застолье.

Моя помощь Вышинскому была не нужна, можно было расслабиться и свободно понаблюдать. Очень быстро общие замечания политического порядка уступили место обильным тостам с пожеланиями успехов. Как часто водится в подобных случаях, разговор незаметно соскользнул на анекдоты, любителем которых был именитый маршал.

Любовь военных к хорошо наперченным анекдотам — не в диковинку. Меня поразило другое. Вышинского не шокировали самые острые анекдоты, он смеялся со всей компанией.

Итак, в иных условиях и в иной среде Вышинский мог проявить себя как дипломат с человеческим лицом. Но он был дипломатом «холодной войны» при сталинском режиме. Дипломатия периода «холодной войны» если и нуждалась в переговорах между конфронтирующими сторонами, то только как на подмостках, на которых можно было бы развернуть перед глазами зрителей свою позицию во всей ее действительной или мнимой привле-

кательности. Говорили две стороны (пусть даже различные лица, но олицетворяли они только две стороны), однако их высказывания не были диалогом, а предназначались слуху тех, кто представлял общественное мнение, или для публики. Дипломатия периода «холодной войны» была дипломатией речей, заявлений, деклараций, тех форм, которые призваны воздействовать не на деловой рассудок, а скорее на легко восприимчивый ум.

У Вышинского были все задатки дипломата-оратора, и атмосфера «холодной войны», требовавшая эмоциональных выступлений, осуждений, наставлений, воззваний с трибуны, была для него родной стихией. Как оратор, он, несомненно, превосходил всех, кто когда-либо занимал пост министра иностранных дел Советского государства. Превосходил не содержанием своих речей — в этом он уступал, и уступал значительно Чичерину и Литвинову, а их внешней стороной, умением выступить с эмоциональным блеском, показать свою эрудицию.

Вышинский не обладал глубиной мысли и оригинальностью анализа, но владел искусством выдать за яркие в общем-то тривиальные и потертые идеи. То, что выдавали посредством набора тяжелых шаблонов Молотов и Громыко, Вышинский перелагал куда более легким для восприятия образом, можно даже сказать, элегантно.

Дипломатическое ораторское искусство Вышинского было не просто божьим даром, а и плодом хорошего образования — он учился в классической гимназии,— и большой личной работы в области педагогики и культуры. Вышинскому не приходилось занимать трудолюбия. А работа над текстами речей переросла в подлинную страсть, стала своего рода болезнью. Он не мог остановиться, вновь и вновь оттачивая формулировки, без конца отыскивая все новые доводы и соображения.

Текст «главной речи» — речи в общей дискуссии на Генеральной Ассамблее — готовился в Москве. Но и уже лежавший в папке Вышинского текст при отъезде в Нью-Йорк не считался окончательным. Буквально с ходу начиналась его переделка, чтобы учесть сказанное другими делегатами в Ассамблее или что-то появившееся по этому поводу в печати.

После такого подхода к тексту он ставился на обсуждение делегации. Заседания проходили весьма бурно. Отношение Вышинского к поправкам и предложениям членов делегации было далеко не однозначным, и зачастую дело решала не весомость и убедительность поправок, а приязнь

или неприязнь Вышинского к выдвигавшему их. Например, было заметно, насколько болезненно воспринимал Вышинский замечания министра иностранных дел Украины А. М. Барановского, которого за спиной называли «пан Барановский». Независимость и, скажем прямо, некоторая заносчивость Барановского легко выбивала Вышинского из колеи, и обсуждение выливалось в бурную стычку. Как-то раз по пустячному поводу дело едва не дошло между ними до рукопашной, и Я. А. Малик и посол СССР в Вашингтоне Г. Н. Зарубин, опасаясь сердечного приступа у Вышинского, осмелились направить от своего имени телеграмму в Центр. Однако все обошлось, если не считать того, что неприязнь Вышинского к Барановскому каким-то путем передалась в среду министерства. В результате напрасно вы будете искать в Дипломатическом словаре упоминание о А. М. Барановском, хотя его заместителю Л. Ф. Паламарчуку отведено в том же издании немало лестных слов.

Текст речи, подвергшийся вивисекции на заседании делегации и получивший от нее одобрение, попадал, разумеется, в руки Вышинского и вновь им редактировался. В полночь начинали поступать от него правленые листы. Представляли они собой некое подобие того, что в канцеляриях именуют «лапшой». Ложно понимая, а может быть, и изображая заботу о машинистках, Вышинский требовал перепечатывать «как можно меньше», хотя машинистки не раз говорили, что им проще перепечатать все заново, с чистого листа. Около двух часов ночи Вышинский отдавал последние листы и удалялся в спальню. Сведение полученных от него листов в связную речь продолжалось почти до рассвета.

В автомашине на пути из Гленкова в Нью-Йорк Вышинский просматривал текст, вносил незначительную правку или делал пометки на полях. Попутно просматривались утренние газеты, в первую очередь «Нью-Йорк таймс», принадлежащая к числу наиболее информированных и солидных газет США.

Текст речи, произносившейся Вышинским с трибуны Генеральной Ассамблеи, зависел в немалой степени от того, выступал ли он первым, или же перед ним было еще несколько ораторов. В первом случае его выступление было близким к тексту, который просматривался на пути из Гленкова, во втором — от подготовленного текста могли остаться «рожки да ножки». Смысл, направление выступления оставались, разумеется, теми же, менялась

тональность, добавлялись новые полемические моменты.

Стенографическая служба поставлена в Организации Объединенных Наций образцово. Выступления фиксируются на магнитную пленку, распечатываются и предоставляются в распоряжение делегаций. Невыверенная распечатка выполняется в виде протоколов синего цвета, «синьки».

После получения «синьки» с выступлением Вышинского начинался новый этап работы над речью. В «синьке» правились не только ошибки и оговорки, удалялось то, что могло вызвать сомнение у «большого хозяина», добавлялись моменты, не звучавшие в зале, но такие, что могли доставить удовольствие «главному советскому читателю». Исправленный, приглаженный текст направлялся по телетайпу в Москву. Речам Вышинского была обеспечена «зеленая улица», они немедленно попадали на страницы центральных газет, печатались с продолжением как занимательные романы. Все говорило о том, что руководящая партийная верхушка считала эти речи хорошим материалом для политического воспитания масс, их идеологической накачки.

Для этого были немалые основания. Вышинский не упускал случая, чтобы не вставить в свои речи пассажи, долженствующие показать мудрость, проницательность «великого вождя советского народа», генералиссимуса И. В. Сталина. Искажая историческую истину, отвлекая внимание от просчетов и ошибок Сталина, которые так дорого обошлись советским людям во время Великой Отечественной войны, Вышинский утверждал в одном из своих выступлений: «История настоящих войн показывает, что искусство отступать является величайшим военным искусством. Этим искусством владел в совершенстве Кутузов, и он победил Наполеона. Этим искусством в совершенстве владеет Сталин, и он победил Гитлера». Такие слова должны были елеем разливаться по сердцу того, кому они, несомненно, адресовались. Ведь как ловко затушевываются два тяжелейших года войны, когда враг вышел на берега великой русской реки Волги. Как умело отвлекается внимание от многомиллионных потерь! Такое, конечно, достойно вознаграждения.

Вышинский возносил в своих речах хвалу «замечательному труду» Сталина «О диалектическом и историческом материализме», иначе говоря, пропагандировал четвертую главу печально известного своим догматизмом «Краткого курса». В желании оправдать теорию Сталина об обострении классовой борьбы, о необходимости насилия

для устранения старых порядков он прибегал к высказываниям лидера американской революции Джефферсона, якобы утверждавшего, что, для того чтобы росло «дерево свободы», надо его орошать кровью патриотов и тиранов по крайней мере каждые 20 лет. Разве такие рассуждения не помогали Сталину в осуществлении гонений на неугодных ему? Конечно, и это записывалось в актив верноподданного министра иностранных дел.

Вышинский использовал не только текущие откровения Сталина. Он обращался к истории, извлекал сталинские заявления, относившиеся к 30-м годам, стремясь показать принципиальность и последовательность сталинской внешней политики. Такие изыскания также должны были получить высокую оценку в Кремле.

Вышинский радужными красками расписывал в своих речах сталинский режим. Он говорил о том, как согласно сталинской Конституции проходят выборы и «весь народ свободно и единодушно отдает свои голоса своим руководителям», «с любовью и гордостью» избирает свое правительство. По Вышинскому, выборы в СССР проходили «как великий праздник» и советский народ «идет рядами в тысячи и тысячи человек, чтобы выразить свое уважение и преданность своим вождям»...

Сухость идеологических наставлений и поучений вождя Вышинский разбавлял в речах литературными заимствованиями. В них рассыпались блестки латинских формул, монтировались афоризмы, одним словом, привлекались всевозможные средства ораторского украшательства.

Вышинский знал латынь не только как юрист, заучивший несколько расхожих выражений, но и как гимназист, читавший работы римских историков. Он точно воспроизводил присказку Катона о Карфагене, добавляя, что его желание исполнил Сципион Африканский. Хотя, как писал Пушкин, «латынь из моды вышла ныне», ее звучные фразы действовали на делегатов и посетителей, заполнявших галерку зала Генеральной Ассамблеи. Человеческий мозг устроен так, что эрудированность вызывает не только уважение, но и подсознательно внушает представление, что столь знающий оратор не может грешить против истины. Таким приемом Вышинскому удавалось поднять авторитетность своих речей.

Вышинский вкраплял в свои выступления не одну латынь. Он знал немецкий язык и помнил наизусть некоторые стихи Генриха Гейне. Острота языка этого немецкого поэта импонировала Вышинскому. В гимназии

он изучил французский и, выезжая в Нью-Йорк, брал с собой работы французских юристов. Однако он почти не прибегал к цитированию французских писателей. Возможно, в подвижном галльском уме он видел соперника и поэтому воздерживался вторгаться в эту область.

Несмотря на классическое образование, полученное в царской гимназии, Вышинский не проявлял утонченности в выборе литературных образов. У него явно проступало стремление к вульгаризации, к броскому, почти графическому образу. В результате из русских авторов он наиболее часто прибегал к Крылову, к его басням. Так, с целью сделать более доходчивым для слушателей подход США к контролю в ядерной области Вышинский использовал басню «Лев на ловле», описывающую, как лев по праву сильного забирает все себе, ничего не оставляя другим зверям.

В другом случае, отвечая английскому представителю Макнейлу, Вышинский прибегнул к басне «Клеветник и змея». Цитирование было преподнесено в такой форме, что концовка: «С тех пор клеветники в аду почетней змей» — прямо адресовалась Макнейлу.

Рядом с цитированием выдержек из басен Крылова следует поставить и любовь к пословицам и поговоркам, которые, когда их «пересаживали» из народной, простодушной речи в политические трактаты и поучения, теряли свой естественный колорит и звучали порой некорректно, а то и оскорбительно. Чего стоят в международном дипломатическом языке такие выпады, как: «Мели, Емеля, твоя неделя», «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней», «Кот Васька слушает да ест» и т. д. Не всякий переводчик в состоянии быстро и безошибочно найти эквивалент таким выражениям, а попытки изложить их дословно могут, как и случалось, усилить оскорбительный смысл.

Не побывавшему в зале Ассамблеи, когда выступал Вышинский, невозможно представить себе степень воздействия, влияние его речей. Читатель, взявший в руки два увесистых тома, в которые сведены эти речи, едва ли станет восхищаться ими. Они наверняка покажутся ему многословными, местами мелочными и малоубедительными. Это беда всех полемических речей, которые тускнеют на бумаге, теряют свой колорит, а их содержание по прошествии времени сжимается в малозначительный комок. Подлинная наука из них мало что полезного может затем извлечь.

Того, кто впервые слышал Вышинского, поражала искрометность его сентенций, пафос пассажей, смелость суждений и переливающие через край эмоции. Можно представить себе чувства членов советской делегации, когда их босс разделывал «под орех» осмелившегося вступить с ним в полемику западного дипломата. Кому не доставляет удовольствия видеть, как руководитель твоей делегации громогласно разбивает все доводы политического противника или оппонента?

Следует честно сказать, что первые поездки в ООН, присутствие на заседаниях Генеральной Ассамблеи или Политического комитета, когда выступал Вышинский, волновали, порождали чувство гордости за нашу наступательную дипломатию, ее руководителя, который так смело и решительно вступал в спор с лидерами всех западных делегаций. Это восхищение затмевало глаза и мешало видеть реальный результат речей Вышинского. А он был небольшим. Делегации не меняли своей позиции, голосование приносило неизменное числовое соотношение, к тому же практически не отражавшееся на ходе международных событий. Буря оказывалась в стакане воды. Результат не оправдывал усилий, более того, в конечном счете был негативным.

Кому довелось в течение длительного времени слушать выступления Вышинского или у кого хватило терпения прочитать два сборника этих выступлений, тот не преминет заметить своеобразную закономерность — изменение объектов критики Вышинского. Он стал бичевать лиц, находившихся на более низких ступенях служебной иерархии, снизился этический уровень его выступлений.

Вышинский как представитель «ораторской» дипломатии прошел три этапа: с 1946 по 1949 год, когда он принимал участие на сессиях Генеральной Ассамблеи в качестве заместителя министра иностранных дел СССР; с 1949 по 1953 год, когда он поднялся до статуса министра иностранных дел, и последний, третий этап длился менее двух лет, когда после смерти Сталина он был вновь низведен на положение заместителя министра иностранных дел и постоянного представителя СССР при ООН. В течение всех этих трех периодов он неизменно возглавлял советскую делегацию на сессиях Генеральной Ассамблеи и поэтому появлялся перед делегатами как бы в одной ипостаси. Однако изменение, так сказать, советского тыла не могло не отразиться на нем, особенно

на последнем, третьем этапе, когда он лишился своего протектора, опасно непредсказуемого, но в министерские годы Вышинского благоволившего ему.

Вышинский получил возможность раскрыть свой талант полемиста уже на первой сессии Генеральной Ассамблеи, открывшейся в начале 1946 года. Первая часть первой сессии Генеральной Ассамблеи, проходившая с 10 января по 14 февраля, не ощутила на себе дыхания «холодной войны», и в выступлениях Вышинского можно встретить формулу: «Наши американские и английские друзья». Но вскоре после завершения этой части сессии, 5 марта, в Фултоне прозвучала речь Черчилля о «железном занавесе». Москва восприняла фултоновскую речь, произнесенную в присутствии президента Трумэна, как официальное объявление «холодной войны». На второй части первой сессии Ассамблеи, состоявшейся 23 октября — 16 декабря 1946 года, вчерашние «американские и английские друзья» получают от Вышинского титул «поджигателей войны».

В первые месяцы и годы развертывания «холодной войны» под прицельным огнем ораторского искусства Вышинского находятся руководящие деятели американской внешней политики. Мы уже говорили ранее об одном из идеологов послевоенного внешнеполитического курса США, Джоне Ф. Даллесе, который удостоился особого внимания со стороны Вышинского и в числе первых получил от него звание «поджигателя войны». Обрушивал свой сарказм Вышинский и на государственных секретарей США — Маршалла, Бирнса, Ачесона. Он резок в оценках, жесток в определениях, но первое время воздерживается выходить за рамки корректности, к чему его толкает необузданная эмоциональность и все более утверждающееся чувство безнаказанности.

Находясь вблизи Вышинского, в его секретариате, можно было отчетливо видеть, что ему льстит ораторский успех. Он был готов нажимать на педали, усиливать резкость своих высказываний в адрес других представителей. В результате резкость постепенно перерастала в цинизм, в откровенную брань.

И в то же время Вышинский не переносил замечаний в свой адрес, считал своим долгом дать немедленно отпор. Особое раздражение вызывали у него любые намеки на его прошлые «заслуги» в качестве прокурора на Московских процессах и на его теорию о том, что личное признание является «царицей» доказательств. В протоколах

Организации Объединенных Наций зафиксирована перепалка Вышинского с Шоукроссом, генеральным прокурором Великобритании.

Когда наконец раскроются архивы, станет ясно, в какой мере использовался опыт Вышинского и тех, кто занимался за сценой подготовкой показательной стороны Московских процессов. Шоукросс осмелился поставить под сомнение признания подсудимых в процессах, проходивших в конце 40-х годов в Болгарии, Венгрии, Румынии. Вышинский немедля ввязался в словесную схватку. Диапазон его «аргументации» был поистине безграничен. Он начал с того, что изобразил британского генерального прокурора мистером Пиквиком, удивляющим своих слушателей «россказнями всяких небылиц». Затем обратился к английской судебной практике, причем углубился в средние века, когда существовало правило: «Признание обвиняемого — царица доказательств». Здесь вновь отчетливо проявляет себя испытанный прием Вышинского — ошеломить слушателей набором ссылок на исторические источники, в результате чего они принимают парад эрудиции за весомость доказательств.

Вышинский обладал действительно богатой эрудицией, его память вплоть до смерти сохранила свою свежесть и цепкость. Многое, к чему он прибегал в ходе полемики, являлось его собственной находкой.

Вместе с тем было бы неправильным и неискренним обойти молчанием и усилия сотрудников его секретариата, которые подготавливали и вели досье по вопросам, обсуждавшимся в Ассамблее и ее комитетах. Материалы к заседанию подбирались исходя из позиций наиболее активных участников дискуссии. Объемистый портфель был непременным спутником помощников Вышинского. Имела значение и организационная сторона — нам удавалось в ходе заседания получать в том числе из библиотеки ООН нужные журналы и книги, находить в них нужные места и вовремя класть на стол Вышинскому. Это создавало впечатление быстроты реакции с нашей стороны, что, несомненно, повышало авторитет Вышинского и всей нашей делегации.

Мысль, что желание Вышинского находиться в центре внимания, слыть дипломатической звездой первой величины может быть обращено к выгоде Запада и в ущерб нашим интересам, невольно закрадывалась после того, как гасли огни в зале Ассамблеи и наступало время подводить итоги. Эта мысль укреплялась от сессии к

сессии по той причине, что постепенно происходила смена оппонентов Вышинского. В полемику с ним вступали фигуры второго, а затем и третьего порядка в Организации Объединенных Наций. Таким образом расширялось число противников министра иностранных дел СССР. Круги на Западе, заинтересованные в создании барьеров для развития внешних связей нашего государства, получали дополнительные возможности действовать против наших национальных интересов.

Как уже отмечалось, Вышинский не стеснялся прибегать к резкостям в отношении крупных западных деятелей. Еще более развязно он отзывался относительно менее влиятельных и видных фигур. Например, он позволял себе говорить следующим образом о представителе Филиппин генерале Ромуло: «Этот маленький человек, как видно, обладает очень большими претензиями и большим апломбом. Он создает обычно вокруг себя много шума, воображая, что делает дело. В действительности он гремит, как пустая бочка». Даже в житейском обиходе подобные сентенции считаются неприличными, а здесь ведь высокий международный форум!

С неменьшим высокомерием Вышинский читал нотацию представителю Чили: «Чилийский делегат забыл, очевидно, что от повторения чужих глупостей умнее не станешь!.. Смешно как-то слушать чилийского делегата, который с серьезным видом здесь распинается о каком-то суверенитете, который надо-де уважать и т. д., хотя он, этот суверенитет, уже продан чилийским правительством американским империалистам». И здесь налицо стремление задеть честь делегата и его страны.

Со временем бросать уничижительные эпитеты в адрес делегатов вошло у Вышинского в привычку. Буквально не было выступления, в котором он не обозвал бы кого-нибудь «невеждой», не приписал другому «развязность», не обвинил третьего, что тот «впадает в истерику» и т. д. и т. п. Ему это сходило с рук потому, что он выступал, как мы уже отмечали, в дипломатическом кругу, где правила протокола связывали тех, против кого он направлял свой риторический пыл. Сдерживало и другое — уважение к стране и народу, который взял на себя основное бремя войны и ценою огромных жертв раздавил фашистского зверя. К сожалению, сам того не замечая, а возможно, и переоценивая размер этого бесценного капитала, он перечеркивал достояние, принадлежавшее не ему и Сталину, а всему народу.

Агрессивность Вышинского, выражавшаяся в выпадах против представителей многих членов Организации Объединенных Наций, искажала облик советской дипломатии, советской внешней политики, представляла в невыгодном свете наше государство. Однако это было еще полбеды, ибо могло списываться на темперамент министра иностранных дел, на характер его личных отношений с теми или иными дипломатами других стран. Беда была в том, что Вышинский не хотел или не мог разобраться со всей необходимой глубиной в тенденциях международного общественного развития и напористо защищал позиции, не делавшие в конечном счете чести советской внешней политике, нравственности и морали.

В этом контексте показательны его выступления в связи с обсуждением Декларации прав человека. Считая нападение лучшей формой дипломатии, Вышинский гремел: «Нас нельзя сбить с нашей позиции демагогическими криками и всхлипываниями о том, что нельзя, мол, ограничивать человеческую свободу, права человека. Нет — можно, если эта свобода используется в ущерб общественному благу, интересам народа». Стоит ли говорить, что здесь явственно торчат уши сталинского тоталитаризма? Прикрытое громкими словами оправдание подавления человеческой личности государством?

Принимая во внимание интеллект Вышинского, его юридическое образование и опыт, приходится задуматься, не кривил ли он душой, не был ли готов за тридцать сребреников продать свой ум и совесть приказывавшему из Кремля? Или же был настолько пропитан сталинизмом, что верил в то, что говорил, считал безупречно правильным свое видение прав человека?

Вышинский оставался скрытным человеком, даже в условиях, которые вроде бы располагали к откровенности, он не делился своими чувствами и настроениями. Поэтому его тирады, вроде приведенной выше, не могут быть точно привязаны к его внутренним чувствам и убеждениям. Тем не менее мои наблюдения говорят о том, что Вышинским двигало чувство полной зависимости от Сталина, безраздельной подчиненности и даже покорности. Если у него и бывали какие-либо сомнения насчет правильности защищаемого им тезиса, то Вышинский подавлял их, не показывая вида. Впрочем, чрезмерный пафос порой выступает в качестве прикрытия, камуфляжа, и когда оратор подменяет спокойную аргументацию патетикой и громкими декламациями, то это выдает, как правило, его слабость и неуверенность.

Другой проблемой, стоявшей в центре внимания членов ООН, была проблема разоружения, дискуссия вокруг которой от сессии к сессии Генеральной Ассамблеи приобретала все большее значение. Война в Корее подстегнула гонку вооружений. Она приобрела угрожающие размеры и превращалась в перманентный источник напряженности в отношениях между двумя блоками государств. В вопросах, обсуждавшихся в органах ООН, имевших отношение к переговорам по разоружению, позиции СССР, с одной стороны, США, Великобритании и Франции — с другой, были диаметрально противоположными. Нетрудно догадаться, что это обстоятельство открывало перед Вышинским широкие возможности продемонстрировать свое ораторское искусство. Подобно тому как это имело место в отношении прав человека, риторика министра иностранных дел СССР направлялась, как это было отчетливо видно, не на то, чтобы найти пути сближения или подтолкнуть к такому поиску, а на обострение противоречий, в том числе за счет личных выпадов в адрес представителей западных держав.

Так, он предлагает западным делегатам «зарубить себе на носу» советскую позицию, как ее излагает он, Вышинский. Среди американских ученых он находит «оголтелых мракобесов», из лагеря которых слышится «шипенье и злобная критика», которые прибегают к «дешевым методам», повторяя «басни» о Советском Союзе. Подобные перлы могли доставлять удовольствие определенной категории читателей речей Вышинского в Советском Союзе, но ни на шаг не сдвигали с места решение задачи приостановки гонки вооружений, в чем так нуждался мир в целом и наша страна в особенности. Но Вышинский был непреклонен в выполнении кремлевского заказа: завинчивание гаек внутри страны требовало наличия внешнего врага, внешней угрозы безопасности страны.

8 ноября 1951 года правительства США, Великобритании и Франции выступили с новой программой по вопросам разоружения, которую принято называть в истории ООН Декларацией трех держав. Декларация объединяла все предшествующие предложения, которые выдвигались до этого западными державами. Каких-либо особых инноваций в западном документе не было, его вполне можно было понимать как обобщенное представление согласованной позиции западных держав.

Вышинский прибегнул в погоне за «выразительностью» своей речи к утрированию: он заявил, что смеялся

всю ночь, читая Декларацию трех держав. Между тем западный документ никак не мог быть объектом для смеха — в нем в семи канцелярски сухих пунктах, умещавшихся на трех машинописных страницах, излагались жизненно важные вопросы. Через неделю, 16 ноября, Вышинскому пришлось все же прокомментировать Декларацию трех держав по существу. Но его замечание о бессонной от смеха ночи было запечатлено в западных работах, понятно, не как похвальное слово советской дипломатии.

* * *

Итак, Вышинский был послушным выразителем воли Сталина и его взглядов, министром иностранных дел периода «холодной войны». Это накладывало отпечаток на его отношение к ООН. В этой организации он видел прежде всего удобную трибуну для прославления «вождя народов», демонстрации своей лояльности к нему, дипломатического лицедейства и, по сути дела, пренебрегал ее возможностями для межгосударственного сотрудничества. Его поэтому мало интересовал секретариат Организации, его сотрудники. Выплачивая регулярно свои взносы в бюджет ООН, Советский Союз не проявлял настойчивости в продвижении своих граждан на работу в этой организации. Вышинский понимал, конечно, что такая бездеятельность оборачивается против интересов нашего государства. Но он знал о подозрительности Сталина, боявшегося выпускать советских граждан на работу за рубеж.

В ноябре 1952 года покинул свой пост первый генеральный секретарь ООН Трюгве Ли, с которым у Вышинского не сложились отношения. Выбор нового генерального секретаря на освободившееся место был непростым делом. Достигшая к этому времени высокого уровня напряженность в отношениях СССР с западными державами привела к глубокому размежеванию государств, входивших в ООН. Наиболее трудным барьером было размежевание между постоянными членами Совета Безопасности, без договоренности между ними было бессмысленно даже называть вероятного кандидата на должность генерального секретаря ООН. Их единогласие требовалось Уставом Организации.

Острота противостояния между Советским Союзом и западными державами крайне сужала круг кандидатов. Запад ни за что не дал бы согласия на представителя

страны, симпатизирующей Москве. Советский Союз счел бы для себя немыслимым поддержать кандидата от стран, которых он именовал «сателлитами» Америки. Шансы на успех мог иметь лишь кандидат от нейтральной страны, причем такой, нейтралитет которой признан с той и другой стороны.

До какой бы степени замерзания ни довела «холодная война» отношения между СССР и другими постоянными членами Совета Безопасности, о кандидатуре генерального секретаря нужно было договориться. Никому не хотелось доводить дело до развала Организации Объединенных Наций и тем более брать на себя ответственность за такое развитие событий. Продолжение состояния неопределенности было невыгодно Советскому Союзу в большей мере, чем другим постоянным членам Совета. Сильная фигура среди заместителей генерального секретаря американец Эндрю Кордье все больше прибирал к рукам управление секретариатом.

Вышинский был вынужден дать согласие на проведение закрытых неофициальных встреч с представителями США, Великобритании, Франции. Чувствуя шаткость своего положения, представитель Чан Кайши не хотел сталкиваться с Вышинским и ясно дал понять, что поддержит любую кандидатуру, приемлемую для других постоянных членов Совета Безопасности.

Западные представители находились в неравном положении. Победа республиканцев на президентских выборах привела к смене представителя США в ООН. Новый представитель Генри Кэбот Лодж считал за лучшее действовать поначалу осторожно. Английской дипломатии приходилось оглядываться на позиции стран — членов Британского содружества наций. К тому же представителям США и Великобритании нужно было считаться с тем, что при подозрительности Вышинского предложенная ими кандидатура может быть отклонена с порога. Был поэтому разыгран дипломатический спектакль: кандидатуру шведа Дага Хаммаршельда предложил французский представитель Оппено.

Все взгляды обратились к Вышинскому.

— Я должен обдумать предложение нашего уважаемого французского коллеги,— произнес Вышинский.

Западные коллеги понятливо качнули головами: что же, это законное желание. К тому же замечание Вышинского их вполне удовлетворяло, оно не означало отклонения кандидатуры и говорило о том, что у советского

министра иностранных дел нет, так сказать, открытого «компромата».

В предложении, направленном в Москву, Вышинский высказывался в пользу согласия на кандидатуру Хаммаршельда. Основания для такого мнения были достаточно резонными: Даг Хаммаршельд — гражданин нейтральной Швеции, согласно наскоро собранным по справочникам сведениям, принадлежит к почтенной семье, члены которой подвизались на государственной и дипломатической службе, в частности отец Хаммаршельда занимал пост премьер-министра Швеции во время первой мировой войны, сам Хаммаршельд имеет опыт дипломатической работы — занимал пост генерального секретаря шведского министерства иностранных дел, знаком с деятельностью ООН, участвовал в работе Генеральной Ассамблеи в 1951 году и даже возглавлял шведскую делегацию. Рекомендация Вышинского была одобрена Москвой.

Когда представители постоянных членов Совета Безопасности собрались вновь за закрытыми дверями, охранявшимися служащими службы безопасности ООН, которые следили за тем, чтобы никто не помешал их важному разговору, Вышинский сообщил, что СССР согласен на назначение Дага Хаммаршельда генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. Генри Лодж сделал аналогичное заявление без видимого энтузиазма, как бы делая уступку. Это была игра, Хаммаршельд вполне устраивал американцев.

9 апреля 1953 года Хаммаршельд прибыл в Нью-Йорк, чтобы занять пост генерального секретаря. На аэродроме его встречали Эндрю Кордье, о котором уже говорилось выше, Ральф Банч, известный негритянский деятель Америки, будущий лауреат Нобелевской премии мира, а также советский помощник генерального секретаря Тополев.

По прошествии времени, достаточного для того, чтобы Хаммаршельд мог оглядеться и ознакомиться с текущими делами ООН, Вышинский пригласил его на завтрак. Следует подчеркнуть, что это был уже иной Вышинский, не министр иностранных дел, а заместитель министра и постоянный представитель СССР при ООН, каким он стал после смерти Сталина. Однако о том, как воспринял Вышинский смерть Сталина и свое новое назначение, будет сказано позднее. Здесь же ограничимся тем, что было примечательно в беседе Вышинского с Хаммаршельдом и определило их дальнейшие отношения.

Хаммаршельд был точен, прибыл строго в указанное в приглашении время. После принятых в подобных случаях приветствий Вышинский пригласил Хаммаршельда за стол.

— Вы всегда можете рассчитывать на поддержку с моей стороны,— подчеркнул Вышинский.— У нас самые добрые отношения со Швецией, и, возможно, вам известно, что шведский посол Сульман пользуется большим уважением в Москве, где он, кстати, является дуайеном дипломатического корпуса. Я давно его знаю и в последнее время мы с ним часто встречались.

— Надеюсь, что как и с Сульманом, мы найдем с вами общий язык,— продолжал Вышинский.— объединим наши усилия и выведем Организацию Объединенных Наций из того тупика, в который ее завела авантюристическая линия западных держав. Вы понимаете, что я имею в виду прежде всего действия США в корейском вопросе...

По лицу Хаммаршельда пробежала легкая тень.

— Конечно, вы можете рассчитывать на мое полное сотрудничество в защите интересов ООН,— ответил Хаммаршельд.— Давая согласие на назначение меня генеральным секретарем Организации, я предупредил, что считаю своим долгом служить Объединенным Нациям и только Объединенным Нациям. Этого же я буду требовать от всех и каждого из сотрудников секретариата. Секретариат служит международному сообществу и должен честно соблюдать принцип беспристрастности.

— Вы, бесспорно, правы,— подхватил Вышинский.— Чтобы секретариат Организации действовал так, как ему положено, он должен иметь опытный и уравновешенный состав. Убежден, что мы можем сотрудничать в том, чтобы исправить кадровые недостатки нынешнего состава.

Вышинский напомнил Хаммаршельду о «джентльменском» соглашении, согласно которому Советскому Союзу предоставлен пост помощника генерального секретаря по вопросам Совета Безопасности. Хаммаршельд кивнул утвердительно.

— Да, так,— сказал он.— Мне известно об этом. Соглашение остается в силе, и я намерен его придерживаться.

— Рад тому, что у нас общее понимание необходимости укреплять персонал секретариата,— с довольным видом заметил Вышинский.

Наклонившись ближе к Хаммаршельду, сидевшему по правую руку от него, Вышинский сказал, придавая своим словам характер доверительности, что Советское прави-

тельство хотело бы поддержать его на первых порах деятельности. Начало всегда важно, первые шаги могут оказаться решающими для всей последующей деятельности. Генеральному секретарю надо иметь хороших помощников, на которых он мог бы уверенно опираться, которые могли бы дать добрый совет в решении острых вопросов. В настоящее время очагом конфликтов и осложнений является Дальний Восток, поэтому, как мы полагаем, генеральному секретарю было бы важно иметь около себя дипломата, хорошо знающего этот регион, его проблемы, обладающего опытом работы там. Дипломатическая деятельность его, Хаммаршельда, была связана с Европой, с вопросами международной организации. Восток же имеет свои особенности, не всегда понятные для нас, европейцев. Мы хотели бы предложить в качестве помощника генерального секретаря на место, принадлежащее Советскому Союзу, специалиста по этим вопросам. При этом нами, подчеркнул Вышинский, движет в первую очередь и прежде всего желание быть полезными господину Хаммаршельду. Вышинский назвал имя советского дипломата.

Дальше события развивались так, как совсем не предполагал Вышинский. Словно ветром сдуло с лица шведского дипломата вежливую улыбку, с которой он слушал монолог советского представителя. Глаза его стали жесткими и холодными.

— Я не могу дать согласие на назначение предлагаемого вами лица,— чеканя слова, Хаммаршельд повернулся к Вышинскому.— Ваш специалист не годится для работы в Организации Объединенных Наций. Я не могу считать его беспристрастным лицом, как того требуют правила найма сотрудников нашей организации...

— Вы заблуждаетесь,— проговорил Вышинский, который не смог скрыть некоторой растерянности, получив столь быстрый и резкий отказ.— Мы предлагаем вам человека, доказавшего своей работой, что он честно относится к порученному ему делу. Он — добросовестный, исполнительный работник, умный и энергичный, как раз такой, который нужен вам в нынешних условиях...

— Даже слишком энергичный,— подхватил Хаммаршельд.— Буду откровенным с вами. Имя вашего дипломата я слышал, и для меня не секрет, что он имеет отношение к органам безопасности вашей страны. Вы же понимаете, что я не могу ввести таких работников в секретариат Организации Объединенных Наций.

Вышинский опешил. Ему и в голову не приходило, что «нейтральный» шведский дипломат может говорить с такой твердостью и быть так информированным относительно подобранной для него кандидатуры. Въевшаяся в наше сознание подозрительность подталкивала к столь привычной для советской действительности мысли об «утечке» сведений из советских ведомств и даже к худшим предположениям. Однако после здравого рассуждения Вышинский решил не обострять обстановку, тем более что была опасность навлечь на себя гнев Берии в условиях, когда уже не было верховного защитника.

Конечно, Хаммаршельд получил сведения о предлагавшейся кандидатуре скорее всего в Вашингтоне, а не из Стокгольма. А то, что в Вашингтоне имеются достаточно полные сведения о советском дипломатическом корпусе, могло удивлять только советских людей, включая дипломатов, привыкших к тому, что в Советском Союзе в сталинские годы был введен дошедший до гротеска режим секретности. Списки сотрудников Министерства иностранных дел засекречивались, раскрывать номера своих служебных телефонов не разрешалось, в ответ на вопрос об адресе во въездной анкете в США предлагалось писать «Москва» — и точка.

Между тем американские службы легко отделяли зерна от плевел. За новым лицом, оказавшимся в советской делегации, устраивалось наблюдение, почти открытое. Через неделю наблюдение снималось — характер занятий человека, его принадлежность к службам была ясной. К тому же наши спецслужбы помогали работе своих коллег в расшифровке действительного лица нового сотрудника. Советник, прибывший со Смоленской-Сенной для работы в представительстве, пользовался не только автомашинами представительства с шоферами-профессионалами. Поскольку они были часто в разъезде, нередко приходилось добираться и городским транспортом. «Дипломат» же, прибывший с Лубянки, в звании второго и третьего секретаря через неделю разъезжал в собственной машине.

Хаммаршельду помогли американцы. А их собственная осведомленность не должна удивлять, ибо к сказанному выше следует добавить, что встреча Хаммаршельда с Вышинским проходила в то время, когда в США бурлили страсти по поводу «потери» Китая, печать непрерывно возвращалась к событиям в этой стране, искала виновников поражения американской дипломатии. В этой

атмосфере в центре внимания находились, естественно, и советские дипломатические и иные представители, работавшие в Китае в 40-е годы, предшествовавшие победе народной революции.

Неудачная для Вышинского встреча за завтраком с Хаммаршельдом имела негативные последствия. Установилось взаимное отчуждение. По праву представителя СССР при ООН Вышинский имел возможность встречаться и беседовать с Хаммаршельдом, когда ему казалось это нужным. Однако Вышинский обращался к Хаммаршельду только в тех случаях, когда этого требовало выполнение указаний из Москвы. На приемах он не спешил приблизиться к Хаммаршельду, и если их пути перекрещивались, то беседа была формальной и прохладной. Может быть, здесь и следует искать зерно того разлада, который перерос во враждебность советского руководства к Хаммаршельду в начале 60-х годов?

* * *

Весть о смерти Сталина застала Вышинского в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в открывшейся 24 февраля 1953 года второй части седьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В центре внимания сессии находился корейский вопрос. Во всем мире нарастали недовольство и тревога по поводу продолжавшихся боев в Корее. Под давлением американцев, напоминавших администрации Эйзенхауэра, что они отдали ей голоса в ответ на обещание положить конец войне, Вашингтон предложил в канун открытия сессии осуществить обмен больными и ранеными военнопленными. Однако это не ослабило накала страстей, и сессия началась с острого противостояния. Американская делегация обвиняла Советский Союз в расширении поставок оружия в Северную Корею. Вышинский яростно отбивался, в свою очередь прибегая к фальсифицированным обвинениям американских военных в применении бактериологического оружия.

Смерть Сталина была тягчайшим ударом для Вышинского. Впрочем, она поразила всех советских людей, их друзей и противников. Слишком многое было связано с этим человеком в реальной жизни и в представлении современников. Перед большинством, если не перед всеми, вставал вопрос: что будет дальше? К каким переменам может привести смерть Сталина в стране, в ее политике, ее положении на международной арене? Мучили эти вопросы и Вышинского, но он в меру своих сил старался

не выдавать своих чувств. Но будущее его явно тревожило, и он поспешил вылететь в Москву.

7 марта 1953 года в печати было опубликовано Постановление совместного заседания Пленума ЦК КПСС, Совета Министров, Президиума Верховного Совета СССР. В Постановлении говорилось о назначении министром иностранных дел СССР В. М. Молотова, а его первыми заместителями А. Я. Вышинского и Я. А. Малика. Вышинский назначался одновременно постоянным представителем СССР в ООН.

Для Вышинского это было явное понижение в должности и потеря авторитета. В глазах работников министерства, да и всех советских людей его сравняли с Я. Маликом, который до этого был его заместителем. К тому же, словно для того чтобы подчеркнуть это, Вышинского переводили в Нью-Йорк, на то место, которое занимал Я. Малик.

Вместе с тем характер перемещений был таков, что не давал оснований говорить об изменении внешнеполитического курса страны. Молотов возглавлял внешнеполитическое ведомство Советского Союза до назначения Вышинского министром иностранных дел. Ровно через четыре года Молотов вновь сел в кресло министра, оттеснив Вышинского на вторую роль.

Для Вышинского была сделана одна уступка — ему была предоставлена возможность иметь два секретариата: один в Москве, другой — в Нью-Йорке. Правда, московский секретариат был вынужден переместиться из помещений по фасаду здания на Садовой-Сенной в помещения, окна которых выходили на Арбат и улицу Веснина. Помещения, разумеется, были намного меньше.

Вышинский оставался в Москве около недели. 26 марта 1953 года он прибыл в Нью-Йорк на лайнере «Куин Мэри». Около месяца, до 23 апреля, продолжалась вторая часть седьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 9 апреля Первый (политический) комитет приступил к рассмотрению «польского» предложения о мерах по устранению угрозы новой войны и укреплению мира и дружбы между народами. Это предложение было детищем Вышинского, и именно его обсуждение могло наиболее ясно показать, произошли ли изменения в его поведении после смещения с поста министра иностранных дел.

Для человека, наблюдавшего издали, изменения, если и были, то малозначительные. Вышинский умел скрывать, что он думает на самом деле, а судить по эмо-

циям сложно — ведь эмоциональные вспышки зависят от многого, порой неуловимого, от того, с какой ноги человек встал. Да, Вышинский оставался вроде бы самим собой: так же активно участвовал в дискуссии, быстро реагировал на высказывания других делегатов, с тем же рвением давал «отпор» задевавшим его.

И все же Вышинский изменился; эти изменения были заметны тем, кто работал рядом и мог наблюдать его вблизи. Впрочем, иначе и быть не могло. Разница между прежним положением и новым была существенная. Не то чтобы он стал подневольным — и на посту министра иностранных дел он целиком зависел от капризов Сталина. Но ныне подневольность стала больше, и Вышинскому нужно было проявлять большую осторожность и осмотрительность. Теперь у него стало уже поле для маневра, понизился уровень вопросов, которые он мог решать на месте, нужно было чаще обращаться за указаниями в Москву.

В этом тоже были свои неудобства. Вышинский был достаточно осведомлен об отношениях, которые сложились или могли сложиться между членами группировки, пришедшей к власти в Советском Союзе. Он знал лично всех входивших в эту группировку и поэтому отдавал себе отчет в том, что между ними будет идти борьба за власть и выживание. Исход ее предсказать трудно и отнюдь нельзя исключить, что она может ударить и по нему, Вышинскому. Поэтому лучше выждать, отсидеться и поменьше мозолить глаза находящимся в Москве.

Вышинский стал сдержаннее в своем отношении к членам делегации, и совещания проходили уже без прежнего надрыва. Проекты резолюций, вносившиеся в Первый комитет, обсуждались в более спокойной обстановке, а поэтому и более взвешенно.

Трудно вычленить и взвесить, в какой мере отразилось «смягчение» Вышинского на подходе нашей стороны к обсуждавшимся вопросам. Однако было бы неправильным, на наш взгляд, обойти молчанием некоторые факты, которые указывают, хотя бы косвенно, на это.

15 апреля членам ООН был роздан проект резолюции по корейскому вопросу, подготовленный бразильской делегацией. В нем не было пункта о немедленном прекращении военных действий, но одобрялась инициатива КНР и КНДР относительно условий репатриации военнопленных (не настаивавшие на немедленной репатриации передавались под контроль нейтральных государств).

Вышинский, ранее упрекавший Кришна Менона за то, что в индийском проекте резолюции не упоминалось о немедленном прекращении военных действий, подошел к бразильскому проекту более осторожно. Он заявил, что проект заслуживает серьезного внимания, и воздержался от прежних почти традиционных выпадов в адрес латиноамериканской дипломатии, дескать, состоящей на службе американского империализма. Словесные дуэли Вышинского с представителями латиноамериканской школы права и дипломатии, такими, например, как уругваец Фабрегат и перуанец Белаунде, стали в ООН притчей во языцех.

Вышинский не возражал против исключения из польского проекта резолюции раздела о Корее. Напомним, что этот проект содержал три пункта: прекращение войны в Корее, сокращение вооруженных сил великих держав и заключение между ними пакта мира. «Усечение» польского проекта пошло ему на пользу — он оказался в центре дискуссии по вопросам разоружения и явился отправной точкой для движения в сторону сближения позиций.

18 апреля 1953 года впервые в истории обсуждения корейского вопроса в ООН Генеральная Ассамблея единогласно одобрила бразильский проект. Были, таким образом, устранены препятствия, мешавшие переговорам между сторонами в Корее. Конечно, произошло это не благодаря личной заслуге Вышинского, в игре участвовали более мощные силы и факторы, но Вышинский как дипломат сумел подстроиться к новым веяниям и скорректировать свой стиль работы.

Изменение обстановки в советской делегации и в Организации Объединенных Наций противоречило характеру Вышинского, тормозило выход его эмоциональности, сдерживало приложение всей его обычной энергии. Нужна была какая-то разрядка, и он нашел ее в работе над книгой «Вопросы международного права». Разрядку также давали бильярдные баталии.

В подвальном помещении резиденции в Гленкове находился хороший бильярдный стол, и поздними вечерами после заседаний и ужина там проходили длительные турниры. Вышинский был азартным и, нужно признать, высоким по уровню игроком. Выигрывать он любил, а проигрыш приводил его в раздражение. Достойным противником Вышинского был министр иностранных дел Белоруссии К. В. Киселев. Сражения между ними затя-

гивались до поздней ночи, оба были упрямы и каждый горел желанием обыграть партнера.

* * *

Завершилась сессия, разъехались делегации, и установился спокойный ритм жизни. Не нужно было ежедневно появляться в штаб-квартире ООН, и Вышинский переехал на квазипостоянное жительство в Гленков. Расшифрованные телеграммы из Москвы доставляли либо референты, либо помощники. Поначалу они брали в дорогу ради предосторожности пистолет, затем поняли бесполезность этой тяжелой и неудобной игрушки.

В резиденции Гленкова образовался своего рода мужской монастырь. Там находились вместе с Вышинским его личный врач Беззубик, помощник и два телохранителя. Были там, разумеется, также водитель, он же садовник, повар, горничная, она же официантка.

Установился и свой распорядок дня. Если не предусматривался выезд в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности или по иным причинам, то после утреннего обязательного просмотра прессы Вышинский садился за работу над «Вопросами международного права». Вечером мужская «пятерка» собиралась в комнате — спальне Вышинского. Включали радио, слушали последние известия и спокойную классическую музыку. Вышинский и Беззубик, а иногда и старший телохранитель Беленов углублялись в шахматную игру, которая могла продолжаться далеко за полночь.

Такая обстановка располагала к откровениям, к беседам, в которых не нужно было лукавить, рисоваться, искать какое-то оправдание своим чувствам, мыслям, действиям. Наросший со временем панцирь Вышинского был толст и прочен, ломался он с большим трудом, бабочка откровения мучительно проклевывала неподатливую оболочку куколки.

Сводя воедино разрозненные замечания, склеивая, подобно магнитофонной ленте, отдельные куски откровений, можно восстановить некоторые дополнительные черты Вышинского-дипломата. Ничего сенсационного они не содержали, и, возможно, именно в этом трагедия нашей внешней политики и дипломатии.

Каждый знает, что самые яркие, запоминающиеся впечатления остаются в нашей жизни, когда мы приступаем к новому для нас делу. Так же было и с Вышинским. Он любил более всего возвращаться к тому, что было

с ним или что он делал после перехода на дипломатическое поприще в октябре 1940 года. До этого он выполнил в августе того же года такое важное поручение Сталина, как обеспечение присоединения Латвии к Советскому Союзу.

Вышинский не вспоминал о каких-либо деталях своей деятельности в Риге в июне — августе 1940 года. Впрочем, могло ли быть что-либо яркое в его рижской эпопее, когда он активно уламывал членов сейма Латвии принять решение о просьбе присоединиться к Советскому Союзу, а ранее организовывал проведение «свободных» выборов, которые обеспечили надлежащий подбор депутатов сейма. В действиях Вышинского было мало или почти не было дипломатии, ибо он мог ссылаться на такой весомый аргумент, как присутствие Красной Армии.

Вспоминая вскользь о тех днях, Вышинский проводил обычно мысль, что он проделал всю операцию более тонко, чем Деканозов и Жданов. Первый действовал в Литве, второй — в Эстонии. Вообще он отзывался весьма нелестно и о том и о другом. Особенно велика была, судя по отрывочным, иногда срывавшимся у него замечаниям, неприязнь к Деканозову, который был своего рода наместником Берии в министерстве. Нечистоплотного подобно своему хозяину Деканозова боялись и втайне ненавидели. Такие же чувства питал к нему и Вышинский.

Первые шаги Вышинского в качестве заместителя министра иностранных дел касались отношений с европейскими странами, прежде всего с Великобританией. В первом издании «Дипломатического словаря», главными редакторами которого выступали Вышинский и Лозовский, утверждается, что Дунайская комиссия прекратила свое существование в связи со второй мировой войной. Между тем именно с вопроса о Дунайской комиссии начались контакты Вышинского с британским послом Криппсом. Короче говоря, суть дела в том, что, воспользовавшись ситуацией, сложившейся в Европе после поражения Франции, Польши и других европейских государств, Советское правительство решило образовать новую, унитарную Дунайскую комиссию взамен двух существовавших ранее, европейской и международной. Лондон справедливо увидел в этом стремлении устранить его влияние в этом регионе.

— Я поставил тогда на место чопорного британского дипломата,— вспоминал Вышинский.— Удивительно, как много гонора сохранилось у британских чиновников Фо-

рин офиса, хотя Британия растеряла свои колонии! Измельчала английская дипломатия, а посмотрите, сколько претензий у того же Селвина Ллойда...

Селвин Ллойд, британский министр иностранных дел, участвовал в сессии ООН. На одном из завтраков с его участием и участием новозеландца Мунро у Вышинского была с ним довольно острая пикировка.

Неприязнь к британской дипломатии, возникшая у Вышинского в связи с вопросом о судьбе Дунайской комиссии, укоренилась в его сознании прочно. Возможно, такая прочность была связана и с самой Дунайской комиссией. Хотя после войны положение в бассейне Дуная в корне изменилось, да и сам вопрос о комиссии потерял былое значение, Вышинский продолжал настойчиво им интересоваться. Трудно сказать, в чем была причина столь большого интереса: привлекала ли его эта проблема как юриста или же желание найти зацепку, чтобы насолить Югославии и тем самым потрафить «большому хозяину». Так или иначе на посту министра иностранных дел он все время держал при себе досье материалов по Дунайской проблеме и часто вызывал сотрудников, которые вели этот вопрос.

Вышинский неохотно вспоминал период своей деятельности непосредственно перед нападением Германии на Советский Союз, хотя ему и доводилось осуществлять дипломатические акции, касавшиеся советско-германских отношений. Так, 10 января 1941 года он вместе с германским представителем Шнурре подписал соглашение об урегулировании между Германией и СССР взаимных имущественных претензий, связанных с переселением германских граждан и лиц немецкой национальности из Литвы, Латвии и Эстонии и литовских граждан и лиц литовской, русской и белорусской национальности из бывших Мемельской и Сувалкской областей в СССР.

3 марта Вышинский сделал представление болгарскому посланнику Стаменову по поводу согласия правительства Болгарии на ввод в эту страну германских войск. В представлении он подчеркнул, что действия Болгарии ведут к расширению сферы войны и к втягиванию в нее Болгарии.

В одной из вечерних бесед в Гленкове Вышинский вернулся к теме начала Великой Отечественной войны. Он утверждал, что принимал участие в написании текста выступления Сталина по радио 3 июля 1941 года. При этом он добавил:

— Накануне я был в Большом театре. Меня вызвали до окончания спектакля и срочно доставили в Кремль. Работали мы над текстом до утра...

Вышинский не раскрывал, кого следует понимать под словом «мы». Избегал он касаться и своих впечатлений о состоянии, в котором находился в то время Сталин.

Вообще он крайне ревниво следил за тем, как в советской периодической печати пишут о Сталине, в каком контексте упоминается его имя. Что касается его самого, Вышинского, то он всячески подчеркивал свое преклонение перед вождем народов. Когда речь заходила о войне, ее результатах, он неизменно связывал победу советского народа с именем Сталина.

— Ведь солдаты поднимались из окопов в атаку со словами «За Родину, за Сталина»,— говорил Вышинский.— Они глубоко верили Сталину и знали, что он приведет их к победе.

Вышинский приписывал Сталину не только таланты полководца. Он превозносил и его дипломатическое искусство. Из его рассказов следовало, что в сложной дипломатической игре Сталин умел находить узловые моменты, подсказывать по ним решения, которые определяли последующее развитие событий.

В качестве примера он напоминал о своем заявлении относительно советско-финляндских отношений вскоре после возвращения из Алжира, где он участвовал в работе Консультативного совета по Италии.

— В начале 1944 года,— рассказывал Вышинский,— финны, оказавшиеся в трудном положении, стали зондировать почву на предмет достижения договоренности о выходе Финляндии из войны. Они понимали, что поражение Германии неминуемо и хотели выйти из игры с наименьшими потерями для себя.

— Как наша сторона отнеслась к этому зондажу? — спросил я.

— Были товарищи, которые считали, что следует пойти навстречу финнам, дескать, это высвободит наши силы и быстрее приведет к окончанию войны. Но Сталин не согласился на такую мягкотелую политику. По его указанию я и заявил тогда, что мы не можем пойти на перемирие с Финляндией до выполнения ею наших условий. А мы требовали ее разрыва с Германией, интернирования германских войск, находившихся на ее территории, возмещения убытков, причиненных нашей стране. Финны артачились, но затем Паасикиви все же проглотил эту

пилюлю. Сталин был прав: говорить надо твердым языком.

Мотив о необходимости твердости в дипломатии звучал у Вышинского часто. В доказательство мысли, что твердость в дипломатии окупает себя, он приводил результаты своей миссии в Румынию.

— Я принимал участие в переговорах с румынскими представителями о перемирии с Румынией. Переговоры были нелегкими, хотя румынская армия была уже практически разбита. Да и потом, румынские представители юлили, старались уклониться от выполнения принятых на себя обязательств. Правители Румынии никак не хотели сделать надлежащие выводы из уроков своего поражения.

Вышинский сделал ход офицером на шахматной доске.

— Шах,— сказал он врачу Беззубику. Тот склонился над фигурами, обдумывая, как выйти из положения.

— Сталин предложил мне выехать в Бухарест и добиться замены правительства Радеску, которое явно саботировало выполнение условий перемирия,— продолжал Вышинский.— По прилете в Бухарест я настоял на немедленной встрече с королем Михаем. К вечеру король принял меня. Я не стал церемониться и откровенно заявил ему, что режим Радеску должен быть заменен правительством, отражающим подлинно демократические силы страны.

Вышинский остановился, задумался на момент и, сделав очередной ход, возобновил свой рассказ:

— Король пытался затянуть принятие решения, колебался и медлил. Я знал, что на него давили западники, в частности американский посол Гарриман. Но я проявил характер и взял на себя смелость объявить ему, что жду ответа через пару часов. Чтобы не продолжать бесплодную дискуссию, я вышел из приемной короля. Твердость возымела свое действие. Петру Гроза был назначен главой коалиционного правительства.

Выборы оправдали мои решительные действия. Грозу получил что-то около девяноста процентов голосов.

В рассуждениях Вышинского о пользе «твердости» в дипломатии проскальзывали опасения, что после смерти Сталина может произойти «откат назад». Он утверждал, что непрочность положения нового советского руководства может выразиться в уступках Западу, потере тех позиций, которые удалось завоевать за счет больших усилий.

Вышинский рвался в Москву. И хотя он все больше нагружал себя изучением английского языка, быстро

приближаясь к уровню, позволявшему обходиться без словаря при чтении газет, и работой над «Вопросами международного права», «сидение» в Гленкове тяготило его. Он с трудом скрывал от окружающих свои опасения, что в результате этого «сидения» отходит на второй план в советской дипломатической иерархии и титул первого заместителя министра иностранных дел становится пустым звуком. Откровенно говоря, его предчувствия не были лишены оснований.

* * *

О том, насколько беспокоили его мысли о собственном будущем, свидетельствует следующий эпизод. Вышинский вел дневник. Трудно сказать, был ли он регулярным или же это были записи отдельных соображений, которые хотел зафиксировать его автор. Вышинский держал все время при себе толстую тетрадь для записей и никому ее не показывал.

Она была при нем и во время рейса из Нью-Йорка в Европу. Отходя ко сну, Вышинский прятал тетрадь под подушку.

Назавтра был намечен отлет в Берлин. А к вечеру в проходную посольства пришел курьер от судоходной компании и принес пакет на имя Вышинского. Я спустился вниз и расписался в получении пакета.

— Что это такое?— спросил Вышинский, боязливо беря запечатанный пакет. Он вскрыл его и побледнел: в пакете был дневник. Забытый под подушкой, он сплавал от Шербура до Саутгемптона, побывав Бог знает в чьих руках. Вышинский тут же вызвал старшего телохранителя, которому поручал проверить каюту. Я благоразумно удалился. Каким был разговор между Вышинским и Беленовым, неизвестно, однако эпизод видимых последствий не имел.

Из него можно было бы не делать больших выводов о внутреннем настрое Вышинского в связи с его изменившимся положением в системе советской дипломатии, если бы не было другого случая опасной забывчивости, на сей раз с исходящей шифрованной телеграммой. Она попала в материалы ТАСС и в общей стопке была увезена в Нью-Йорк. Ее удалось отыскать и вернуть по назначению только благодаря тому, что подозрение на установку американцами подслушивающих устройств в стене, примыкавшей к кабинету, где работал Вышинский, заставило его переехать в угловую комнату, от-

деленную рядом помещений от соседних домов. Во время переноса всех бумаг их тщательно проверили и нашли злополучную телеграмму, которая ничего особого собой не представляла.

В нынешних условиях приведенный факт может показаться малозначительным. Дай-то Бог! Ведь в те времена известная спецслужба буквально зверствовала, и дело доходило до того, что один сотрудник делегации схлопотал выговор за то, что оставил среди набора документов ООН один (!) листок бюллетеня ТАСС, другой же товарищ удостоился такого же наказания за... черновики собственной речи, оставленные в рабочем столе.

Прибыв в Москву, Вышинский не терял ни минуты, чтобы приобщиться к новым веяниям, войти в курс дела, прощупать обстановку, разобраться, какой линии ему надо следовать. Его, привыкшего начинать работу ближе к полудню и кончать далеко за полночь, раздражал нормальный человеческий режим, установленный в министерстве после смерти Сталина.

— Курорт себе устроили,— ворчал он по поводу ухода сотрудников из министерства после восемнадцати часов.

Вышинский настойчиво добивался, чтобы его привлекали к крупным, видным акциям советской дипломатии. Наконец вроде бы такая возможность ему представилась.

Копирование советской модели строительства социализма привело в ГДР к экономическим осложнениям, в первую очередь на селе, где внедрялись кооперативы. В результате весной 1953 года возникли трудности со снабжением населения продовольственными и промышленными товарами. 17 июня в Восточном Берлине, а затем и в некоторых других городах начались забастовки и демонстрации. По заведенному в те годы образцу советская пресса изображала эти выступления как вылазки отсталых элементов, спровоцированные диверсионными службами западных держав.

На прием к министру иностранных дел СССР запросился поверенный в делах США О'Шонесси. Возможно, догадываясь о цели визита и не желая поэтому поднимать его значение, Молотов поручил Вышинскому принять американского поверенного в делах. Прием состоялся 10 июля 1953 года.

Вышинский встретил поверенного в делах подчеркнуто сухо. Да и тот старался держаться официально. В сделанном им заявлении говорилось о том, что Соединенные Штаты обеспокоены по поводу трудностей,

перед которыми оказалось население в советской зоне оккупации. Серьезно ухудшилось снабжение продовольствием. Руководствуясь гуманными соображениями, Соединенные Штаты готовы предложить СССР для распределения в Восточной Германии продовольствие — зерно, сахар, соевое масло и т. д. на сумму около 15 миллионов долларов.

— Вы стали жертвой неправильной информации,— отвечал ему Вышинский.— Положение в Германской Демократической Республике вовсе не такое, как вы попытались его представить. Есть некоторые сбои с отдельными товарами, но не они являются причиной выступлений. Дело в наймитах западных диверсионных служб и уголовных элементах.

— Почему вы обращаетесь к нам, не спросив Германскую Демократическую Республику?— риторически спросил Вышинский и, не дожидаясь ответа, продолжал:— То, что вы нам предлагаете, это грубый пропагандистский маневр. Восточные немцы не нуждаются в чужой помощи. Мы оказывали и будем оказывать им всю необходимую помощь.

О'Шонесси настаивал на том, чтобы Вышинский поставил в известность Советское правительство о предложении США, и вручил ему ноту. После завершения разговора с американцем Вышинский отдал второй экземпляр ноты на перевод, а с первым побежал к Молотову. Однако надежда Вышинского, что он продолжит завязавшееся дело, не оправдалась. Ответ американскому посольству давал сам Молотов.

Вышинскому не удалось приобщиться к германским делам. Это стало особенно ясным, когда в конце января 1954 года в Берлине состоялось совещание министров иностранных дел четырех держав — СССР, США, Великобритании и Франции. К его работе был привлечен другой первый заместитель министра иностранных дел СССР — Я. А. Малик. Вышинский из Нью-Йорка не приглашался.

Остался он в стороне и от Женевской конференции по проблемам войны в Корее и Индокитае, первой международной конференции с участием Китайской Народной Республики, хотя именно он, Вышинский, играл крупную роль в установлении и развитии советско-китайских отношений после победы народной революции в Китае и в канун этой конференции выступил на сессии Генеральной Ассамблеи с требованием о вос-

становлении законного места КНР в ООН. Это выступление позволило ему развернуть все свое красноречие, дать выход своей горячности. К тому же среди гостей были на этот раз близкие ему слушатели.

Весну 1953 года Вышинский как представитель СССР при ООН провел холостяком, без семьи. При отъезде на восьмую сессию Генеральной Ассамблеи он договорился о том, что его семья — жена Капитолина Исидоровна и дочь Зинаида Андреевна [1] — приедет в Нью-Йорк. Капа, как звал жену Вышинский, была сухощавой женщиной с остатками былой красоты и довольно желчным характером. Вышинский терпеливо сносил ее наставления и понукания, которые она высказывала, не стесняясь присутствия других.

Привязанность Вышинского к дочери бросалась в глаза. Он был неизменно внимателен к ней, старался предвосхитить ее желания.

Помимо выступления, в центре которого стоял вопрос о правах КНР в ООН, Вышинскому вновь представилась возможность продемонстрировать свое искусство ораторской дипломатии, когда обсуждалось советское предложение о мерах по устранению угрозы новой мировой войны и об уменьшении напряженности в международных отношениях. Последний пункт этого предложения об осуждении пропаганды, направленной на разжигание вражды и ненависти между народами, давал простор показать во всем блеске все отточенные за предыдущие сессии приемы. Вышинский действительно показал себя, но помнившие его речи в прошлом могли заметить, что ярость его атак на «поджигателей войны» уменьшилась, явно сократилось число оскорбительных и вызывающих эпитетов. «Холодная война» еще продолжалась, но приносила уже меньшие дивиденды политикам, делавшим на нее ставку. Да и сам Вышинский осознавал, что не в его интересах как представителя Советского Союза при Организации Объединенных Наций своими речами наращивать число своих противников, и поэтому сбавил тон.

Дипломатическое чутье не изменило ему. Уже к концу восьмой сессии произошло событие, которое означало определенный рубеж в жизни ООН. 8 декабря 1953 года на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи выступил президент США Дуайт Эйзенхауэр. Президент под-

[1] Она специализировалась в области уголовного права и процесса.

робно описал опасность, которая пришла в мир вместе с атомным оружием. Он положительно расценил созыв совещания министров иностранных дел четырех держав, о котором была достигнута к этому моменту договоренность.

Обращаясь к советской делегации, Эйзенхауэр заявил: «Мы никогда не предлагали и не будем предлагать Советскому Союзу отказываться от того, что по закону ему принадлежит. Мы никогда не заявим, что народ России является нашим врагом, с которым мы не желаем иметь никаких отношений, дружественных и плодотворных отношений». Он внес далее следующее предложение правительствам стран, располагающих атомной промышленностью: «Начать и продолжать делать совместные вклады из своих нормальных запасов урана и расщепляемых материалов, которые шли бы в распоряжение Международного органа по атомной энергии. Мы полагаем, что такой орган будет создан под эгидой Организации Объединенных Наций...»

Президент протягивал руку. Вышинский дал положительную оценку выступлению и предложению Эйзенхауэра. Но он не смог преодолеть груз прошлого, поэтому в его оценке были всевозможные оговорки, и прежде всего максималистская, что, дескать, инициатива американского президента не устраняет угрозу ядерной войны, что она создает преимущества для США, поскольку они раньше начали производство ядерного оружия и т. д. Но ведение переговоров с американцами о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии было поручено послу СССР в Вашингтоне Г. Н. Зарубину.

10 декабря 1953 года Вышинскому исполнилось 70 лет. К этому дню он получил приятное известие о награждении очередным орденом Ленина. По этому поводу посыпались приветствия от друзей, искренних — их почти не было — и фальшивых — их было в избытке, от сослуживцев — по долгу службы, от тех, кто считал нужным отметиться у юбиляра.

Затем поступило известие, которое не позволяло выражать радость публично, но несло с собой большое облегчение. В Москве был арестован Берия, были взяты и его приспешники, в том числе Деканозов. Осуждение Берии и его расстрел в бункере Московского военного округа обрывал для Вышинского связи с прокурорским прошлым, и не только символические. Исчезли одиозные фигуры, которые всегда могли извлечь на свет

вещи не просто малоприятные, но и опасные для судьбы Вышинского.

Эти события не замедлили отразиться на Вышинском. Он стал более спокойным, уверенным в себе, шутил, прогуливаясь по большому, несколько запущенному, но все же прекрасному парку нашей резиденции в Гленкове. Будущее казалось ему более предсказуемым и пребывание на посту представителя СССР при ООН — не таким уж плохим.

* * *

В конце января 1954 года я получил следующее послание от Вышинского:

«Спасибо за вашу записку. Не возражаю, если в следующий раз вы будете щедрее и более подробно проинформируете меня по наиболее важным вопросам.

С этой диппочтой посылаю в ваш адрес мой отчет Академии за 1952 г. и письмо т. т. Несмеянову и Топчиеву. Прошу передать адресатам, приложив сборники моих выступлений на VI и VII сессиях, на которые я ссылаюсь в отчете. Прошу вас из моего сейфа бумаги, хранящиеся в верхнем ящичке, передать Зинаиде Андреевне. Ключ от сейфа храните по-прежнему у себя в сейфе в запечатанном конверте или сдайте в секретную часть до моего приезда; как найдете лучше.

Пожалуйста, попросите Каджардузова понаблюдать за здоровьем З. А.

Всем т. т. — привет и наилучшие пожелания. Поблагодарите от моего имени т. т. из МИДа, которые прислали мне поздравления.

Не запускайте канцелярии, следите за движением бумаг, особенно секретных; подготовку к сдаче архивов не затягивайте, не пропускайте установленный срок. О положении с этим делом информируйте меня.

Привет. *А. Вышинский.*

Постскриптум. Сообщите, пожалуйста, т. Недашему (Изд. Юридической литературы), что гонорар за книгу «Вопросы международного права» я не получал и не получаю. Прошу оплатить лишь труд т. т., которые составляли комментарии.

А. В.»

В следующем послании через три месяца Вышинский писал:

«Спасибо за информацию и за ваше внимание и помощь. Рад, что наш секретариат хорошо справился с архивом, за что благодарю сотрудников и т. Васильеву. Скоро ли оформится т. Каменев? Пожалуйста, передайте прилагаемые письма т. т. Громыко и Козыреву и поднажмите на Управление кадров, чтобы поскорее прислали квалифицированную машинистку-стенографистку. С предстоящим в конце апреля отъездом т. Былинкиной, а затем и т. Шаховой мы совсем пропадем.

Прошу передать З. А. прилагаемое письмо, а по 2 доверенностям прошу не отказать в любезности получить деньги и тоже передать З. А.

Привет вам и всем, кто помнит меня.

А. Вышинский».

Тексты этих двух записок приведены по той причине, что они, на наш взгляд, передают настроение Вышинского. Он погружен в работу, дипломатическую и научную, устремлен в будущее, не забывает историю, проявляет внимание к работающим у него сотрудникам.

Что это? Временный приступ благодушия, вызванный тем, что был достойно отмечен юбилей, семья оказалась рядом, исчез постоянно давивший на сознание источник смертельной угрозы в лице Берии? Разумеется, было и это, были приятные события личного, камерного характера, позволявшие взглянуть на рядовых работников своего секретариата как на живых людей, требующих к себе внимания.

Были вместе с тем и события более общие, смягчившие всю окружающую обстановку. В Москве проходил видимый процесс консолидации и стабилизации правительства. Укреплялась благодаря этому уверенность в будущем. Можно было рассчитывать, что нью-йоркское «сиденье» удастся заменить чем-то иным. Да и само «сиденье» оказалось не столь уж плохим, есть возможность не только сохранить славу блестящего оратора-дипломата, но и поднять свой научный авторитет.

Весна 1954 года была благоприятной в этом отношении. Заключение перемирия в Паньмынчжоне притупило остроту корейского вопроса, лихорадившего Организацию Объединенных Наций. Берлинское совещание министров иностранных дел четырех держав если и не решило главные вопросы — германский и австрийский, то все же закончилось на позитивной ноте — на нем была достигнута договоренность созвать в Женеве кон-

ференцию по урегулированию в Корее и Индокитае. Со второй половины апреля до 20 июля, когда были подписаны Женевские соглашения по Индокитаю, внимание мира было приковано к этому совещанию. Жизнь в Нью-Йорке и Гленкове стала размереннее, спокойнее.

Ожил интерес к вопросу о разоружении. Но на сей раз голова болела больше у американцев — испытание водородного оружия в Тихом океане 1 марта 1954 года не обошлось без жертв: пострадали японские рыбаки и жители Маршалловых островов, получившие опасные дозы радиоактивного облучения. Индия выступила с инициативой о запрещении ядерных испытаний в качестве отдельной, обособленной меры в общем процессе разоружения. Члены ООН, недовольные проволочками на переговорах по разоружению, настаивали на создании нового рабочего органа для переговоров. Вопрос был разрешен без особых споров — таким органом стал подкомитет Комиссии ООН по разоружению в составе СССР, США, Великобритании, Франции и Канады.

Топтавшиеся вначале на месте переговоры по вопросам сотрудничества в мирном использовании ядерной энергии в развитие предложения, высказанного президентом Эйзенхауэром в декабре 1953 года, тронулись вперед, стали набирать темп. Открылись возможности для встреч специалистов в области ядерной физики для обсуждения научных и технических проблем мирного приложения открытий, осуществленных в деле высвобождения энергии атомного ядра.

Эти положительные сдвиги не означали прекращения «холодной войны». Хрупкое перемирие в Корее не сцементировалось на Женевской конференции в мирный договор. Соглашения по Индокитаю притушили очаг войны, но он продолжал тлеть. Испытания водородного оружия говорили о том, что гонка средств массового истребления поднялась на новый, глобальный уровень. Как будет дальше развиваться обстановка, зависело в первую очередь от политического курса СССР и США, их дипломатии.

Летний отпуск 1954 года Вышинский провел в Москве. Он использовал его для контактов с целью уловить развивающиеся тенденции в сфере внешней политики. Ветер вроде бы подул в сторону некоторого смягчения международной обстановки, что и было взято Вышинским на заметку.

Девятая сессия Генеральной Ассамблеи ООН откры-

лась 21 сентября 1954 года. Вышинский вновь возглавил советскую делегацию.

Сессия началась с конфронтационного вопроса, внесенного советской делегацией,— с внесения проекта резолюции о представительстве Китая в Организации Объединенных Наций. Правда, на этот раз Вышинскому не удалось блеснуть большой речью по этому вопросу. Американская делегация противопоставила советскому проекту свой, ставший тривиальным, суть которого сводилась к отсрочке обсуждения вопроса китайского представительства.

И все же обострение дискуссии в связи с Китаем произошло. Очередной международный кризис в районе Тайваня возник осенью 1954 года в результате официально объявленного Вашингтоном курса на «освобождение» КНР. Правительство Эйзенхауэра с подачи старого противника Вышинского Даллеса решило поддержать попытки гоминьдановцев использовать прибрежные острова Куэмой и Мацзу в качестве трамплина для вторжения на материковый Китай. Советской делегации пришлось потребовать включения в повестку дня Ассамблеи вопроса «О нарушении свободы судоходства в районе китайских морей», а затем и вопроса «Об агрессивных действиях против Китайской Народной Республики и об ответственности за эти действия военно-морского флота США».

Степень противостояния, естественно, возросла, но не в такой мере, чтобы остановить движение в сторону более цивилизованного разговора в залах и кулуарах универсальной международной организации. Свидетельство тому — обсуждение вопроса о разоружении и проблемы налаживания международного сотрудничества в мирном использовании атомной энергии.

Выступая в поддержку предложения о проведении международной конференции с целью обмена научно-техническим опытом в области применения атомной энергии в мирных целях, Вышинский говорил с торжеством и гордостью о первой в мире атомной электростанции в Обнинске с маломощным, всего в 50 тыс. киловатт генератором, но все же первой. С таким же пафосом он рассказывал о ледоколе «Ленин» с ядерной силовой установкой. Что же, этим по праву мог гордиться Советский Союз.

Обсуждение вопросов разоружения на сессии Генеральной Ассамблеи также внесло новый позитивный

момент. Советский проект резолюции по разоружению, внесенный 30 сентября 1954 года, выражал согласие взять за основу при разработке международной конвенции (договора), предусматривающей запрещение ядерного оружия и существенное сокращение других вооружений, предложения Франции и Англии от 11 июня 1954 года. Шаг советской дипломатии навстречу Западу привел в действие механизм согласования. Вышинский вел переговоры с американским представителем Вадсвортом с целью разработки взаимоприемлемого текста резолюции. С американской стороны в переговорах принимал участие Максуини, выступавший в роли поверенного в делах США в Москве осенью 1952 года. Следует сказать, что в этих переговорах, которые удалось наблюдать вблизи, Вышинский проявлял большую гибкость, чем Вадсворт, который был жестко связан инструкциями государственного департамента.

Согласованный совместный проект резолюции по вопросу о разоружении был внесен делегациями СССР, США, Великобритании, Франции и Канады в Первый (политический) комитет 22 октября 1954 года. Резолюция была принята единогласно. Это была еще одна ласточка измененной дипломатии, не дипломатии на подмостках с броскими обличающими речами, а дипломатии, ставящей во главу угла нахождение точек соприкосновения, а затем и согласия, но переговоры с американцами были еще поверхностными, велись, не всегда затрагивая существо рассматриваемых вопросов, принимались обтекаемые формулировки. Вышинский был блестящим дипломатом «холодной войны», именно блестящим, привлекающим публику, что отнюдь не равнозначно понятию «глубокий». Мог ли он в новых условиях стать дипломатом в подлинном смысле слова?

Вопрос остался без ответа. В дни заседания Генеральной Ассамблеи работа не знает перерыва. Даже суббота и воскресенье заняты подготовкой к следующей неделе разнообразных заседаний в рабочих комитетах и на пленуме. Обычно к началу декабря график работы как бы уплотняется, нагрузка становится все более тяжелой, и на счету каждый час. Так было в двадцатых числах ноября 1954 года.

В воскресенье 21 ноября предстоял обед у одного из представителей, которому Вышинский не придавал большого значения. Он полагал, что характер разговоров не потребует точной записи, которая может быть

использована для последующей работы. Поэтому он отослал помощников в Гленков, чтобы они могли отдохнуть, обязав их подготовить материалы для заседания в понедельник.

Утром 22 ноября Вышинский по своему обычаю приступил к работе. Диктуя стенографистке очередное выступление, он вдруг откинулся назад, захрипел. Смерть наступила почти мгновенно, пожилой и малорасторопный врач не успел сделать требующийся в таких случаях укол.

* * *

Каким же был Андрей Януарьевич Вышинский как дипломат? Судьей является в конечном счете история, но и здесь далеко не так все просто. Ведь она может сразу после смерти поднять человека на пьедестал, а затем сбросить в небытие. Может поступить и по-иному: вначале молчать, а затем извлечь из неизвестности. Мы живем в период, когда происходит быстрое смещение ценностей. И все же как оценить Вышинского-дипломата?

Оценка партнеров другой стороны заслуживает внимания в плане составления объемной фигуры, а не плоской фотографии. В исследовании, предпринятом по просьбе палаты представителей конгресса США, говорится, что для помнящих «холодную войну» Вышинский воплощал в себе особенности советской дипломатии того времени. Он был как бы собирательным образом советского дипломата.

Государственный секретарь Ачесон называл Вышинского образованным и забавным черносотенцем. По его оценке, Вышинский постоянно находился в состоянии нервного напряжения — отсюда резкая жестикуляция и ускоренный темп речи. Ачесон считал, что Вышинский не входил в узкий круг тех, кто держал в руках власть в СССР, и поэтому не был источником власти, а всего лишь ее инструментом.

Об оценках другого государственного секретаря США — Даллеса говорилось выше. Даллес также отмечал агрессивность Вышинского, его способность, не считаясь с условностями и этикетом, обрушиваться на представителей других государств. Поначалу такая резкость Вышинского задевала Даллеса, однако затем он понял, что в конечном счете она работает против интересов советской дипломатии. После этого американская

дипломатия в ООН стала прибегать к тактике «подсовывания» под выпады Вышинского делегатов других стран, постепенно расширяя их круг.

Американские дипломаты, имевшие дело с Вышинским, ставили его невысоко как участника переговоров. Начальник штаба Эйзенхауэра во время второй мировой войны Смит, встречавшийся с Вышинским в Консультативном совете по вопросам Италии, говорил, что он мог быть приятным и обладал живым чувством юмора. Однако когда они сели за стол переговоров, то Смит обнаружил, что для Вышинского характерна неожиданная жесткость.

Чарлз Болен, имевший немало встреч с Вышинским на конференциях в Ялте и Потсдаме, считал его задиристым участником переговоров. В своих воспоминаниях Болен приводит эпизод, заслуживающий внимания по той причине, что он показывает как сервильность Вышинского, его способность молча глотать нагоняи сверху, так и проливает свет на истоки натянутых отношений между ним и Громыко.

Болен пишет, что Вышинский совершил промашку, согласившись на включение одного из положений в Австрийский договор без учета гарантий, считавшихся важными Советским правительством. Американцы вместе с французами знали об инциденте благодаря тому, что французы перехватили телефонный разговор между Громыко, находившимся в Москве, и Вышинским в Париже. Болен писал, что Громыко высказывался в грубом, оскорбительном тоне. Вышинский попытался исправить злосчастную фразу в проекте договора, но Ачесон отклонил его попытку.

Сам Ачесон указывал, что ожидал найти в лице Вышинского опасного и ловкого противника. Однако вместо этого он встретился с многословным утомительным оратором. По предположениям Ачесона, такие качества Вышинского объяснялись тем, что он был связан жесткими указаниями и не имел достаточной свободы маневра. В целом Ачесон не считал Вышинского сильным противником. Само собой разумеется, к этим оценкам следует относиться с известными оговорками: лидеры американской дипломатии хотели представить себя более умными, ловкими и способными дипломатами, чем советские. Добавлялось и чувство раздражения под влиянием острой конфронтации сторон. Остается, однако, бесспорным факт, что речи Ачесона, Даллеса и других

американских дипломатов относились к заурядным, а на выступления Вышинского сбегалась публика. Могут возразить, дескать, что это касается публичных форм дипломатии, а они не исчерпывают всего дипломатического искусства, да и составляют не самую продуктивную его часть.

С этим нельзя не согласиться. Действительно, Вышинский не зарекомендовал себя как большой специалист по переговорам, где требуются вдумчивость, умение анализировать, разгадывать ходы противника, видеть пределы возможных уступок с его стороны и чувствовать, где нельзя переходить рубеж. Вышинский участвовал во многих переговорах. Однако если их инвентаризировать, то эти переговоры, или по меньшей мере, их подавляющая часть приходилась на переговоры доминирующего — им был Вышинский, не по своим личным качествам, а по положению, обеспеченному для него страной, ее военной силой,— и младшего, подавленного партнера. Поэтому переговоры зачастую сводились к тому, что один приказывал, другие подчинялись. Такие переговоры большого искусства не требуют, достаточно соблюдать внешний дипломатический декор.

Переговоры равного с равным были в то время, по сути дела, переговорами между СССР и США. Как оценивали американцы Вышинского, сказано выше.

Переговоры, выступления — это видимая часть дипломатической работы. Согласно шаблонному образу, это надводная часть айсберга, бо́льшая скрыта под водой. В дипломатии к скрытой части относится работа над существом вопросов внешней политики, подготовка предложений, определение позиций, их обоснования, составление тактических планов и т. п. Какую роль играл Вышинский в этой внутренней работе, которая по своему значению в конечном счете важнее публичной дипломатии?

Если брать в расчет высшую советскую иерархию того времени, то роль Вышинского была второстепенной. Определение принципиальной линии советской внешней политики принадлежало Сталину, принимал решение он или номинально Политбюро. Однако было бы неправильным поставить на этом точку. Августовские события 1991 года вскрыли то, что многие годы оставалось в тени, а именно: существовавшая в Советском Союзе система информирования высшего руководителя была такой, что позволяла манипулировать им

за счет представления тенденциозной или подправленной информации. Если попытаться свести это к предельно сжатой, лапидарной формуле, то ее можно было бы выразить следующим образом: стремление любой ценой угодить вышестоящему и пренебрежение к мнению нижестоящего.

Именно такой дух насаждал в системе Министерства иностранных дел А. Я. Вышинский. Делалось это не грубо, не вызывающе и проявлялось в основном в его личном поведении. Вышинский был верным слугой Сталина не только в формальном понимании этого слова, но и в духовном. Да и иначе быть не могло. Правовое сознание Вышинского-юриста было подчинено формуле: «признание подсудимого — царица доказательства» вины. Эта формула заранее создавала возможность осудить любое лицо, объявленное «врагом народа». Не признанная всем цивилизованным миром презумпция невиновности, а презумпция виновности — таково было юридическое кредо Вышинского.

Это кредо привело Вышинского к безоговорочному принятию в сфере внешней политики «учения» Сталина о неумолимом обострении классовой борьбы по мере успехов социализма в СССР. Коль скоро все государства объявлялись сугубо классовыми, то и обострение классовой борьбы переносилось на международную арену. Таким образом, любой капиталист, а какой западный дипломат, дипломат империалистического государства не капиталист,— заведомый враг. И хотя Вышинский прибегал к термину «уважаемый», начиная разбирать позицию или предложения той страны, которую представлял данный дипломат, он смотрел на этого дипломата как на классового врага. В то время, когда Вышинский действовал в Организации Объединенных Наций, она насчитывала немногим более пятидесяти членов, из которых только пять относились к классовым друзьям, остальные — к классовым противникам, а то и врагам. И лишь немногие были обойдены Вышинским в его обличительных критических речах, да и то потому, что вели себя пассивно в международной организации и не подставляли себя под его речевой шквал.

Коль скоро любой представитель буржуазного государства рассматривается как враг, то и его действия и предложения получают соответствующую окраску. Враг не может стремиться к соглашению, его компромиссы не могут быть искренними. Все, с чем он высту-

пает, имеет целью обмануть, получить выигрыш за наш счет, одним словом, несерьезно и не заслуживает благожелательного рассмотрения.

Конечно, такой подход выдвигался не так обнаженно и грубо, как он описывается здесь. Он облекался в партийно-пристойные формы идеологизации внешней политики и дипломатии. Тот, кому представится возможность ознакомиться с выступлениями Вышинского, не замедлит заметить подчеркнутую идеологизацию. Помимо многочисленных ссылок на откровения Сталина, имеющих двойную нагрузку — засвидетельствовать верноподданнические чувства и верность постулатам советского социализма,— в речах Вышинского часто присутствовали выдержки из основоположников марксизма-ленинизма и что характерно — не как иллюстрации той или иной мысли, а как поучения.

Не может быть хорошим политиком и дипломатом тот, кто, встав на платформу, которая показывает со временем свою несостоятельность, продолжает стоять на ней. В таком случае он выступает не только как ретроград, но и мешает естественному ходу истории. Таким был Вышинский.

Словосочетание «блеск и нищета» имеет определенную привязку в мировой литературе. Как ни печально, это словосочетание применимо в полной мере к Вышинскому и его дипломатии. Он мог блистать и блистал своими речами в Организации Объединенных Наций. Когда после смерти Вышинского в Нью-Йорке состоялось траурное заседание Генеральной Ассамблеи, делегаты взахлеб хвалили его ораторское искусство, его плавный, звонкий, проникновенный голос. Однако мало кто коснулся существа политики, проводившейся и защищавшейся этим проникновенным голосом. А ведь это и было главным.

Говорили о «блеске», но старались умолчать о «нищете». Между тем следовало бы обратить большее внимание именно на это. Нищей была в те годы политика лицедея Вышинского, то есть Сталина, нищей была в те годы политика Трумэна и его преемников. Это была политика «холодной войны», вызывавшая иммобилизм на международной арене и карьеристскую безыдейность во внутренней жизни.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНКВИЗИТОР:
СТАЛИНСКИЙ
ПРОКУРОР
ВЫШИНСКИЙ

Редактор *А. Г. Мартынова*
Художник *Б. Г. Попов*
Художественный редактор *Е. А. Андрусенко*
Технический редактор *Н. К. Капустина*

ИБ № 9427

Сдано в набор 10.12.91. Подписано в печать 21.04.92. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 21,78. Тираж 50 тыс. экз. Заказ № 576. С 138.

Российский государственный
информационно-издательский центр «Республика»
Министерства печати и информации Российской Федерации.

Издательство «Республика». 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография издательства «Уральский рабочий».
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.



"Законы надо отложить в сторону..."

"Соблюдение процессуальных норм и предварительные санкции на арест не требуются..."
"Допрашивать буду я сам, а вы будете фиксировать..."
"Вся наша страна, от малого до старого, ждет и требует одного: изменников и шпионов, продавших врагу нашу Родину, расстрелять, как поганых псов!.. раздавите проклятую гадину!"
"...Взбесившихся собак я требую расстрелять — всех до одного!"

(Из выступлений А. Я. Вышинского на судебных процессах)

ИНКВИЗИТОР

СТАЛИНСКИЙ ПРОКУРОР
ВЫШИНСКИЙ